

**ВРЕМЯ
ИМЫ** 134
1996

Сер. 3Б-334

364913

КОНТРОЛЬНЫЙ
БИЛЕТ

М. т. № 19. з. 565-64



АЛЕКСАНДР АЛЕЙНИК
КРАСНЫЙ ТРАМВАЙ №1

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

двадцать второй год издания

**Выходит один раз
в три месяца**

**134
1996**

НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» - 1996

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ	ГРИГОРИЙ ПОЛЯК
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ДЖОН ГЛЭД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ	ЭДУАРД ШТЕЙН
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)

Главная редакция журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55
Факс: (201) 592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"
Заведующий центром Лев Аннинский
Адрес центра: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Пищанский
Адрес отделения: Neve-Yakob Reuven
Garrison Str., 32/3, JERUSALEM, 97350
Tel.: 02-857-282

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Residence Lorilleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
<i>Виктория ПЛАТОВА</i>	
Де-факто.....	5
<i>Борис ХАЗАНОВ</i>	
Два рассказа.....	69
<i>Татьяна МУШАТ</i>	
Мужчины и женщины.....	86
ПОЭЗИЯ	
<i>Наум БАСОВСКИЙ</i>	
Свободный стих.....	106
<i>Элеонора ИОФФЕ-КЕМППАЙНЕН</i>	
Завернувши за сорок.....	119
РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ	
<i>Владимир ШЛЯПЕНТОХ</i>	
Россияне о своем будущем.....	124
<i>Эдуард ШТЕЙН</i>	
Биробиджанский апокалипсис.....	138
МОМЕНТ ИСТИНЫ	
<i>Миша ГОФМАН</i>	
Русская правда и западная логика.....	154
ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО. КРИТИКА	
<i>Лев АННИНСКИЙ</i>	
Спасение из бездны.....	179
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Ларри Флинт в перевернутом мире.....	205
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>Алла ТУМАНОВА</i>	
Приговор.....	219
<i>Александр АЛЕЙНИК</i>	
Красный трамвай № 1.....	249
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	
Разговоры с Набоковым.....	266
ВЕРНИСАЖ.....	288
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ.....	298



Виктория ПЛАТОВА

«ДЕ-ФАКТО»

Я — богема. Я — отщепенец, я — непризнанный гений. Я — писатель. Каждое утро я просыпаюсь с отчетливым сознанием безвозвратно утекшего времени. Бросаю трусливый, вороватый взгляд на часы и тотчас меня пронзает физическое ощущение снашиваемости дня, когда все решительно уже поздно. Собственно, что поздно — неизвестно. Просто все поздно. Поздно жить этот день. Его остаток протечет сам собой, не подвластный моей воле, не требуя от меня решений, не оставляя выбора. В конце концов я окажусь там, где еще можно оказаться, с теми, с кем еще можно оказаться, — такими же, как я, не дорожащими днем людьми, прожигателями ночей, и ничего не услышу нового, не увижу внезапного, ничто не поразит моего воображения.

Все, что будет происходить со мной в этот исходящий день, будет иметь все тот же опротивевший мне привкус, цвет и запах недоеденной кем-то еды, разоренного стола,

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

чудовишной прокуренности. Сам я никогда не курил, даже в армии.

К счастью или к несчастью своему, я не пьяница и не наркоман. И тем и другим легче достаются минуты, когда ты для себя целый мир и целый мир в тебе, — они «балдеют, ловят кайф». А вот мне последнее время все «не в кайф». Я устал сам от себя, перестал быть интересен себе, надоел. Если бы я хоть однажды проснулся в шесть — нет, это чересчур, это уже отдаёт снобизмом — но просто в восемь утра, проснулся бы полным сил, способным начать новую жизнь, как бы я ее начал? Я спрашиваю себя: как бы я ее начал? Скажем так: я просыпаюсь в восемь утра... Все-таки это поздно. Надо вставать вместе с Германом. Он мой сосед, мой ровесник. Он инженер. Каждое утро он продирает глаза в семь утра и едет на завод; представляю, как бы он обалдел, если бы я действительно начал просыпаться вместе с ним. Наверное, стал бы относиться ко мне нежно, как к больному, может быть, стал бы делиться со мной своим завтраком. Мы могли бы вместе делать зарядку. Впрочем, ему некогда делать зарядку, и завтраком делиться со мной он тоже не станет.

Я сам делаю зарядку, принимаю душ, пью чай — утром достаточно выпить стакан чаю — и ровно в восемь сажусь работать.

Четыре часа каждодневной работы, и ровно в полдень, то есть как раз тогда, когда я сегодня, вчера и позавчера и поза-поза... продрал глаза, — в этот самый ослепительный час дня вылезая — не из постели, а из-за стола — и решаю... Ничего не решаю, все давным-давно решено: я еду за город. Я хочу дышать воздухом. Я хочу видеть осень. Каждый может позволить себе увидеть осень, увидеть утомленно-чувственный переплеск ее красок, трепет желтого, все затмевающий росчерк... и тому подобное, и прочее, прочее...

Я могу ехать на электричке, могу на пароходике, смотря куда, мне все равно. Какие-то люди окажутся моими попутчиками, обыкновенные люди, они будут говорить о своем обыкновенном, не обратят на меня внимание, я

буду делать вид, что дремлю, а сам — слушать, узнавать, чем они живут, стараться понять, чем же они все-таки живут. А главное, каждый раз буду ждать: а не случится ли со мной чего-нибудь необыкновенного?!

Самое замечательное состояние — это ожидание, предчувствие: еще ничего не произошло, но непременно вот-вот произойдет. Обязательно должно произойти! Подумайте сами, может ли ничего не произойти с одиноким молодым человеком, у которого вокруг шеи артистично обмотан фирменный шарф флажной расцветки — подарок очкастой коротконогой толстухи из Филадельфии? С усердием хомячка, грызущего сухую корку, она изучала стилистику Платонова, но не сморгнула глазом, когда я на прощанье сказал ей с неподдельной грустью: «Я уже привык быть счастливым с тобой», — только сняла шарф и намотала его на мою шею. Но шарф — вовсе не главное украшение молодого человека, совершающего среди бела дня прогулку без видимой цели. Главное его украшение — безусловно волосы, промытые ароматным импортным шампунем шелковистые каштановые пряди. Единственный предмет заботы и холи, они придают необыкновенную привлекательность моему, в общем-то вполне заурядному, даже немножко слишком круглому лицу. Я, вообще, несколько круглее, чем мне хотелось бы быть. Хотелось бы иметь более продолговатый овал лица, поджарый зад, суше и длиннее ноги. Я полноват и как-то неоправданно румян, что вызывает бешеную зависть Герки. Размечтавшись, он часто говорит о том, что, если бы он не торчал целыми днями в цехе, а работал бы где-нибудь в НИИ, да еще сумел бы защитить диссертацию, то уж, конечно, поправился бы и стал бы таким же румяным, как я.

Каким-то образом представление о чувстве собственного достоинства и буквальном, физическом весе слились у него воедино, и он часто попрекает меня моей незаслуженной полнотой. Странно, потому что он-то как раз сложен идеально: немного ниже меня ростом, он сух, поджар, и от этого кажется выше, и все, чего ему не хватает, так это раскованности и улыбки — словом, капельку обаяния, и он был бы неотразим. Зато у меня

обаяния хоть отбавляй. Черты лица мягкие, приветливые, располагающие к себе, и вообще, во мне нет ничего пугающего, монстрообразного. Я предельно разборчив в одежде, мой вкус — это вкус добропорядочного буржуа: брюки — только твид или настоящая шерстяная фланель, рубашки — чистый коттон, джинсы — только «Леви Страус» без всякого ложного шика, престижные джинсы. Подонства и выставяемого напоказ нищенства я не терплю, но что-то — мелочь, деталь — должно выделять меня из толпы. Скажем, вот этот шарф.

Так вот: я иду и выделяюсь из толпы, меня нельзя не заметить, и, если захочу, если что-то заставит меня вдруг подобраться, напряжиться, нацелиться, устремиться, — та, к которой я устремлюсь, не побежит от меня с криком: «Спасайте!». Мне нравятся хрупкие светловолосые девушки. Должно быть, оттого, что по отцовской линии во мне есть примесь еврейской крови. Я в полном соответствии с теорией страдаю неким половым антисемитизмом: подобно многим евреям, спать я предпочитаю с русскими девушками. Это единственное проявление моего антисемитизма, в русских женщинах есть какая-то недоговоренность, невысказанность, непредвиденность — именно это все и влечет меня к ним, а не открытая сексуальность.

Я хочу сказать, что мне нравится определенный тип женщин. К сожалению, эти женщины всего охотнее прикипают к моей среде. Их особенно часто можно встретить в кругу безденежных, бесперспективных в социальном смысле людей, обреченных вести двойную жизнь: лифтеры, рабочие станций подмеса, полотеры — это днем, а по ночам они — поэты, художники, философы, порой, даже режиссеры без театра и актеров. Но для меня женщины, уже запущенные в оборот в этом досконально известном мне богемном мире, мгновенно теряют свою прелесть и остроту. Они уже все знают, им уже свойственен некий стереотип поведения, манера держаться; их связи и разрывы диктуются одними и теми же неписаными, но всем известными законами — уже ничему не научишь их, но и в них, несмотря на замершие, полные оцепенения взгляды, не откроешь для себя ничего нового.

Мне нужна та, для которой я буду потрясением, неизведанным миром, галактикой; та, что, окунувшись в меня, забудет маленькие, обывательские правильности, нарушит законы, по которым жила прежде, и никогда не сможет вернуться в их иссохшее лоно. Но что за радость иметь дело с той, что никогда их не знала или забыла задолго до тебя? Потом, когда мы с ней расстанемся, она может жить, как ей вздумается, — это пожалуйста! Кстати, своим особым достоинством я считаю умение расставаться с женщинами. Я не люблю конфликтных ситуаций, мне претят скандалы, истерики, надрывы души. Но у меня вовсе нет сознательно, хладнокровно разработанной системы сведения на нет любовных отношений.

Герман совершенно не прав, именно в этом упрекая меня, уверяя, что я притворяюсь, симулирую, — нет, я в самом деле натурально заболеваю от первых же просветов, от тончайших брешей в плотном любовном мареве.

Едва в эти просветы начинает просачиваться воздух реальности, едва тонкие струйки скуки проникают в мои легкие, как у меня меняется температура тела. Меня начинает лихорадить, столбик ртути на градуснике упорно не спускается ниже тридцати семи и трех, ломота разливаается по всем суставам, вялость овладевает мной, панический страх за свое здоровье приводит к полной невозможности работать, что в свою очередь вгоняет меня в такую глухую депрессию, что, если мне удалось, — а мне до сих пор всегда удавалось, — внушить женщине хоть каплю искренней любви, она непременно уступит меня заботам моей матери, а уж та знает верный способ вернуть сына к жизни и работе. Меня отправляют отдыхать. Попробуйте вообразить, что делается в душе бедного Германа, когда он узнает, что меня срочно отправляют отдыхать! Мама, причитая над моим слабым здоровьем, раздобудет денег, выложит сбережения или даже одолжит и пошлет меня на юг. Она считает, что у меня хроническая пневмония. Но я думаю, это что-то другое: стоит исчезнуть угрозе свидания с опостылевшей особой, как я мгновенно выздоравливаю. Я могу быть совершенно уверен, что к тому времени, когда я вернусь с юга,

эта особа, эта моя женщина, уже будет не моя. В-первых, я порядочно надоел ей своим нытьем и полной мужской несостоятельностью; во-вторых, недаром же я был ее учителем жизни, столько времени внушал ей идею безмерности и безграничности ее возможностей. И вот она уже испытывает их. А мама — мама и мой младший брат Володя любят меня по-прежнему. Только Герман продолжает обливать меня стальным презрением. Но это длится недолго. Я хитрю, я делаю вид, что страдаю от измены — вот тут уж я притворяюсь действительно, но мне верят.

Я уже говорил, что мы с Германом соседи. Но мы не просто соседи. Мы оба родились в этой квартире, он старше меня на месяц, он родился тринадцатого ноября, а я — тринадцатого декабря.

В тот год наши отцы еще любили наших матерей, и две молодые семьи счастливо соседствовали с немолодой бездетной парой. Но вскоре равновесие нарушилось — отец Германа первым покинул его мать. Нам было всего по три года, но я думаю, именно тогда возник первый из его комплексов. Скажи я ему об этом, он искренне удивится, но как раз в том возрасте мы более всего подобны маленьким зверькам, подсознание которых наилучшееместилище наших комплексов. Ему кажется, что он относится ко мне просто и дружески и, если и бывает на меня сердит, так только потому, что мне же добра желает, хочет, чтобы я стал человеком. Наверняка, он сам себя убеждает в этом, но верит ли сам себе — вот это вопрос. Однако, всякий раз, стоит мне захотеть, я с легкостью достигаю проявления его почти собачьей преданности мне, какой-то отеческой нежности. Я люблю, когда ко мне относятся с нежностью, пусть даже она носит оттенок снисходительности, этот-то оттенок и позволяет одному человеку свободно проявлять свою нежность к другому — он как бы ничего не теряет в своих глазах, а наоборот, возвышается.

Я запросто, как несмышленный малый, неспособный уразуметь, что в семь утра ему в ухо зазвенит будильник, в третьем часу ночи врываюсь к нему, плюхаюсь на пол и,

обливаясь пьяными слезами, якобы пьяными, и вообще, якобы слезами, — ною, ною от тоски, от обиды на свою жизнь, на одиночество, на брошенность, жалуясь, что меня не признают, не печатают. Но ведь те, кто прочел, всегда хвалят, и не стесняюсь пересказать юношески-пылкие восторги ветхого старикана, хранимого Союзом писателей, как интеллектуальный антиквариат (хранят, но давно не пользуют), восторги, в которые сам почти не верю, но повторяю с наслаждением, тем более, что еще прежде, образовывая Герку в своих целях, я дал ему прочесть изданный в двадцать четвертом году роман старика, на титульном листе которого тот недодрожавшей рукой начертал: «Молодому другу с громаднейшей любовью к его таланту». Мог бы, конечно, написать: «с любовью к громаднейшему...» — но неважно, подверженный слепой вере авторитетам Герка теперь сочувствует мне, возмущается трусостью редакторов, их тупостью, намертво забыв, что подспудно сам считает меня просто бездельником и вымогателем. Он забывает о своем подозрении, что я симулировал, что я сам все подстроил, бурно негодует в адрес предавшей меня женщины — я так беспомощен и одинок, а он так великодушен, так силен своим щедрым сочувствием, что смело можно сказать: в эти минуты я творю из него человека!

Он мой трофей, добытый во враждебном лагере. И он запросто предает своих. Сначала расслабляется до того, что гладит меня по спине, с нежностью треплет пряди моих волос, как старший, умудренный житейским опытом, открывает мне истины пошлейшего свойства, материт всех баб на свете, а затем начинает яростно костить свою рабскую, недооплаченную трудовую жизнь. Он пускается в разоблачения заводского бардака, клеймит партком, местком, профком и полностью переходит на мою сторону, то есть, если бы его приняли в мой лагерь, он стал бы в нем крайним левым.

Мы расстаемся с ним родными душами. Но, когда часа через три звон будильника в самое ухо поднимает его, не выспавшегося по моей вине, когда разбитый, понуро покорный своей судьбе, он сольется в трамвайной давке

в единый клубок со всем трудовым человечеством, он снова будет ненавидеть меня. Просто за то, что я в эти минуты сладко и тепло сплю. Мои утренние сны представляются ему безмятежно счастливыми. Он завидует им и ненавидит меня.

Мы ходили с ним в один детский сад, и нашим родителям говорили, что я общительный, веселый мальчик, а Герман замкнут. Меня хвалили за то, что я дружу с ним. Потом мы ходили в один класс, и сначала я учился хорошо, а Герман плохо, но с четвертого класса он стал идти ровно, на четверки, а я весь оброс двойками, и на родительских собраниях про меня говорили: «Очень способный, но ленив», а про Герку: «Средний, но ничего — тянется».

Меж тем, я вряд ли бы кончил школу, если бы не Герка. Я списывал у него, я пользовался шпаргалками, которые он изготавливал специально для меня, но пользовался ими с такой тупостью, что, когда однажды в конце листка, исписанного бисерным почерком, он написал: «см. д.», нарисовал стрелку, что значило: «смотри надругой стороне», — я, стоя удоски, спокойно поставил знак равенства, написал эти буквы «см.д.», начертил стрелку и гордо положил мел.

«А это что?» — спросил наш физик.

«Единицы измерения», — ответил я.

Неведение мое было девственно. И все-таки я слыл способным. Мало того, в седьмом классе школы все уже знали, что я — писатель! Не в школьной стенгазете, замаранные листы которой давно уже разносили славу обо мне в пределах школы, а в самом настоящем журнале «Искорка» напечатали мой рассказ. В нем описывался вполне реальный случай мелкого школьного хулиганства с предательством и раскаянием.

С ловкостью маленького хитреца я противопоставил закону круговой поруки чувство истинного товарищества, списанные с окружающих характеры получились живые, но, боясь упрека в неспособности к вымыслу, я всех девочек переделал в мальчиков, всех учительниц в учитель и очень гордился этим, считая, что одну из тайн

ремесла постиг вполне. О, как я хотел быть профессионалом! Впрочем, я недавно задумался над тем, почему с первых сознательных шагов в жизни я не выбросил ни одной исписанной своей бумажки? Почему — что бы со мной, еще ребенком, не случилось, я — один: страдал, плакал, приходил в бешенство или безумно радовался, а другой я — стоял в стороне и зорко-равнодушно подбирал выпавшие из кармана клочки бумаг, случайно оброненные слова, слезу, жест, взгляд, миг?

Мне едва исполнилось семнадцать лет, когда в журнале «Звезда» в подборке «Творчество молодых» появился еще один мой рассказ, но до того, как уйти в армию, я успел написать одноактную пьесу, и, представьте, ее поставили в ТЮЗе.

Писать ее я начал вскоре после того, как от нас ушел отец. Мать после развода вернула себе девичью фамилию, и тут я обнаружил, что со стороны матери я однофамилец с известным декабристом. А не потомок ли? И в пьесе рассказывалось о мальчике, которому пришла в голову мысль уяснить свое генеалогическое дерево. Тогда это была новая, еще не затрепанная тема. Она-то и привлекла к себе внимание режиссера.

В конце концов моему герою пришлось согласиться с тем, что он всего лишь однофамилец великого человека, но к этому времени он так привык сверять свои поступки, порывы души с нравственным обликом героя давно минувших дней, что вышел из своих изысканий совершенно другим, обогащенным человеком. Этого оказалось достаточно, чтобы я ушел в армию, успев прочно укоренить в сознании мамы и младшего брата мысль, что я — писатель. Я даже не попробовал поступать в институт. Вот Герман пробовал и провалился, а я не пробовал, но и мама, и Володя, и сам Герман, и даже комически одновременно начавшие глхнуть наши старички-соседи, и не только мой отец, но и его новая жена, с которой я умудрился войти в самые теплые отношения, — все считали, что мой жизненный путь уже определен, остается только отслужить и вернуться на прямую стезю, ведущую к литературной славе.

К этому времени мать Германа вышла замуж за пожилого полковника в отставке, некоторое время они втроем жили в одной комнате, и Герман спал за шкафом, особенно ненавидя за это отчима и презируя мать. Но у полковника были связи, и, когда пасынок не прошел по конкурсу в институт, он обеспечил ему службу в ленинградском гарнизоне. Он и мне бы помог, но я сам не захотел — я стремился познать настоящую жизнь. И я познал ее сполна.

Вскоре полковник получил квартиру, и Герман стал обладателем собственной комнаты. Мою маму этот факт привел в необыкновенное волнение. Она написала мне в армию, что делом своей жизни считает необходимость предоставить мне по возвращении условия для работы.

Тогда-то я и послал отцу письмо полное упреков. Я сообщил ему, что его сыновья были лишены мужской поддержки в самом трудном, переходном возрасте и никакие алименты не могли компенсировать нанесенный им моральный ущерб. И вот теперь, когда они выросли, они обречены на жалкое существование в коммуналке, — словом, я намекнул ему, и он намек понял: дал матери деньги на однокомнатный кооператив. А мне прислал короткое письмо: «Сын! С этой минуты я больше ничего тебе не должен». И навсегда исчез из нашей жизни. Я сам настоял на том, чтобы в маленькую, однокомнатную квартиру переехали они — мама с Володей. Мне вовсе не светила перспектива покинуть центр города, жить на окраине, да еще без телефона. Мама с детства внушала Володе: «Учись! У тебя брат — писатель! Ты понимаешь, что это такое? Это талант! А ты должен учиться, стать инженером, твердо стоять на ногах, может быть, твоя помощь понадобится на первых порах брату, ты должен быть готов к этому!» Володя учился и был готов. Правда он не стал инженером, очевидно боясь, что его помощь понадобится мне прежде, чем он успеет окончить институт. После восьмого класса он поступил в радиотехнический техникум. По вечерам он чинил телевизоры, перебирал старые приемники и ставил их на комиссию, словом, сразу стал неплохо зарабатывать, и, когда я вернулся из

армии, он не только кормил и одевал меня, но в конце концов купил стол, диван, стеллажи для книг, — вообще, все, что стоит теперь в моей комнате.

Но на первых порах я поселился у них. В будние дни, как и теперь, я всегда спал до часу, с той только разницей, что заставлял себя подняться с мамой и Володей — сказывалась еще армейская закалка. Но едва они уходили на работу, я плюхался в постель, спал, читал, наслаждался жизнью до самого их возвращения. А по ночам писал на кухне. Зато в воскресные дни я начинал работать с утра и располагался в комнате. Маме с Володей приходилось воскресные дни проводить на кухне. Однажды я запустил в брата настольной лампой, когда он зачем-то вкрался в комнату. Лампа разбилась вдребезги, а я с криком: «Все! Конечно! Я не могу в таком состоянии работать!» — не слушая слезных Володиных извинений, хлопнул дверью и ушел. Вот тогда-то Володя начал копить деньги на обстановку для меня. Что бы там ни говорил Герман, но человек, так исступленно работающий на их глазах, не мог казаться маме и брату просто нахлебником, даже если его постигли временные, как они думали тогда, неудачи.

В те дни я один уже догадывался, что неудачи мои вовсе не временные, что не вообще литература, а та литература, к которой я принадлежу, никогда не принесет мне ни славы, ни денег. О том, как стала приходить ко мне эта догадка, я расскажу позже. Покуда я скрывал ее от мамы и Володи — мне надо было постепенно, исподволь приучить их к мысли, что в этом мире не все так просто, надо было в их простые, бесхитростные души по капле перелить ту горечь, которой я наглотался едва перевариваемыми дозами от своего первого столкновения с реальной жизнью.

В конце концов я исполнил свой замысел и вот, как бы это ни возмущало Германа, по сей день живу за счет брата, и импортные шампуни, и джинсы, и билеты на юг, — все решительно мне покупают мама с Володей. Конечно, им приходится себе во многом отказывать, но Герман мог бы знать, что делается это легко, даже с удовольстви-

ем, с сознанием некой сопричастности к таинственному процессу творчества, что благодаря мне, зарабатывание денег для Володи — не бессмысленно-тягостное занятие. Его трудовая жизнь освещена хоть каким-то смыслом, и оттого он не знает унынья — он легкий, веселый малый.

Я вливал горечь в его душу терпеливо, малыми дозами, и она не отравила ее, явилась, скорее, противоядием, научила думать — вот и все. Думать в тех пределах, которые нужны человеку, больше всего любящему собирать приемники и магнитофоны.

Кстати, диктофон, на который я сейчас диктую, тоже собран им. Поверьте, такая техника стоит больших денег. Я был бы без него беспомощен, потому что я никогда не пишу — я наговариваю. Не знаю, почему, но это особо бесит Германа. Он уверен, что это чистая профанация писательского труда. Да, в моей комнате нет ни одной рукописной страницы, только маленькие упаковочки магнитофонных пленок и папки перепечатанных на машинке готовых рассказов.

То, что я наговариваю на пленку сейчас, — это мой дневник, я не собираюсь этот текст расшифровывать, то есть переводить на бумагу, а следовательно, и работать над ним. Может показаться странным, что я не отмечаю чисел и дней недели, речь идет единым потоком, но признаюсь, я редко знаю числа. Это Герман отсчитывает дни от понедельника до выходного, от аванса до полочки. Мне ни то, ни другое не угрожает, а на опыте я знаю: стоит только числом отметить большой перерыв в дневнике, как возникает некий психологический обрыв, сходит на нет сама потребность записывать.

Разумеется, когда я пишу рассказ или повесть, процесс работы иной. Вещь, что бы я ни делал — гуляю, сплю, принимаю душ, болтаюсь с друзьями, — складывается в голове, уже яснее ее конструкция, уже живым мясом обросли ее персонажи — только тогда я беру диктофон. Я свободно наговариваю текст до тех пор, покуда не возникнет затруднение, какое-то сомнение, потребность что-то додумать.

Есть своя необъяснимая прелесть в свободном говорении, есть бесценные ошибки, ничем не заменимые случайности. Я говорю, и пустота, в которую устремлен мой взгляд, постепенно плотно наполняется происходящей жизнью, в ней теснятся люди, скрежещут тормоза машин, звякают о кастрюли крышки. В ней варятся и кипят людские страсти. Меня не раз прошибает пот, и для работы с диктофоном у меня есть специальная блуза. Ее легко стирать. Но потом, когда жизнь моих героев осуществилась, наступает новый, поистине счастливый этап работы: фразу за фразой, не торопясь, выверяя каждое слово, я перевожу текст на машинописный лист.

Структура фразы, ее ритмическое звучание, скрытая в ней динамика волнуют меня не меньше, чем сюжет, события и развязка рассказа. Я сохраняю случайные удачи — всему остальному предстоит пройти свой путь, путь создания вещи. Это упоительный труд. Упоение надо хоть раз испытать самому, тогда можно понять, что оно значит. Я не думаю, что это привилегия писательского труда, оно, скорее, свойственно всякому ремеслу. Но Герман не знает, что это такое и никогда не узнает. Мне кажется, именно этим своим состоянием я более всего довожу его. Мне кажется, что порой ему хочется убить меня.

Сколько раз я пытался приучить его, вернее, приручить: я брал его в компании, где бывает много всякого сброда, чрезвычайно колоритного, на заседания клуба, в ЛИТО, куда сам хожу не с целью чему-нибудь там научиться, а просто повидать своих. Но Герка всегда покидает наши сборища глубоко и болезненно уязвленным. До самого костного мозга он пронизан презрением к этим оборванным, невымытым, полуголодным людям, но в то же время он не может не чувствовать их необъяснимого довольства собой, исходящего от них сознания собственной исключительности, избранничества и подвижничества. Он как-то смущается от всего этого сердцем, а умом приходит в угрюмое раздражение. Но почему-то снова и снова просит меня взять его с собой.

Литературные объединения (нечто вроде литературной самодеятельности для взрослых) есть при каждом поря-

дочном журнале, но это, где бываю я, присоседилось к Союзу писателей. Не то, чтобы оно в профессиональном смысле чем-нибудь замечательнее других, но там подобралась теплее компания. К тому же в Союзе есть кафе, и после «заседаний» мы обычно, сгношив, кто сколько может, позволяем себе выпить кофе, а иногда даже устроить вполне серьезный ужин с выпивкой. При этом никто не считается копейкой: есть — выкладывай, а на нет — спросу нет.

Руководит объединением настоящий писатель — очень уважаемый, как-то ошеломительно неумный человек. Его книги напоминают уроки чистописания в третьем классе. Я пытался читать эту простопись, но всякий раз засыпал на первых же страницах. Он так простодушно праведен, что Союз доверил ему руководство выродками, не предусмотренными никаким социально-общественным реестром. Время от времени он информирует о нас Органы. Они рекомендуют ему, по мере сил, выделять из нас тех, кого можно будет вписать в шкалу литературной смены.

Кое-кто время от времени попадает на удочку и откалывается от нас. Сначала появляется мифическая трудовая биография. Проработав пару месяцев на ассенизационной машине, человек пишет роман «Золотари», в котором есть все: конфликт между молодым рабочим и напарником по поводу левых заработков или вымогания с населения на полбанки — дескать не дадут, не очистим; и трагедия неразделенной любви, происходящая от полного непонимания девушкой, что не место красит человека, а человек место; юмор, вроде того, что «деньги не пахнут», — словом, читать нельзя, но печатать можно. И печатают! Человек выбывает из наших рядов, а в рядах «золотарей» советской литературы прибывает, но одно обстоятельство из года в год удерживает нашего руководителя на посту: он никак не может вывести в люди своего сына. Сын его — графоман. В буквальном смысле этого слова. Он неутомимо, не ведая никакого сомнения в своем предназначении, пишет огромные романы. При всем желании я был бы не в состоянии изложить содержа-

ние хоть одного из них, хотя Бак всем их навязывает и обожает голосом пономаря, время от времени прикрывая глаза так, что кажется, он выучил текст наизусть, часами читать вслух. Но содержания попросту нет, нет смысла и вообще ничего нет, кроме какого-то заунывного разматывания какой-то неуловимо тонкой ниточки подсознания. Он очень гордится тем, что именно он в своем творчестве продолжает развивать начатую Достоевским традицию исследования подсознания.

Иногда на обсуждениях, барственно развалившись в кресле, он говорит только что закончившему читать: «Старик, вообще ты зря за это взялся, тебе это не по силам. Подсознанку застолбил я, и ты уж предоставь мне...» Этот болван, единственный из нас, живет, как сыр в масле катается, всегда уверен в себе, всегда при деньгах — за это мы его очень любим.

Впрочем, он беззлобен, безвреден и добр. Он, вообще, неплохой парень, и в том-то весь фокус: он никогда и ни за что не напишет своего «Золотаря». Не только потому, что он графоман и у него не получится — он никогда не захочет: они с папой по разную сторону баррикад.

Бак перелезает к папаше только за «капустой», которую мы пропиваем. Кстати, я еще раз скажу, что пить я не люблю. Но мне частенько приходится выпивать, потому что, не выпив, бывает неудобно закусить.

Я почти ежевечерне выхожу из дома, потому что не умею засыпать голодным. Хоть какая-нибудь жратва всегда оказывается там, где выпивают. Так вот, в ЛИТО мы выпиваем чаще всего за счет Бака. Это будет продолжаться до тех пор, пока его папаша не поставит на нем крест. А вообще, у нас там много всяких и разных. Уж кто-кто, но только не я буду вешать ярлыки: этот талантлив, тот бездарен (Бак — особый случай). Мы судим друг о друге по другим меркам. Я знаю, что Федина проза необыкновенно пластична, что Мишка Звягин — постструктуралист; что на философии Дзен-Буддизма торчит Аркашка; что каждый из нас в меру своих сил и способностей копает свой пласт на могильном кургане, под которым захоронено русское слово. И я знаю, что все мы поражены одним

и тем же недугом зрения — мы не умеем видеть того, чего нет. Это особый разговор.

Еще в армии я обнаружил у себя первые симптомы заболевания. Я уже говорил, что шел в армию с открытой душой. Я перешел в пеший строй, вынув ноги из золоченых стремян Пегаса с наивной целью слить свою судьбу со всеобщей. Я это и сделал. Я не только слился — я старался раствориться, растечься, стать незримым, невыделяемым из общей массы. Я очень быстро понял, что это, вообще, единственный способ выжить там, куда я попал. Но нет смысла говорить о том, чего я не увидел. Это показывают по телевизору, которого у меня нет, в кинокартинах, на которые ни один нормальный человек не ходит, описывают в книгах, которые я не читал. Я же не смогу сколь-нибудь сносно нафантазировать сюжеты из устава.

Если вы думаете, что тяжелее всего в армии приходится городскому хлюпику, интеллигенту, вы ошибаетесь. Он достаточно умен и хитер, он еще может придумать, чем и как откупить свою жизнь. Хуже всего приходится деревенскому парню, тупому, неповоротливому умом, легко забываемому. Как раз тому, кто, родившись в глухомани, казалось бы, должен был развиваться, увидев другие края, кому армия могла бы расширить горизонт видимого, в кого она внедряет какие-то навыки, ну, хотя бы дает самую распространенную профессию шофера. Но прежде чем он овладеет этой профессией, он должен превратиться в окончательного идиота. И я убежден, что это превращение негласно вменено в обязанность командного состава. Никому не нужны на «гражданке» разившиеся и поумневшие — нужны сломленные, привыкшие к унижениями, покорные.

Горожанина, конечно, тоже можно заставить зубной щеткой чистить сортир — я делал это, но только один раз — на второй раз я откупился, подарив старшине порнографическую открытку. Володя по моей просьбе регулярно скупал у фарцы журналы, которые старшина, похотливо лыбясь, называл «Техника молодежи». Мама привозила мне их вместе с баранками и колбасой, и я, отдавая их

этому скоту, ставил жесткие условия. Так я умудрился выжить.

Но рассказ «Каратэ» я начал писать с большим для себя риском, еще служа. Это рассказ о парне, над которым издевались все, кому было не лень. Казалось, он специально создан для потехи и надругательства: большой, неповоротливый, с застывшим в глазах страхом и полным непониманием, что же это происходит и что он должен делать. В его фигуре, сутулой, нелепо длиннорукой скрывалась и одновременно изобличалась неразвитая бесформенная сила, лицо же, изуродованное печатью идиотизма, говорило о том, что он и не подозревает об этой силе, не знает, что с ней делать. И чем больше измывались над ним все — даже те, кто и сам-то еще не вышел из под гнета «стариков», — тем большая загнанность, животная затравленность сквозила в его глубоко и близко друг к другу посаженных, узких, подпертых прыщавыми скулами, глазах. Особенно изощрялся взводный: «Ползи, сука, на коленях ползи!» — кричал он ему, развалившись на койке и вытянув вперед обутую в сапог ногу. И тот полз через всю казарму для того, чтобы стянуть со взводного сапог. И так же на коленях он должен был отползти с этим сапогом и вернуться за другим, но тут уж непременно получал ногой в морду. Взводный как-то так изгибал ступню, что снять сапог сразу не удавалось. Гул нечеловеческого хохота покрывал нескончаемый мат, которым истязатель сопровождал всю сцену, — взрывался до чего-то неправдоподобного, когда наконец сняв сапог, истязаемый получал поистине артистический пинок в зад и мордой тыкался в дощатый казарменный пол. Отчего они ржали? От радости, что это не с ними происходит? От подбострастия? Или просто от неутоленной потребности веселиться? От того, что им на самом деле казалось смешным это зрелище? Чудовищно, но и сам истязаемый начинал всегда с блуждающей по лицу идиотской улыбки, — вот ею-то он и провоцировал всеобщее веселье и уже никто не замечал, как она превращалась в гримасу отчаяния.

Случай привел к тому, что я вмешался в его судьбу, не заступился за него, нет, да как я мог это сделать? Драться

я не умел, но если бы и умел, не мог же я драться с целой казармой? Взводный был жесток и злопамятен. Я сам боялся его.

Но так случилось, что я отговорил несчастного от побега. Его поймали бы непременно, да и куда бы он убежал без денег? Собственно, я потому и узнал о его замысле, что накрыл его при попытке обокрасть меня. Каким-то звериным чутьем что-то угадав во мне, он признался, и я уговорил его не бежать. У меня была присланная Володей книга «Самоучитель по борьбе «Карате», и я стал тайком тренировать его по этой книге. Почему я это делал? Этот чудовищный вопрос до сих пор меня мучает. Дело не в том, что сам я, хлипкий и мягкотелый в физическом смысле, не смог бы овладеть приемами самозащиты. Я не смог бы их применить, я это чувствовал: удар ребром ладони, кулаком, локтем в печень, солнечное сплетение, сонную артерию, — одна возможность такого удара вызывала во мне тошноту, угодливое воображение не позволяло мне представить себя бьющим, подставляя меня на место ударяемого, и я тотчас же испытывал мучительную слабость в животе, смертельный страх. Но, в конце концов, у меня было другое оружие для самозащиты: мой изворотливый, хитроумный мозг, легко нащупывающий слабые стороны в душе противника.

В своем ученике я скоро обнаружил ту пластичность и восприимчивость к приемам, которая часто бывает просто природным даром деревенских парней. Недаром истоки этой борьбы лежат в народных приемах самозащиты, и, скрытая в моем ученике азиатчина сама собой заговорила, воссоединилась с богом данной силой, с накопившейся яростью, и случилось то, к чему я вел дело. Но мог ли я предположить меру необратимости происшедшего на глазах у всей казармы? Он убил взводного. Он убил его голыми руками, бессознательным ударом по сонной артерии.

Мне не пришлось давать показания перед трибуналом. Этот полудиот не выдал меня, он не произнес слово «карате», и, хотя экспертиза могла установить, что смерть наступила в результате применения приема, — скорее

всего они сочли это чистой случайностью. Но страху я натерпелся адского. И что я мог сказать самому себе, когда уже прошел страх за свою шкуру? Я попал бы в психушку. Но вместо этого написал рассказ. Собственно, дописал я его уже вернувшись, но сложился он в моей голове целиком и полностью именно тогда. Я не старался найти себе оправдание, не выставлял напоказ муки совести, я лишил самого себя капли авторской любви. А заодно и всех своих черт. И остался неузнаваем. И только Герман, прочтя рассказ, вместо привычно ожидаемых восторгов, сухо изрек: «Ну и сволочь же ты! Редкая сволочь». Но это уже не могло меня огорчить всерьез.

Я привез из армии еще несколько рассказов, и они принесли мне почти настоящую славу. Среди них — «Баракудра» — рассказ о маленькой косоглазой эротоманке, откликавшейся на придуманное кем-то прозвище «Баракудра». Она приходила из поселка в казармы, влекомая ненасытной страстью к солдатским потехам, и с радостью неутоленного материнства превращала восемнадцатилетних юнцов в мужчин. Ей просто вменялось это в обязанность. Но тут был свой подвох: ее и застенчиво осклабившегося девственника заводили в котельную, провожая всем скопом, а сами тотчас, налегая друг на друга, похабничая, безобразно возбуждаясь, облепляли маленькие, низко расположенные, не раз обрызганные окна. Я сам бывал там в кочегарке и лип к окну тоже.

Вот с этих рассказов все и началось. Я не мог не написать их, но с них началась та самая болезнь зрения, что превратила меня в литературного выродка. О чем бы я ни писал потом, я все видел с какой-то не той точки, не тем оказывался мой угол зрения, сам миг возникновения и отсчета не таков. Но стоит мне попытаться что-то изменить в своей позиции, и я слепну, не вижу ничего. Так я оказался с теми, кто, с одной стороны, отстаивают свое право быть свободными от навязываемых обществом трафаретов, с другой — чувствуют себя обделенными благами, которые это общество так или иначе распределяет. То есть мы всегда делаем вид, что все, что мы отстаиваем, — это право печататься. Но печататься — значит пользовать-

ся бумагой, типографией, всем издательским аппаратом. К тому же, многое стоит за этой насущной писательской потребностью: и жажда славы, и обыкновенное желание материального вознаграждения своего труда. Кое-что мы скрываем сами от себя. Это особенно заметно в клубе.

Создания этого клуба мы добивались долго и упорно. Даже с некоторым риском. Мы писали письма, собирали подписи, в конце концов нам дали помещение и приставили референта. Иными словами, мы сами переписали себя, выявили и сделали поднадзорными.

Внешне в клубе царит атмосфера братства и ничем неограниченного утоления потребности общения. Оргкомитет и правление клуба (меня, кстати, единогласно выбрали в правление) — так вот, мы решаем, будет ли наш следующий вечер вечером прозы или поэзии, посвятим ли мы его памяти погибшего от наркомании друга-поэта или авангардной музыке.

У нас есть свои литературоведы. Это самые образованные из нас люди. Они запускают в оборот терминологию, которой мы потом все щеголяем. Кто например, из простых смертных знает, что такое «поэты-гермитисты»? Кто не содрогнется от восторга, узнав, что мы занимаемся «гальванизацией трупа современной литературы»? Кто ответит на вопрос о том, кто был отцом современного «хелигуктизма»? Что такое «апофатический» путь в поэзии? Могут сообщить: оказывается, представителем «апофатического» пути в поэзии был Тютчев. Так он и умер, не подозревая об этом.

Литературоведы предваряют выступления наших прозаиков и поэтов. Они придают особый блеск нашим вечерам. Они привлекают большое стечение публики. Гостям полагается бросать в банку мелочь — «на гардероб». Пропускают не всех, только отрекомендованных одним из членов клуба. Например, какая-нибудь девица, вместо того, чтобы сказать, кто ее пригласил, кокетливо представляется: «Я Алиса Бершанская!» — на что стоящий на входе поэт, сизошей, в седых патлах молодой человек решительно преграждает ей путь: «А по мне, хоть Венера Милосская!»

Но человек внушительной внешности проходит сам по себе — это объясняется тайным, подсознательным ожиданием Мессии: вдруг это как раз кто-то, кто выделит тебя из общей толпы и сделает твою судьбу. Тайно этого здесь ждет каждый. Явно это проявляется при распределении мельчайших благ. Вопрос в том, кому читать, в какой определенности, — болезненный вопрос, при его обсуждении мгновенно возникают обиды и склоки. Он сам собой превращается в созидание некой лестницы, на которой каждый хочет занять место ступенькой выше. Но эта наша кухня. Гостям ее не видно. Взгляду гостя предстает картина, бередящая душу жалостью, сочувствием и благодарным восторгом. Вот он, зал, наполненный бескорыстными, страдающими авитаминозом от плохого питания и недостатка любви, плохо одетыми, плохо умытыми людьми, каждый из которых безусловно талантлив, носитель и хранитель той особенной духовности, изголодавшись по которой к нам идут люди.

Между тем, чем чаще я хожу в наш клуб, становится все муторней на душе. В ней все активнее шевелится подозрение, что что-то в моей жизни происходит не так, как надо бы. Я отмечаю всякий упрек в том, что подобно многим, не работаю за ломаный грош кочегаром или лифтером. Ни даже сторожем на автостоянке. Никто из этих бородатых кочегаров и лифтеров не открыл для меня мир своей родной кочегарки. Да есть ли там, что открывать? Но каждый старается ей, кочегарке, открыть свой мир, вычурный, замысловатый, а она не приемлет, остается равнодушной, нанося неумолимый ущерб и без того мучимой одиночеством душе.

Герка, надо сказать, радостно согласился бы со мной, только откройся я ему, но вот это-то, его согласие, мне не нужно. Я не открою ему своей тревоги. Она родилась как-то исподволь, зашевелилась, зреет, крепнет во мне, ужасом наполняет мои утренние сны, по пробуждении толкает начать какую-то новую жизнь, куда-то идти, что-то увидеть, чем-то напоить свою душу. Но пути Господни поистине неисповедимы! Ты хотел проснуться спозаранку, увидеть город в лучах едва восходящего солнца? Но

кажется, изо дня в день засыпая в третьем часу ночи, ты не находил в себе сил для подобного эксперимента. Однако же вот: часы на Петропавловке едва показали семь, а ты идешь по Кировскому мосту, на сердце у тебя почти легко, а главное — загадочно...

Замечательная история произошла со мной этой ночью. Весь день накануне я провел в одиночестве, мучимый каким-то всепоглощающим бесплодием. В соединении с чувством голода оно сводило меня с ума — опустошение во всех смыслах, крах, банкротство полное.

В ожидании прихода с работы Герки я немного подиктовал. Последнее время эти мысли вслух — единственное, что я записываю. Голова кружилась от голода, я совсем было решился поклянуть какой-нибудь жратвы у добрейшей Юлии Цезаревны. Ничего нет, казалось бы, сложного в том, что ты выходишь в коридор, стучишь в соседнюю дверь и вежливым голосом говоришь: «Юлия Цезаревна, я приболел, хотел бы не выходить сегодня на улицу. Нет ли у вас хлеба?» Но дело в том, что наши милейшие соседи — и она и ее совсем ветхий старичок — оглохли окончательно. Это, правда, придает особую прелесть нашей квартире: мы с Геркой живем в ней, совершенно не смущаясь ни поздними звонками, ни полуночными гостями. Старики не слышат шума. Но точно также они не услышат и стука в дверь — надо попросту вломиться к ним и не сказать слабым от недомогания голосом, а проорать во всю мощь легких: «Хлеба нет? Дайте хлебца! Я приболел!» Она, может, и догадается, что мне нужно, и тут же даст и хлеба, и колбасы, и чаю, но почему-то я не могу себя заставить выйти и начать орать в коридоре погруженной в безмолвие квартиры. Вместо этого я иду на кухню, прямо к плите, на которой стоит кастрюлька с супом Юлии Цезаревны, беру со своего стола ложку и лезу в эту кастрюльку. Но тут как раз раздается причмокивание стариковских шлепанцев, и я трусливо бросаю крышку — это ничего, Юлия Цезаревна все равно не слышит, как та брякает о кастрюлю, но суп из ложки проливается, и соседская капуста повисает у меня на рубашке. Юлия Цезаревна смотрит прямо на нее и дре-

безжащим голосом спрашивает: «Юрочка, я вам налью супчику?» Я с глупейшей улыбкой на лице заправляю капусту в рот, прикладываю руку к пятну на рубашке и говорю: «Не беспокойтесь, пожалуйста. Я сыт». Она, конечно, ничего не слышит, но как-то по-своему понимает и то, что я прикладываю руку к груди, и то, что я пячусь к дверям, и, наверное, думает, что я и в самом деле успел наесться из кастрюльки. Я слышу уже из коридора, как она огорченно приговаривает: «Не разогрел, холодное ж невкусно, надо ж разогреть было...»

В комнате я вижу в зеркале, как краска постепенно отливает от лица, усмешка смущения уходит из глаз, уступая место чуть ли не слезам. Господи! Ну почему я так жалок! Сволочь, Герка, куда он сегодня запропастился? Я же знаю, у него сегодня аванс, он должен был, он обязан прийти и накормить меня. Но вот он так ко мне относится: прекрасно знает, что только через два дня я получу что-нибудь от своих и, надо думать, нарочно пустился сегодня в свой ИТРовский загул, чтобы я тут сдох с голоду.

И я ухожу из дома. Мне больше ничего не остается. Я иду к Мишке Звягину, чего не хотел делать, что выше моих сил. Этот пышущий здоровьем работник станции подмеса, густо поросший кудрявой сально-черной растительностью, сверкающий в мир брызгами жгучих глаз, крутогрудый, мощный, шумный человек, сильно напоминающий Дюма-отца, не только внешне, но и плодовитостью во всех смыслах: у него растет четверо пацанов, и он ежемесячно изготавливает на своей станции подмеса по новой повести. Этот человек мне сегодня невыносим.

Сегодня как раз он будет читать свою новую повесть. Черт с ним! Я обязан ее выслушать, в конце концов, там всегда дают поесть. Входная дверь, ведущая в коммунальную кухню, как всегда, когда у Звягиных полный сбор, открыта. Я вхожу без звонка, иду на шум голосов в маленький аппендикс коридорчика, сквозь неприкрытую дверь в комнату, едва вместившую в себя диван, вижу заброшенных чужими пальто Мишкиных пацанов. Эти худые и бледные дети, выросшие, как мне кажется, под

грудой чужих пальто, поразительно напоминают Мишкины повести — своей худосочностью разрушающие всякое сходство с великим романистом.

С отчаяньем вхожу в другую комнату и с порога вижу стол, заставленный стаканами бледного чая, и большое блюдо сухарей.

Народу в комнате так много, что очевидность нехватки стаканов вопиющая. На нормальную жратву рассчитывать нечего, только общепит способен накормить такое количество наверняка не менее голодных, нежели я, людей. Они сидят на всем, на чем можно, в том числе и на полу, раскинувшись живописными группами.

Вообще, эта комната довольно просторна, и все бы в ней ничего, если бы в один прекрасный день, то ли в поисках подслушивающей установки, то ли из желания придать своему жилью более артистический вид, Мишка не обколотил с двух ее стен всю штукатурку. Обнажился старый, местами колотый красный кирпич, жилье стало похоже на бомбоубежище, на что-то из фильмов о войне.

На подслушивающих установках помещена его жена Тамара. Как все, что не является в этом доме непосредственно Мишкой, она бледная, худая, лицо ее — сплошной лицевой угол, обрамленный длинными, жидкими, прямыми прядями. Ее тонкие губы, растягиваясь в улыбку, обнажают темные огрызки зубов. Меж тем, одна из кирпичных стен вся завешена ее фотопортретами. Плотно сомкнув губы, уставясь на вас накрашенными, неожиданно разросшимися на пол-лица глазами, Тамара без усталости позирует нашим художникам-фотографам — она их муза экзистенциализма. Мания преследования подслушками у нее странно уживается с любовью к неконтролируемому многолюдью. Скорее всего, тратиться на установки здесь нет нужды.

Я пробился к сухарям, но хозяин дома уже начал читать, хруст выглядел бы неуместно, и пришлось, откусив кусок побольше, стараясь растянуть удовольствие, сосать его во рту. Речь шла о перенесении героя в другие временные измерения. Герой, мучимый желанием выпить, — рассказ назывался «Необычайное приключение

или выпивка на дармовщинку» — слонялся от одного пивного ларька к другому, но нигде не обламывалось. Он уже было отчаялся, как вдруг неизвестная особа совершенно выдающихся прелестей — тут Мишка пустился в описание ее огромных грудей с таким вкусом, что ему должно бы стать очевидным, как он тоскует подле своей плоской жены, — так вот эта грудастая, одетая так, будто выскочила из ванной, в тапочках на босу ногу, в халатике на голое тело, появляется из какого-то парадника и втаскивает в него нашего героя. Он и охнуть не успевает, как она, зажав его голову между грудей, жарко дыша ему в затылок, возносит его на какой-то там этаж, и дальше начинается полная абракадабра. Он видит в комнате старушку, но тут же, на его глазах, старушка превращается в прекрасную даму, появляется горничная — по грудастости в ней узнается та самая дама. Дама кокетничает и завлекает, но он не может отделаться от подозрения, что она все-таки старушка, не может, даже несмотря на то, что уже успел выпить пару бокалов прекрасного вина. Дама в отчаянии еще раз чудовищно молодеет, и тут в ее туалете наш герой отчетливо прочитывает приметы уже не девятнадцатого, а восемнадцатого века. Меж тем, горничная к его досаде превращается в мамашу и не сводит глаз со своей юной дочери. Герой чувствует, что сейчас по всей форме сделает предложение, но его мучает воспоминание об упругой грудастости мамыши, то есть не мамыши, а той, кем она была поначалу. Однако же ему удается порядочно надрасться и в конце концов... кое-что я пропускаю в сюжете, кажется, я заснул в какой-то момент... Но только и он, и я проснулись уже в самом обыкновенном параднике: я ничего не понял, но и он не понимал, как он там оказался, как ему все-таки удалось напиться и не было ли все происшедшее с ним только сном?

«...Если у вас нет общего с другими людьми, будьте ближе к вещам, и они вас не покинут...» — писал своему молодому другу Райнер Мария Рильке. В тот вечер я чувствовал, что у меня общего с людьми ровным счетом ничего нет. Это началось давно, но в тот ночной час я

чувствовал свое одиночество особенно непереносимым. А поэт называет «вещами» то, что нам не придет на ум считать вещью. У нас к вещам «вещное отношение», для него же вещами были «ночи и ветры, которые шумят над кронами деревьев и многими странами...»

Я был пьян. Еда так и не появилась, но водка... Оказалось, что водку принесли — как-то так получается, что ее всегда приносят. Разбавленная в моем желудке с выпитым чаем, она ударила в голову, я сделался пьяненьким и совсем несчастным.

Еще не леденящий, но уже осенний сквозняк надувал паруса ночи, в которую я вплыл и вынырнул из которой где-то на Петроградской стороне, в отделении милиции.

Разумеется, я все помню. Если бы я был пьян до беспамятства, дело вряд ли кончилось бы так благополучно, как оно в конце концов кончилось, только сначала у меня в голове шла какая-то круговерть. Мне совершенно не нужно было на Петроградскую, без всякой нужды попасть на ту сторону. Я стоял перед разведенным Кировским мостом, просто потому, что добрел до него, но зрелище разведенных мостов всегда вызывает во мне тревожное ощущение непостижимости — эта невозможность перейти реку, обрыв во времени и пространстве, как некий агностический символ — знак предела!

Вокруг меня происходила обычная ночная жизнь. Топтались запозднившиеся в гостях жители другой стороны, жены пеняли мужьям, подъезжали и разворачивались такси, в надежде поспеть на другой мост, и вдруг подвалила шумная хиповая тусовка, с хриплоголосыми словечками, с женским загадочным смешком, с ужимками и прыжками. Я бы и внимания на них не обратил — о, как я знаю все эти их примочки! — но вдруг откуда-то снизу, от самой воды, раздался крик: «Мужики! Вали сюда! Тут перевозчик!» Они побежали к спуску, и совершенно неожиданно для себя я увязался за ними. Там действительно была лодка. И в ней перевозчик. «Харон, — думаю я, — это Харон». Но почему-то мне поразительно легко. В одно мгновение меня настигла уверенность в моей поразительной удачливости: ведь это же надо, на лодке, через Неву,

ночью, вот с этой шоблой, вот с этим в овчине на распашку! Я видел, как он запустил руку за выкат майки под овчиной и, кажется, из живота достал четвертной. «Ладушки, дядя?» — с ласковой хрипотцой спросил перевозчика, и все запрыгали в лодку, но я потянул его за рукав: «А мне можно с вами?» И он с той же лаской: «Валяй, дядя!»

Плыть по чешуйчатой ряби, сверкающей отраженными в ней береговыми оградами, где-то посередине реки всплыть в сквозной, продувной мрак, вслушиваясь в прихлуп весел по воде, вдруг явственно ощутить, что что-то еще не началось, но вот сию минуту должно начаться... Вдруг все разом замолкли, ушли в себя, сидящее рядом со мной на банке женское существо, замотанное в платок до полной неразглядываемости, тихо спросило: «А вы кто?» И я также тихо ответил: «Я — писатель». «Настоящий?» «О, да!» «У вас есть книги?» «Вы имеете в виду мной написанные? Да, есть!» — вру я без зазрения совести. Я всегда так говорю. Во-первых, я действительно писатель: это не моя вина, что написанные мной книги в «вещном» смысле книгами не стали; во-вторых, стоит замяться, промямлить что-то в ответ, и ты упустишь момент, она уже никогда не поверит в тебя и потом будет только несчастна от закравшегося однажды в душу сомнения. Я отвечаю так, потому что хочу сделать ее счастливой. Но мне тотчас приходится за это поплатиться.

— Машка! Отчаль от дяди-писателя!

«Овчина», облапив ее сзади, тянет на себя так, что лодка дает сильный крен.

— Но вы! Потихе там! — прикрикивает наш перевозчик.

А она успевает шепнуть мне в самое ухо:

— Завтра у Львиного. В пять...

И в ту же секунду с близкого уже берега луч мощного милицейского фонаря нащупал нас, и свист пронзил тишину.

— О, блин, втухли! — перевозчик сделал еще несколько гребков вперед, но вдруг стал круто разворачиваться.

— Не-не! Не моги! Ты че, дядя? — «Овчина» резко встал и дал команду:

— Полный вперед! Ты че, не видишь, он же один! Будем делать ноги: одни влево, другие вправо. А ты отмажешься, мы забашляем тебе потом...

Пока он вразумлял перевозчика, лодка сделала несколько крутых виражей и неожиданно всем днищем вмазалась в прибрежный песок. И в ту же секунду мои отчаянные спутники попрыгали в воду. Дикие визги перекрыли милицейский свисток, ледяная вода подкатывала под самые яйца, но я видел как шикарно «Овчина» на вытянутых руках нес Машу. Платок упал с ее головы, и поток лунного света повис над водой. Что-то замерло во мне, на мгновение явственно представлялось, что это на моих руках лежит ее легкое тело и с моего предплечья струятся эти лунные пряди... А по берегу метался милицейский фонарь, сержантик дул в свисток, что было мочи, наконец он сообразил, что тех ему не словить одному, а вот эти тут, прямо перед его носом, и он успокоился.

— Так кто ж башлять-то будет? — с тупым запозданием задался вопросом перевозчик.

И хотя он не ждал от меня ответа, я с полной мерой сарказма, заметил ему:

— Скорее всего, ты...

— Держи конец! — безнадежным голосом крикнул он сержанту.

Тот, ловко поймав канат, подтянул лодку, вполне добродушно приговаривая:

— Вот я тебе сейчас покажу конец! Ты что ж это хулиганишь на воде?

Он повел нас в отделение, и остаток ночи я уговаривал его и дежурного не составлять протокола, врал про старенькую больную бабушку, правдиво клялся, что никого из той шоблы не знаю, расписывал свою неутоленную страсть к приключениям, будил в ментах романтическую тоску, о наличии которой они до встречи со мной в себе не подозревали, наконец насмешил их до колик в животе мифом о Хароне: разом перевел их на дружескую ногу с представителем Аида; и они уже как-то ласково пеняли ему, что мог, де, без опознавательных огней и себя и людей загубить, и наконец к утру отпустили обоих, так и не составив протокола.

Я вышел в прозрачно-чистый, едва зачавшийся день, в груди разливался восторг предчувствия, затопляя малейшие островки душевных пустот. Ночь столкнула меня с необычностью, с тем лежащим в надземном слое смыслом, который уже превращается в сущность рассказа, и все в этом дне обещало быть продолжением ночи, возбуждение мешалось с томительной тягой каждого сустава в сон, ко всему этому примешивалось предвкушение того, как сейчас ошеломлю Герку, как раз сейчас, когда ему в ухо прозвонит будильник.

И вот я уже стою посреди его комнаты и сквозь накатившую сонливость лепечу:

— Такой кайф поймал! Такой кайф, Герка!

— Не понимаю, — бурчит Герка, натягивая индийские джинсы. — В чем кайф-то? В том, что тебя вместе с этой шпаной на пятнадцать суток не посадили? — Настоящие джинсы, «фирму», он носит только по воскресеньям. Ему кажется, что он говорит с сарказмом.

— Не понимаешь... — тяну я, глядя на него, как только умею, ласково, — ну, как же ты не понимаешь: ночной город, вода, лодка, девушка, перевозчик, мосты разведены, но по воздуху незримый, странный перекинут мост, куда-то в вечность...

— Иди ты на хер! — Герка звереет на глазах. — Жаль, искренне жаль, что тебя не забрали, помел бы улицу деньков пятнадцать, вот тогда словил бы кайф!

— Словил бы, Гера, — покорно соглашаюсь я. Я не огорчаюсь его злобностью, знаю, что сейчас он о ней пожалеет.

— Ладно, иди, дрыхни, — говорит он, якобы снисходительно.

— Гера, ты знаешь, как мне тебя вчера не хватало? — главное, выбить из его башки желание уйти на завод не завтракая. — Почему ты вчера не пришел? Я тебя весь вечер ждал, мы могли оказаться в той лодке вместе. А ты даже не расскажешь, где ты был.

Через минуту мы пьем на кухне чай, и он, все более распаяясь, поверяет мне историю своей вчерашней выпивки с начальником цеха, старшим мастером и начальни-

ком ОТК. Она как две капли воды похожа на историю выпивки после получки, полмесяца назад, и так же, как тогда, начальник цеха едва не подрался с начальником ОТК, так же кричал ему: «Ты на прынцып пойдешь, я на прынцып пойду, а кто план выполнять будет?» — со смаком повторяя одно и то же матерное слово после каждого человеческого.

Герка объяснил, что на план им обоим наплевать, вопрос упирается в премию, и я, проснувшись от горячего чая, уплетая бутерброды с прихваченной Геркой из ресторана колбасой, ужасаюсь намеренью начальника ОТК лишиться моего друга премии.

— Герка, хочешь я подпишу ребят — они отпиздят его?! Такой кайф будет!

— У! Как ты надоел мне с этим кайфом! — И, выхватив у меня из-под носа оставшиеся кусочки колбасы, Герка прячет их в холодильник.

Он еще мечется по квартире, а я уже залез под одеяло. В последнюю минуту перед сном я, кажется, готов замурлыкать, но вдруг вскакиваю, бегу в одних трусах по коридору, перехватываю его у самых дверей:

— Герка, дай будильник! У меня не звонит. Я просплю!

— Сам возьми! — Действительно, я мог сам взять, мы никогда дверей не запираем. И колбасу он зря прятал.

Будильник ставлю на три, поскольку в пять у Львиного мостика...

Я представляю дело так: «Лишь только я пиджак примерю...» Нет, я представляю дело так: я выхожу из дома, дохожу до Площади труда, пересекаю ее, и передо мной открывается вид на Львиный мостик — но вот где она стоит? У входа на него? Или совсем на другой стороне? Тогда я не увижу ее сразу из-за выгнутости моста. Может быть, она встанет посередине его, слегка облокотившись на решетку, чуть переломившись вниз, к воде?

У подступа к мосту я увидел огромную толпу. Ни на мосту, ни на другом конце никаких одиноких блондинок не стояло. Толпа волновалась, люди непрерывно сновали от одной группы к другой, негромко переговариваясь, образуя мерное жужжание — что-то пчелиное было в этой

толпе! Я несколько минут разглядывал «ее» с самой высокой точки моста, но потом сообразил: сюда же с самого утра сходятся те, кто сдает и кто снимает углы, комнаты, квартиры, а уж в конце рабочего дня здесь самое горячее время. Толкучка по найму жилплощади. Офицеры, студенты, абитуриенты и прочая бездомная сволочь. Так что ждать на мосту бесполезно. Глупая, злая шутка. И все-таки я спускаюсь в толпу, брожу от группы к группе, помню, что у нее на голове был платок. Белые волосы — это потом, когда платок сполз. Вглядываюсь в лица, без всякой надежды узнать — я же не мог разглядеть ее. И вдруг услышал голос, но сначала не ее, а жирный, хозяйский:

— Есть у меня комната. И ванная, и телефон, и все удобства. Но если вы не расписаны...

И вот теперь ее — с трещинкой, с надрывом:

— У нас документы поданы, какая вам разница?

— А такая, что сегодня с одним поданы, а завтра с другим!

Я обернулся, и первое, что пронеслось у меня в голове — это то, что, в сущности, тетка права: вчера был он, а сегодня буду я!

Белые прядки выбивались из-под серого пухового платка, застегнутого под подбородком на английскую булавку. Он только подчеркивал правильность овала и чудный перелив от голубизны глаз к легкому румянцу на скулах.

— Маша! — я прикоснулся к ее голове и потянул платок назад. Белые волосы рассыпались по плечам, будто им было тесно там, под платком.

— Что вы делаете? — не возмутилась, а просто спросила она. — Меня Марина зовут.

Тут и началась та игра, которую мы играем и доиграть не можем. Я всякий раз уступаю ей, потому что мне самому не хочется знать правду, мне нравится оставлять в душе эту каплю сомнения, неполной уверенности — может быть, она-то и закрывает собой тот клапан, через который обычно просачивалась скука. Время идет, а я все еще счастлив своей любовью.

Но тогда, на той квартирной толкучке, заправляя под платок рассыпавшиеся по плечам волосы, она сказала:

— Что вы делаете? Меня Марина зовут.

— Так это вы? — вглядываясь в ее лицо, я пытался как-то вычислить в нем приметы той, что в нависшем над водой мраке назначила мне свидание.

— У вас комната не сдается? — спрашивает она вместо ответа. — Или хотя бы угол?

И я, испугавшись, что она сейчас уйдет, поспешно говорю:

— Сдается. Именно комната. То есть угол. Хотя вернее комната, — и схватив ее за руку, тащу за собой.

— Жить совершенно негде, ну, просто не знаю, где переночевать, — лопочет она, очевидно, спешит объяснить, почему идет за мной.

Тетка злобно орет нам вслед:

— Видали? Документы поданы! Утебя, видать, с каждым встречным документы поданы!

— А что же мне делать? — оправдывается передо мной Марина. — Понимаете, я с мачехой поссорилась. А «он» вообще из дому ушел, у «него» отец — ужасная шишка, квартира пятикомнатная, а «он» хиппует, «ему» все равно где, хоть под мостом жить, «его», видите ли, дорога манит, а ведь зима на носу...

Мы с ней идем через Площадь труда и через пять минут окажемся у меня дома, но я совершенно пропускаю мимо ушей это ее сообщение о ком-то, кто «хиппует», — правда. На секунду перед глазами вспыхивает вчерашнее: солдатский тулуп, в распах которого мелькнула голая грудь, рывок, которым «Овчина» подхватил и понес по воде свою женщину, вздымая размашистым шагом фонтаны искрящихся брызг — вспыхнуло и тут же погасло, потому что слово «мачеха» — «я с мачехой поссорилась» — поразило меня. Меня поразила гармония, в которой оно находилось со всем ее обликом. Я еще не мог сказать себе в точности отчего, но какая-то сказочность соединяла их: ее и это слово.

— Ну да, — говорила Марина, — мама умерла, когда я совсем маленькая была, а папа женился. У нее есть дочка,

Танька, и еще они с папой братишку родили. Ну, то, что она меня не любит, — это ладно, но его-то? Это, вообще, понять невозможно! То есть, мне кажется, она вообще отца ненавидит. А он ее!

Когда уже в комнате она сняла пальто, платок с головы, и я наконец разглядел ее, я все понял. Конечно, братишка, которого не любила мачеха, — это могло сбить с толку, на ум могло прийти простейшее — сейчас пропоет Аленушка тоненьким голоском: «Не пей, не пей, Иванушка...» — но нет, Маринина сказочность другая. Я смотрел на нее, смотрел и понял: она Герда, заблудившаяся в снежном королевстве, и брата ее зовут Кай! И тут уж ничего не поделаешь. И глаза, по всему лицу разливающиеся небесную синь, и тонкий, вздернутый носик, почти сапожком, и мягкие, белые пряди волос, так естественно не прибраны, что нет сомнения: ни перекись, ни бигуди никогда не касались их. А вот не Аленушка! Ни простоты, ни непосредственности Аленушкиной в моей Марине нет ни на грамм. Даже сквозь румянец, то и дело вспыхивающий на скулах, обтянутых прозрачной кожей, пробивается какой-то особый надрыв, и эта трещинка в голосе, и заостренность плечиков, подростковая такая голенастость — все в ней не Русью отдает, она из другой, западной сказки, моя Марина.

Моей она стала прежде, чем успела выговориться и толком оглядеться. И должен сказать, что в первый раз она неприятно поразила меня своей полной незаинтересованностью — ни в чем: ни в близости, ни в отказе от нее. Так, словно отдать мне — дело решенное, обязательное, как плата за гостеприимство, но вместе с тем, вынужденность этого акта сама собой предполагает ее полную отрешенность.

— Ты понимаешь, — говорила она, снимая колготки, трусы, — Танька ее хитрая, ушлая, огонь, воду и медные трубы прошла, а она отцу кричит: «У меня дочь растет, я не могу, чтобы на ее глазах распутничали!»

Кажется, она все что-то еще бормотала, так и не заметив, что я уже проник в ее тесное, влажно-теплое, нежное вместилище всех мыслимых наслаждений, и, так и не

успев распознать, способна ли она хоть как-то ответить на мое вторжение, неожиданно для себя, я слишком быстро погрузился в сладчайшее из беспамятств и очнулся уже для новой, неузнаваемо легкой жизни.

— Я, конечно, все знаю про Таньку, какой она ребенок! — без всякого впечатления от сотворенного ею чуда не прерывает своей печальной повести Марина, — но я же не хочу ее закладывать. А отец смотрит на меня — я для него воплощение греха.

И что-то еще и дальше — разве я не знаю всех этих историй! — спуталась с каким-то охломоном, ни крыши над головой, ни мысли о женитьбе, просто взял ляльку и мотает ее по чужим углам. А дома скандал, дома жить невозможно!

— Марина, — говорю я не отрывая глаз, — живи у меня.

И не дождавшись ответа, спрашиваю:

— А «он» кто? Тот вчерашний, да?

Она встает, протягивает мне руку, ведет к столу, к машинке, в которую давно заправлен так и оставшийся нетронутым лист, и одним пальцем отстукивает: «Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни... — Прижавшись к ней сзади, я снова почувствовал возбуждение, но все-таки прочел эту строчку, как вдруг она повернулась, отстранила меня и не своим, ломаным голосом закончила какие-то явно не свои слова: ...всякого общества, отделил бы меня от всех, как отделяешь себя...»

К стыду своему, я не сразу сообразил, в чем дело. Ужасно довольная собой, она сделала какое-то приседание, что-то вроде глубокого реверанса и тем же неестественным тоном, до ужаса изобразительным, сказала:

— Разрешите представиться: молодая многообещающая актриса Марина Драга. А вы? Надеюсь, вы писатель?

Я был так поглощен в считанные мгновения сделанными открытиями, что новая ее уловка — эта вот: «Надеюсь вы...» — не привлекла моего внимания. Во-первых, она — актриса. Это могло бы меня огорчить. Но за секунду до того, как она произнесла свое признание, я догадался, откуда мне известны эти строки: «Ты бы, верно, лишил

меня всякой личной жизни...» — Изломанный голос, свои ужимки и прыжки Марина приписывала бедной Бунинской Лике! Но меж тем, то, что она адресовала мне честь быть как бы прототипом Арсеньева, потрясло меня не меньше. Она знала Бунина, цитировала, то есть объявляла о том, что ей ничего объяснять не надо.

Странно, что мы никогда прежде не встречались. Оказалось, она работает в том самом театрике, где когда-то шла моя пьеска. Как же это было давно! Пьеска моя всеми забыта, меня там тоже никто не помнит, и все-таки я рассказал ей о том, что в моей жизни был миг профессиональной удачи, и даже водились деньги, и верно она справилась — старички поднатужились и вспомнили — да, было дело, какой-то молоденький автор был, да что с ним теперь?

«Теперь — он мой муж», — гордо объявила Машенька.

Лишенные воображения коллеги называли ее Машенькой. Предположив под словом «муж» что-то стандартно-благополучное, они поздравили ее. Меж тем, я только потому преодолел разочарование, постигшее меня при словах «Я актриса», что сразу понадеялся: наверное она плохая актриса, не может быть, чтоб хорошая. А все-таки, славно, что не безработная: во-первых, не будет целыми днями торчать дома, а потом, как бы это я сумел ее прокормить, интересно знать?

Однако ее безучастность в деле сотворения любви в тот первый раз задела меня и озадачила. И надо было, чтобы все повторилось снова, но уже без той горячности, спешки. Надо было стать слабым, и нежным, и терпеливым, чтобы она прошептала в самое ухо: «Ах, я ненормальная, я не как все люди...» — и успокоить: «прекрасно, это так прекрасно, я и сам не как все...» — чтобы обнаружить, что она действительно редкостно, сладостно ненормальная. С тем секретом, может быть, действительно отклонением от нормы, которое мне, лентяю, так пришлось по нраву.

Я лежал подле нее, голый, счастливый человек, скрывая свои жалкие мысли за закрытыми веками, а вслух бормоча:

— Марина, актриса моя любимая...

— Современный театр — это театр интеллектуальный. У нашего режиссера очень высокие требования к интеллекту актеров, к их эрудиции.

— Тогда понятно...

— Что?

— Ну, что ты у нас такая эрудированная.

— Ты хочешь сказать, что я плохая актриса?

Кажется, она умеет читать мысли. Но я уже не могу прогнать ее. Я ведь уже сказал ей: «живи у меня» и теперь уже не могу жалеть об этом. И потом, дело ведь даже не в этом, дело в нашей с ней встрече, во всем, что обвисало по краям нашей с ней любви. А вот этому вовсе не мешает ни то, что она актриса, ни то, какая актриса, ни ее умение читать мысли.

Она осталась у меня, и мы зажили с ней замечательной жизнью. Время от времени она заходит к себе домой, переодевается там и возвращается ко мне так же, как пришла, — с пустыми руками. Спит в моих рубашках, колготки и прочие «предметы домашнего обихода», вечером простирнув, сушит на батарее. Мне нравится ее равнодушие к быту, то, что она даже не делает попыток как-то обуздать наш дом, что-то переставить, чем-то наполнить его, мне нравится ее приспособленность к бродяжничеству. Было бы нестерпимо тяжело, если бы наши привычки в чем-нибудь не совпали.

Кроме того, теперь мне стало легче следить за календарем: я теперь, как всякий нормальный человек, жду дней, когда выдадут получку и аванс. В эти дни мы с Мариной едем в театр вместе. Получив зарплату, она, случается, остается на репетицию, а я иду по магазинам, потом под руководством Юлии Цезаревны готовлю настоящий обед. Она приходит иногда очень поздно, но я не ем без нее, только перекусываю на ходу и сажусь работать. Мне нравится, когда она застаёт меня за работой. Обед съедаем на ужин. Частенько приглашаем к нам Герку. Марина нравится ему. Она нравится всем — моей маме, которая не может смотреть на нее без слез умиления и сострадания: «Господи, бедная девочка! Вот видишь, с

отцом жить — это не с матерью», — говорит она мне с упреком и в назидание.

Марина нравится моему брату, соседям и Герке особенно. Пожалуй, это первая моя женщина, которая своим появлением в нашей квартире не вызывает у него раздражения. Зато его раздражение против меня с появлением Марины возросло без меры. А главное, приобрело новое качество. Его то и дело тянет поговорить со мной по душам.

Для начала он всякий раз интересуется, не собираюсь ли я жениться, то есть оформить свои отношения с Мариной законным образом. Я уже говорил ему, что, конечно же, нет, не собираюсь никогда в жизни и ни за что на свете, да и ей-то что за прок в таком муже, как я? На это он сообщает мне, что мало того, что я Володин и мамин нахлебник, я сутенер и бабник, которому привалило немислимое, незаслуженное счастье, да понимаю ли я это? — вот, якобы вопрос, терзающий его благородную душу! Но я не знаю, что сильнее занимает его воображение. Я немало постарался в жизни для того, чтобы развить в нем склонность к самоанализу, но, как всякий неспособный к творчеству человек, Герман не нуждается в истине. Копаясь в себе, он всегда предпочитает признать только в том, что может украсить его в собственных глазах (обнаруживать в себе ужасное и отвратительное, раскапывать в самом себе Авгиевы конюшни — печальная привилегия нас, писателей), — так вот, я не знаю, что сильнее занимает его воображение, Марины судьба или годами накапливаемая неприязнь ко мне. Мне не нравится ни то ни другое. Но трудно представить себе, что он согласился бы играть в ее жизни ту роль, что так усердно навязывает мне — он не согласился бы даже на ту, что я уже играю.

С той же последовательностью, с которой он презирает меня — чтобы не презирать себя — люди его склада изначально не уважают и боятся дочерей Мельпомены; они заранее предполагают пучину безалаберности и разврата, в которую их непременно затянут. Основы, на которых зиждется благополучие моей с Мариной жизни,

рухнули бы в первые же дни, которые им довелось бы провести под одной крышей. Вы только представьте себе: я до сих пор не знаю, кто тот человек, с которым она собиралась снимать комнату, из-за которого ушла из дома, куда он делся, — я так ничего толком и не знаю об этой истории. Я никогда не позволил себе ни пуститься в расспросы, ни, скажем, выследить ее, когда она, случается, где-то необъяснимо пропадает; мне не всегда кажется убедительным тон, каким сообщается, как-то вскользь, с опущенным, посвященным какому-то никчемному занятию лицом, что «была у отца». Все, что я делаю в этом случае, я стараюсь снять напряжение, в котором она, по всей вероятности, жжет мне. Я немедленно заполняю возникший в нашей жизни изъян немедленной любовью. Я люблю ее в эти минуты особенно страстно и нежно. Легкая примесь тоскливого ощущения зыбкости наших отношений, невозможности во временном и случайном пребывании на этой земле владеть кем-то надежно и постоянно, придает особую остроту моему желанию сей дарованный миг прожить со всей полнотой. И Марина, душа которой, быть может, минуту назад была обременена чувством вины передо мной, отвечает лихорадочной, испуганной страстью, ею одной искупая вину и примиряя нас полностью. А допытываться правды... Я вовсе не хочу ее знать, да и бесполезно — она правды не скажет, в лучшем случае по своему кошмарному обыкновению произнесет чей-нибудь монолог, отрывок из монолога, с надрывом, с ужасной неестественностью.

Актриса она наисквернейшая: один всего раз я смотрел ее в театре, вместе Геркой мы пошли на «Бориса Годунова» — единственный спектакль, в котором она по настоящему занята, и, если бы не Герка, положение было бы ужасно. В маленьком театрике, на сцене, расположенной, как в римском цирке, меж расходящихся вверх под купол зрительных рядов, моя Марина более всего была похожа на жертву гонения на первохристиан. Среди рева и рыка здоровых актерских глоток странно болезненно звучал ее слабый и ломкий голосок, никуда не годный. Силясь что-то драматическое выразить, кривля-

лась и мучилась в бесплодном испуге наигранных, несвойственных ей страстей ее тоненькая фигурка — все во мне страдало совершенно независимо от хрестоматийного течения пьесы; я еле удерживал себя от желания сорваться с места и спасти ее, схватить в охапку, и как тогда, тот в лодке, унести, ногами распахивая брызжащих смехом зрителей, вместе с ней убежать от неминуемого позора.

Зрители одарили ее умеренными, казенными аплодисментами, а Герман со своим абсолютным доверием ко всему, что лежит в рамках законности — а тут был нормальный, законный, а не какой-то самодеятельный театр, нормальная, а не какая-то самоиздатская пьеса, и Марина, нормально зачисленная в штат, играла роль своей тетки, что тоже было как бы узаконено программкой, которую он купил перед началом спектакля и все три действия, как святыню, прижимал к сердцу, немного, правда, огорчаясь тому, что в перемену с Мариной эту роль играла еще какая-то другая актриса, к тому же заслуженная, — он, может быть, даже в пику мне, рассыпался такими восторгами, что мои не потребовались.

Весь вечер после спектакля лихорадочным румянцем пылало ее лицо, и в голове все что-то продолжало вздрагивать, и в жестах, в обращении со мной, так и пробивалась неостывшая потребность повелевать. И необыкновенное умиление заливало мне душу. Я думал: да, она — актриса, до мозга костей, она — плохая актриса, горячо, страстно плохая актриса, так же как страстно и горячо бывают хорошие актрисы. Но ей именно идет быть плохой. Я люблю в ней этот законченный образ слабенькой актриски со всеми исходящими отсюда пороками и восторгами ремесла, со всеми претензиями, сознательно и бессознательно продиктованными профессией, с этим вечным страхом потерять форму, нервной пыткой обрести новый образ («Надо что-то менять, надо менять образ... как ты думаешь, может быть, ногти отрастить?»), с паническим желанием восполнить недостаток природной, обезьяньей восприимчивости развитием ума, утонченностью чувств. Она, например, поражает меня своими догадками:

— Ты знаешь, Юрочка, — сказала она мне не далее, как сегодня ночью, — ты был бы невыносимо, невыносимо, отвратительно женственен, если бы не был писателем. Мне кажется, что писать может только тот мужчина, в котором верх берет женское начало. Писатель — это лицо третьего пола...

— Что ты хочешь сказать? — обиделся и насторожился я. Потому ли, что отодвинулся от нее, что тон мой был холоден, она сразу почувствовала это и торопливо принялась объяснять:

— Ну вот, понимаешь, в другом это было бы невыносимо, это твое отношение к самому себе, к своим волосам, к своему лицу, к одежде, к здоровью, но я понимаю: это, как у женщин, происходит оттого, что ты постоянно к себе прислушиваешься, всматриваешься в себя, только женщина всматривается и все. А ты находишь в себе ту общность, что позволяет тебе догадываться о других. Ты в себе открываешь...

Она встала, подошла к столу, взяла сигарету, на острые плечи накинула платок, присела на кончик дивана далеко от меня в ногах. Зябко кутаясь в платок, закурила и нечаянно выпустила дым тремя призрачно-голубыми колечками. Тыкая воздух тонким, длинным пальцем, с чистым, подетски круглым ногтем, попыталась нанизать их. У меня была в детстве такая игра с заманчиво необъяснимым названием «Серсо», что, как выяснилось, значит просто «обруч»: игрок должен был пустить в полет с конца тонкой, длинной деревянной шпаги один, два, три обруча, второй игрок должен был изловчиться и все их поймать, то есть нанизать на свою такую же шпагу и снова пустить в полет. Обруч иногда взмывал высоко в пронзительную синеву и вдруг повисал на дрожащей от счастья сосновой лапе... На мгновение что-то мелькнуло в слабо освещенной торшером комнате и растаяло...

Нет, Марина, на тебя нельзя сердиться, ты умница! Ты так же не смогла бы и дня прожить с Геркой, доведись ему, а не мне случайно приютить тебя. Напрасно он позволяет себе укорять меня моим дьявольским везеньем.

— Ты все-таки редкостная скотина! — сказал он мне недавно, после того как я кончил читать несколько страниц только что законченной прозы.

Я пишу порой мучительно, порой с наслаждением, перегоняя лодку воображения от берега к берегу, порой у меня леденеют кончики пальцев от холода, неумолимо струящегося за кормой времени, — я задыхаюсь от груза чьих-то надежд, потерь, никогда не остывших обид. И не к кому броситься за облегчением, кроме Германа. Я врываюсь к нему, прошу, умоляю, требую, чтобы он послушал, и он снисходительно соглашается. Но за это получает полное право высказаться.

— Ну, привалило тебе счастье — пожалуйста, на здоровье, барахтайся в своем бездельном благополучии. Так нет, тебе надо публично раздеть свою женщину, все самое интимное сделать достоянием публики, ты настоящий моральный урод.

Право его тем полнее, чем безразличнее мне все, что он говорит. Уж кто-кто, а я-то знаю, как невыносимо слушать прозу. Стихи — другое дело, но прозу трудно слушать, даже профессионалу. Недаром именно в недрах «второй литературной действительности» расцвел какой-то немыслимый жанр эстрадной прозы, сплошь расцвеченный репризами, призванными хоть как-то вознаградить терпение слушателя. Но я всегда боялся стать записным остроумцем. Уж если судьба не послала тебе читателя, не борись за слушателя запрещенными средствами, запомни, если не состоялось то самое чудо, когда все, что ты увидел, все, что ты пережил, стало зримым переживанием слушающего — ничто тебе не поможет.

Не отрывая глаз от рукописи, я знаю, что Герман слушает, каким-то третьим ухом ловлю всякий провал в его внимании, и, если их не было — ликую. Пусть говорит, что хочет!

Марине я читаю только те куски, в которых ничто не связано с нами, — со мной и с ней. С диктофоном работаю только в ее отсутствие. И поразительно, как это я с сегодняшнего дня не замечал, что все последнее время (я мог диктовать с утра до позднего вечера), кроме ночных

часов, все прочее время суток она где-то пропадает. Уходит из дома, едва позавтракав со мной, и возвращается за полночь. Но ведь я знаю, что в театре она занята далеко не во всех спектаклях и уж точно, что не проводит целые дни в обществе мачехи и прочей своей злосчастной родни.

Странное впечатление на меня произвело мое открытие. Я просто обомлел от ужаса: неужели я теряю ее? Панический страх овладел мной, тотчас же перешедший в какую-то совершенно лишившую воли маяту. На хорошо, казалось бы, надежно отлаженном пути моей мысли мгновенно образовались ухабы, меня затрясло и наконец я очутился на краю обрыва — все, дальше идти некуда. Я попробовал понять, что это, ревность? Я попытался найти словесное воплощение чувству, охватившему меня, но все получилось фальшиво, потому хотя бы, что ревности не было. Меня не интересовало, где она и с кем, только бы вернулась. Одна бесплодная тоска, та самая, что владела мной до встречи с Мариной, мгновенно обволокла меня, как только я представил себе, что в моей жизни Марины больше нет.

Сидение перед холодным глазком диктофона сделалось очевидно бесполезным, слова разбежались, как сотня королевских зайцев, волшебная дудочка вдохновения выпала из рук и затерялась в густой траве отчаяния. Но ведь она возвращается, думаю я и внимательно оглядываю комнату. На стеллаже лежит пачка сигарет — единственная ее вещь. Все. Больше нигде ничего, ни единой тряпки, которая эффектом своего присутствия могла бы развеять охвативший меня страх. Но нет, она же до сих пор всегда возвращалась, изо дня в день своим ключом (я дал ей ключ, по крайней мере она должна мне его вернуть!), открывает дверь где-то в первом часу ночи, бесшумно раздевается возле вешалки, напротив комнаты, и входит с какой-нибудь глупенькой приговорочкой, выдранной откуда попало строчкой, вроде: «Двенадцатый час, осторожное время, три пограничника, ветер и темень». Только бы что-нибудь сказать не свое, а что — безразлично.

Я встаю, иду в коридор и оглядываю вешалку. Поверх моих шапок, перчаток и знаменитого шарфа вижу ее синий беретик. На секунду отлегло. Вот и берет ее тут, конечно, вернется. Вообще, с чего я взял, что именно сегодня она не вернется? Она вернется, и я скажу: «Вот что, давай-ка, завтра перевозки свои шмотки, немного, все не тащи, но халат, рубашки...» Пусть на гвозде висит ее халат, пусть стоят тапочки. Но может быть, у нее нет ни халата, ни тапок, тогда надо купить. Получит зарплату, пойдем и купим ей импортный махровый халатик. Впрочем, ее зарплаты на импортный не хватит. Надо что-то придумать. Я открыл шкаф и оглядел свое имущество — можно продать джинсы, костюм тоже можно продать, скользнул взглядом по столу и решил: лучше всего продать диктофон, а потом заставить Володю добыть мне новый. Да, вот еще есть два пласта, подаренных мне американкой: Джон Колтрейн и Майлс Дэвис. Тогда можно купить Марине не только халат, тапочки, но и платье. Я никогда не видел Марину в платье. Она всегда в одной и той же юбке и в каких-то неразличимых свитерах. Мы купим ей заграничное платье, такое, примерив которое, она сможет в нем же выйти из магазина. Ни одной вытачки перешивать не надо — уж это наверняка, уж так она сложена, что всякое заграничное платье окажется специально для нее сшитым. Шкалой отечественных размеров она, моя Марина, так же не предусмотрена, как я не предусмотрен социальной шкалой.

Я едва дождался прихода Германа.

— Мне надо кое-что загнать. Срочно, понимаешь? Но «капуста» нужна немедленно, дай в долг! Пласты сдать по полтиннику ничего не стоит, диктофон пойдет за полтора стольника, — сказал я ему. — Дай стольник в долг!

Я еще говорил, а из его глаз уже сыпались на меня стальные стружки. По лбу, щекам и даже по шее расплзлись жуткие красные пятна.

— Ты что, спятил? Чего ради ты расстаешься со своими цацками? С чего ты взял, что у меня есть деньги?

— Гека! — так я называл его только в детстве, когда мы

оба еще не выговаривали букву «р», — Гека, не ври. У тебя есть деньги!

Мне и колко и знобко, но такая меня обуяла жажда немедленно стать обладателем суммы, благодаря которой к моменту возвращения Марины я буду чувствовать себя хозяином положения, распорядителем нашего с ней завтрашнего дня. Разве это не избавляло меня от необходимости спрашивать: «Где ты болталась?» От неизбежности услышать в ответ что-нибудь вроде: «О, если бы я нрав заранеe знала твой, то верно не была б твоей женой, терзать тебя, страдать самой, как это весело и мило»?

— Гека, — говорю я, как в бреду, — тебе не понять ужасный ряд забот и муки тайных ран, где смерть последнее, а целое обман!

— Фигляр! — он сгребает свитер на моей груди в кулак, пихает меня к дверям и шипит сквозь зубы, — я работаю, как заводная кукла, каждый день вскакиваю по будильнику, ты десятки в жизни не заработал, как ты смеешь считать в моем кармане?! Бездарный фигляр!

И я вдруг охладел. Совершенно успокоился. Не подралясь с ним. Честно сказать, на прощанье даже улыбнулся ему. Пошел в свою комнату, сел на диван и расхохотался. Анекдот вспомнил: «Пришел человек с разбитой мордой, его спрашивают, что с тобой? Он говорит: понимаешь, я иду, тут один подходит ко мне...»

Вот и я сижу и думаю: «А не бездарный ли я фигляр?» А почему бы так не подумать самому о себе, если так думают о тебе другие? Много мужества надо иметь, чтобы не думать о себе так, как думает о тебе твой сосед. Очень много. Хватит ли мне его на всю жизнь?

Впрочем, все выеденного яйца не стоит. Смешное выражение: «выеденное яйцо»! То есть просто скорлупа, само яйцо уже кто-то съел. Надо просто взять пласты, пойти к магазину «Мелодия» и там, перед магазином, загнать их по дешевке перекупщикам.

На улице грязно, мокро, хлипка. Вирусный воздух напоминает о тоске, о слабых легких, о бессмысленности всех усилий, о том, что даже за мою, не слишком длинную,

жизнь все изменилось только к худшему. Я очень хорошо помню, что в детстве в эти декабрьские дни город засыпало чистым, белым-белым снегом. Схваченный незлым морозцем, он скрипучим настом лежал под ногами, ноги сами собой пружинили, папа размашисто шагал вперед, я едва поспевал за ним, всем нутром чувствуя эту зимнюю праздничную нарядность. Казалось, что в прозрачном, хрустящем воздухе уже разлит запах хвои, что сугробы на бульваре уже искрятся елочными огнями, а тут еще отец говорит: «Знаешь, Юрка, что мы сейчас с тобой сделаем?! Мама ругается, что мы печку убрать не можем, она угол зря занимает, а вот мы наберем с тобой щепок и покажем ей, как это зря!»

Проваливаясь по колено в снег, мы лезем с ним по сугробам на свалку за магазином и набираем охапки отломанных от ящиков досок, предвкушая бескорыстную радость сухого, печного тепла, огня в раскрытой печной дверце. Я и Герка сидим перед печкой на корточках, а папа с Володей на коленях — чуть поодаль, на стуле, читает нам сказку про оловянного солдатика. Как, когда, в какой момент жизни мой отец из весельчака, выдумщика, заядлого футбольного болельщика, джазмена, превратился в кислородопахшего ресторанными обедками неудачника? В какой момент мама, замученная нуждой, коммуналкой, комнатой, в которой из-за нас детей — ни гостей, ни просто человеческой жизни, — перестала его уважать? Потом, ссылаясь на мое, уже все способное подглядеть, существование, совсем перестала любить, а потом вдруг, когда уже все было непоправимо, когда все разломалось, вновь нырнула с головой в истеричное, уже никому не нужное обожание; рыдала, уткнувшись в подушку, причитала: «Только бы вернулся, ничего мне не нужно, только бы вернулся!» И до сих пор хранит, изо дня в день укладывает на диван его «думочку», никому не позволяет прикасаться к ней, не стирает, столько лет бережет серое пятнышко, к которому он прикивал тяжелой с похмелья, лысеющей головой.

Я не могу понять, почему в нынешнем декабре под ногами вместо чистого, скрипучего наста, мерзкая грязь;

почему едва я вышел на улицу, навстречу мне из-за пивного ларька вылез безобразный ханыга, извалявшийся в грязи, с битой мордой в крови и блевотине; он шатался и в поисках опоры едва не ухватился за меня. Я вывернулся и тут же на другой стороне улицы увидел горбуна. Это тоже мне показалось чудовищно обидным. Прошел немного и лицом к лицу столкнулся с человеком, у которого половину физиономии залила красная, бугристая опухоль.

«Рожистое воспаление», — успел подумать я, как мимо меня прошла девица с белой гипсовой нашлапкой вместо носа, а еще через несколько шагов я увидел человека, несшего неестественно вздернутую голову, подпертую гипсовым ошейником. Я почувствовал тошноту, я хотел зажмуриться и идти с закрытыми глазами, потому что дальше за ним по бульвару двигалась еще одна женщина с замотанным бинтами лицом, а за ней другая — с нашлапкой.

Я хотел было повернуться и бежать домой, но вдруг сообразил, что это сейчас, совсем скоро, должно кончиться, вот только пройду косметическую поликлинику, в которой переделывают носы и вправляют челюсти. Надо идти, глядя под ноги, не поднимая глаз. И вот тут-то я увидел хлюпающие по слякоти, бесцеремонно вздымающие фонтаны брызг кирзовые сапоги. «Сейчас всего, скотина, обхлюпает!» — успел я подумать, прежде чем что-то вспыхнуло в голове, поднял глаза и увидел Марину. То есть я увидел его, а рядом с ним — Марину. Я обалдел. Она тоже.

— Ты куда, Юра? — спросила она, видимо, не вспомнив от неожиданности ни одной подходящей цитаты. Зато я, как впал сегодня в ее тон, так уж и не смог выпасть.

— Это вы, Мари? — произношу из Багрицкого. — На вас лица нет...

— Познакомься, — говорит она, усмехнувшись, — это мой друг. — И он протягивает мне длинную, худую, психоватую руку. Я чувствую дрожание холодных костистых пальцев.

Все, от чего я стремлюсь отмежеваться своими твидо-

выми пиджаками, как на витрине, выставлено на этом парне: джинсы, изорвавшиеся до того, как познали стирку, усеянные лохматыми заплатами, цветом грязи сравнявшимися с основой; засаленная овчина нараспашку, трикотажная блуза с выкатом до пупа — так, что кажется, что овчина надета на голое тело; на ребристой, с голодным всосанным подвздохом, груди, на волосатой веревке здоровенное распятие — наихристьяннейший, дескать, христианин; серые, невымытые патлы, перехваченные по лбу кожаной тисненной лентой, обрамляют лицо, которое природа, по всей вероятности, задумала красивым мужским лицом, и надо было немало потрудиться, чтобы так его испоганить; залитые испитой бледностью, нервным изнеможением черты уходят на второй план, только с особой пристальностью вглядевшись, увидишь черты красивой лепки — нос чуть с горбинкой, с аккуратным разлетом хрящеватых ноздрей, немного раскосые, хорошо посаженные глаза, но залитые какой-то прозрачной влагой, в которой то загорится искра, то разольется муть, тогда кажется, что он никого не видит. И ко всему — пробегающий по всему лицу тик. Я, собственно, сразу распознал это лицо — наркомана, психа, типичного ублюдка. Но все-таки я не мог решить, это «он» или не «он»?

Если сейчас назовет ее Машей, значит тогда, в лодке, был «он». Хотя тот казался мне как-то мощнее. Впрочем, была ночь. Овчина и «этому» придает довольно внушительные очертания.

— Боби Край, — сказал он и протянул мне руку.

«Не слабо!» — оценил я и повторил:

— Не слабо придумано!

И Марина тотчас же подтверждает мою догадку:

— Представляешь, Юрочка, я иду, и вдруг — Боря...

— А?! Боря... Ну, то-то же...

— Мужик! — говорит Боря. — Ты гуляй, у нас с этой женщиной свои разборки. Сечешь?

Так. Значит, это с ним Марина собиралась снимать комнату. Похоже, что так. Отвратительное чувство брезгливости подымается во мне, но в Мариных глазах я вижу

какую-то жалобную просьбу и подавляю в себе желание действительно развернуться и уйти.

— Думаю, я не помешаю вам, поскольку я тоже, так сказать, лицо заинтересованное, — говорю подчеркнуто изысканным тоном, скорее всего абсолютно неуместным. Чувствую, что выгляжу по-дурацки, но что можно с этим поделаться?

— Мужик! — Боби не то хлопает меня по плечу, не то пихает. — Ты напрасно втух в эту грязь.

Я понимаю, что под словом «грязь» он понимает всего лишь «историю». Жаргон, на котором он говорит, — это его родной, единственно знакомый ему язык. Вообще, кажется, он может меня поколотить.

— А не лучше ли нам, — сам не знаю, почему, продолжаю валять дурака, — не лучше ли нам, — говорю я Марине, — пригласить Боба к нам? Выпьем чайку и спокойно...

— Чифирыку? — перебивает меня Боби с каким-то зловещим гоготком. И неожиданно оживившись, возвращает мне: «Не слабо придумано!»

До дома мы идем так: они с Мариной идут впереди, причём его рука лежит на Маринином плече. Он непрерывно мнет, тискается плечо и, главное, что меня особенно бесит, выдирает из ее кроличьей курточки щепки белого пуха. «Какого черта щиплешь?», — думаю я, уныло плетясь сзади. Пушинки отлетают ко мне, Марина то и дело вертит головой, пытаюсь подбодрить меня взглядом, но тогда его рука сжимает ей шею. Все это озадачивает меня. Я переполнен дурными предчувствиями.

— Честное слово, Юра, — говорит Марина уже на кухне, где я собственноручно бухаю в чайник полную пачку заварки. — Он просто подкараулил меня. Выследил и подкараулил. — Она говорит без всяких ужимок и, кажется, говорит правду. И еще кажется, что она чего-то ужасно боится.

— Юрочка, я умоляю тебя, — подтверждает она мои предположения, — будь с ним осторожен. Как-нибудь уговори его, он же псих! Да-да, что ты так на меня смотришь? Ты знаешь его родители мечтали, что я выйду за него замуж. Они сами его психом считают и думали,

что, если он женится, это как-то будет влиять на него.

— Какого черта? — говорю я, но в это время Юлия Цезаревна, стоящая у плиты, то есть лицом к кухонной двери, с пронзительным визгом роняет из рук яйцо, которое собиралась разбить на сковородку. В дверях стоит наш гость с направленной на меня или Марину — я не разобрал — «пушкой» в вытянутой руке.

— Ты что идиот? — кричу я, но он так быстро спрятал пистолет в карман тулупа, что я не успел разглядеть, настоящий или игрушечный. Он, между прочим, наотрез отказался снять с себя овчину, должно быть, чувствовал себя в ней увереннее, массивнее, страшнее. (Я представляю, каким тощим он оказался бы, скинув ее.) Но в этом своем виде он мог напугать бедную Юлию Цезаревну до смерти без всякого пистолета.

Марина бросается помогать ей подтереть яйцо и, сясь нагнать на совок вязкую, переливающуюся лужицу, на полной артикуляции заверяет, что это была шутка, дескать, у «мальчика» такая забавная игрушка, а я иду за Боби в коридор. Но, когда он на удивление уверенно проходит в мою комнату, делаю финт и без стука шмыгаю в комнату Германа. Я сталкиваюсь с ним прямо за дверью. Видимо, он спал, но крик Юлии Цезаревны поднял его с постели. Я буквально бросаюсь ему на грудь и в полном изнеможении лепечу:

— Какой кайф, Герка, у него «пушка». Он убьет меня!

От того ли, что он страдал, поссорившись со мной, но скорее, от неожиданности Герман крепко прижимает меня к себе. Я слышу, как вздрагивает его сердце, чувствую, как бродят его руки по моей спине, по волосам, как необычно ласков его голос:

— Дурашка, какая «пушка»? Ну, что ты заладил: кайф да кайф! — И вдруг он с непривычным раздражением отпихивает меня. — Надоел ты мне со своим кайфом!

Но мне некогда.

— Пойдем, — говорю я ему, — я прошу тебя, ты сам увидишь.

Мы подходим к дверям моей комнаты и на минуту замираем от удивления. До нас доносится очень обыкно-

венная беседа людей, озабоченных вполне житейскими мелочами:

— А что отец? — спрашивает Марина.

— Отец, — отвечает ей Боби, — говорит: женись, построю квартиру, сдашь на права, «такку» куплю. Представляешь, своя «тачка» будет, «хата»...

— Так что ж, тебе кроме меня жениться не на ком? — с самым подлым кокетством в голосе спрашивает Марина.

Герман смотрит на меня с неподдельным интересом.

— Я без тебя отсюда не уйду. Собирай шмотки.

— Шмотоку меня здесь нет, — вполне к месту сообщает Марина. — Но я прошу тебя, дай мне подумать. Уйди сейчас и дай мне подумать.

Тут я не выдерживаю и распахиваю дверь. По моему виду она могла бы догадаться, что я все слышал, но она ничуть не смущена.

— Юрочка, — говорит она, вставая с дивана, — Боби просит меня выйти за него замуж. Но мне надо подумать, как ты считаешь? — спрашивает она совсем так, будто я ее папаша или старший брат, по меньшей мере.

Я слышу за своей спиной злорадное хихиканье Германа.

— Что же тут думать? Выходи за него немедленно! — я стараюсь изобразить на своем лице улыбку, но чувствую, что получается что-то кошмарное.

— Ты меня не правильно понял, Юрочка, — тихо и ласково говорит Марина, похоже, она и меня считает психом. — Я просто думаю, что сейчас Боби лучше уйти, а мне остаться.

— А я думаю, лучше уйти вам обоим! — наконец-то кричу я.

Но тут вступает Герка:

— Пожалуй, Марина права: лучше всего уйти этому типу. По-моему он здесь лишний.

— Ты?! — жуткий тик перекошил изумленное лицо Боби. Ему бы сейчас подошло сказать: «Это что еще за рыба кость?» Но, видно, он не читал Зоценко и потому сказал, что мог: — Ху из зиз хуй? Хочешь, я размажу тебя по стенке?

На что Герка очень твердо, очень по-мужски отвечает: — Потише, парень. И давай вали отсюда.

Я в отчаянии. Ну, зачем я притащил его? И вот теперь он красуется перед Мариной своей нестерпимой храбростью, которая объясняется очень просто — во-первых, нас теперь все-таки двое, а во-вторых, я-то видел у этого чертового Края пушку, а Герка не видел и в существование ее не верит.

— Боби, прошу тебя! — прямо как в театре заламывает руки Марина.

— О'кей, — окончательно переходит на английский Боби и вдруг делает какой-то дикий прыжок на середину комнаты и выбрасывает из кармана овчины руку с нацеленным на меня наганом. Теперь я ясно вижу: пистолет системы «наган». Я невольно смотрю на Герку и меня потрясает выражение его лица. С холодным, зловещим прищуром Герка, кажется, примеривается к тому, что будет, если этот идиот меня действительно сейчас шлепнет. Какая-то торжественная важность наползает на его маленькое личико, грудь выпятилась, а руки делают в эту минуту наикомичнейшие в своей ненужности дело: не дрожа и не суется, они до самого горла застегивают на все пуговицы курточку, превращая ее в некое подобие френча. Кажется, он ждет выстрела. Но тут Боби неожиданно раздражается хохотом:

— Обосрались, бляди?! — залился он. — Думали вас двое на одного? «Вооружен и очень опасен!» — Он прячет наган в овчину, на пути к дверям небрежно сдвигает в сторону Германа, но прежде чем выйти, патетически произносит:

— Если ты, сука, — это он обращается к своей, якобы, будущей жене, — послезавтра, без четверти шесть не выйдешь со всем своим барахлом на бульвар, ровно в восемнадцать ноль-ноль я по водосточной трубе взберусь на этот пресловутый балкон и сквозь стекло прострелю башку этому пресловутому типу, воображающему себя писателем. А сейчас он может сколько угодно вешать тебе лапшу на уши, меня манит дорога.

Надо сказать, в минуту, когда он покинул комнату, я

ничего, кроме облегчения, не испытал, и уж точно, что не задался вопросом, откуда он знает, что у нас есть балкон. Но балкон действительно есть с двумя выходами на него — из моей комнаты и из комнаты Германа.

Очень давно, когда мы еще были детьми, его подперли снизу уродливыми балками и не рекомендовали жильцам им пользоваться, так что насчет балкона Боби заметил довольно справедливо, он и в самом деле был в некотором роде «пресловутый». К тому же из-под его двери зимой нестерпимо дует, и поэтому я как-то однажды озаботил маму приобретением плотных до самого пола штор, так что, сидя в комнате, невозможно предположить за ними балконную дверь, а тем паче водосточную трубу, находящуюся, как выяснилось, в опасной от балкона близости. Это все надо было разглядеть с улицы, причем заранее зная расположение моих окон. Похоже, Боби всерьез выслеживал и подкарауливал Марину.

Но все это я осознал гораздо позже, в момент, когда Боби загрохотал кирзой по коридору, в комнате раздалась оглушительная тишина. Прервал ее Герман, бросившийся с преувеличенной любезностью открывать перед нашим гостем входную дверь. Вернувшись, он застаёт меня и Марину все в том же оцепенении и начинает дико хохотать. Мы с Мариной тоже истерически хохочем, но каким-то третьим глазом я умудряюсь заметить, что при всем при том каждый из нас имеет, свой отличный от другого повод для смеха.

— Ну, кайф, ну чудовище! — выкрикиваю я, вспоминая, как минуту назад едва не умер от страха.

— Ушел! Ну, как же ты не понял, я же хотела, чтобы он ушел, Юрочка! — прижимая руки к груди, всхлипывает сквозь смех Марина.

— Нет, он потрясно выразился: «Пресловутый тип, воображающий себя писателем!» Ей-богу, потрясно! — наслаждался Герка.

— Слушай, тебе не стыдно? — говорю я. — Ты, кажется, был бы рад, если бы этот идиот пристрелил меня.

— Нет, сейчас он не собирался стрелять. Ну, а в четверг

пристрелит — уж это точно, — и смотрит на Марину, как мне показалось, с надеждой. — Ты ведь не собираешься «пресловутому типу, воображающему себя писателем» предпочесть квартиру и машину? А зря. Он пристрелит Юрку.

— Я не собираюсь, я уйду, я вообще уйду, я от них обоих уйду, — на полном серьезе готовится разрыдаться Марина.

Я уж было обрадовался ее решению, как Герка вносит отрезвляющее замечание:

— Прекрасно! Вот тогда он пристрелит Юрочку наверняка.

— Глупости, — запальчиво говорит Марина, — он очень добрый! Вы его не знаете, он мухи не обидит! Он... он ведь, что ушел? Из-за вас думаете? Ему на дачу надо — у него там шесть собак живут, он всех бродячих собак кормит.

— Ах, вот как?! У него и дача! — выживает Герка, причиняя мне унижительную боль. — И чего ты здесь делаешь, не понимаю, ей-богу! Ну, псих немного, но ведь машина, дача, кооператив, — погибает он на руке пальцы. И в это время раздается длинный, настойчивый звонок в дверь. Я как-то сразу догадался, что это Боби.

— Марина, — говорю я в самое сердце уязвленный, — может, ты, действительно, пойдешь с ним?

— Юра, — плачущим голосом умоляет она меня, — ну, не открывай ты ему дверей. Ну, поверь ты мне, я, вообще-то, видеть его не могу. Я знаю, ты мне не веришь. Он просто выследил меня, я иду по бульвару и вдруг — он! Мне жалко его, мне и родителей его жалко, но ведь они чуть что в психушку его упрячут.

— Так, — злорадно говорит Герман. — Он пришьет тебя, и ему даже ничего за это не будет.

— Да никого он не пришьет: у него пистолет игрушечный, ему папа из-за бугра привез.

Звонок звонит непрерывно. Если бы наши старики не были намертво глухие, они уже давно бы открыли дверь.

— Что же ты раньше не сказала, что игрушечный? —

спрашиваем мы с Геркой в два голоса, как-то разом обидевшись.

— Ну, может, не игрушечный, но скорее всего игрушечный, я знаю, ему один парень предлагал настоящий достать.

— Так игрушечный или нет? — настойчиво, как следователь, спрашивает Герман. А у меня сразу отлегло от сердца. Но раздражает непрерывный звонок в дверь. Он забил уши, заполнил черепную коробку и сейчас разорвет ее.

— Вот сволочь, — говорю я. — Нажал кнопку и стоит. А ты — собачек кормить!

— Вот что: я сейчас выйду и очень громко, чтобы ему слышно было, вызову милицию, — предлагает Герман.

— То есть ты не набирай, а только ори погромче, чтобы он слышал, — уточняю я, не сомневаясь больше в том, что достойного повода вызывать милицию нет.

Герка ничего не отвечает, выходит в коридор, зачем-то все-таки вертит диск и орет истошным голосом:

— Алло! Милиция! Хулиган под дверьми! Алло! Дежурный, примите вызов! — он вдруг переходит на шепот, и я не знаю, что он там говорит, потому что трезвон на секунду оборвался, а потом начался опять, но с перерывами. Я думал, что он спичку вставил, а самого нет, но видно стоит, прислушивается.

— Пожалуйста, скорее! — снова орет Герман. И очень серьезно объявляет, входя в комнату:

— Сейчас приедут.

— То есть как?! Ты что? Вызвал на самом деле?

— А ты что подумал? Понарошку?! — неожиданно впадает он в бешенство. — Который сейчас час, ты знаешь? Я что так и буду с вами чикаться? Тебя шлепнут — тебе один сплошной кайф будет, а мне вставить в шесть, понял?!

Поразительный человек. Во-первых, шлепнуть все-таки собирались меня, а не его, во-вторых, я думаю, что пистолет, конечно же, игрушечный, а в-третьих, надо быть порядочной сволочью, чтобы вот так, не за понюшку

табака, сдать человека ментам. Будут они разбираться на ходу настоящая «пушка» или нет, загребут в два счета. Папа с мамой, конечно, выручат, но уж тут точно в психушку упекут.

— Герка, — говорю я, — давай, пойдем к дверям и скажем ему, пусть валит отсюда по добру по здорову.

И неожиданно Герка соглашается. Только подходит к окну и выглядывает на улицу.

— Ага, — говорит, — давай. Только они уже едут.

— Что же делать?

— А то, что надо его впустить и через черный ход выпустить.

Он решительно идет к дверям. Я за ним.

— Герка, — говорю, — они же его в подворотне загребнут, а у него «пушка».

— Ладно, — отмахивается Гека, — ты, вообще, сиди тут и смотри, как бы тебя не загребли, «пресловутого тунейд-ца». Сиди в комнате и не суйся. — Понравилось ему это слово — «пресловутый». Но довод вполне резонный.

Дальше все идет как по маслу. Я слышу, как он впускает нашего психа в квартиру, как выпускает через черный ход тоже слышу и как открывает милиции слышу. Беседует вполне мирно, но через минуту вызывает Юлию Цезаревну и подымается невообразимый крик. Юлия Цезаревна, конечно, все равно ничего не слышит, но понимает, что от нее требуется и подтверждает: «Да, да настоящий хулиган! Угрожал, угрожал!» Но зачем и почему он появился в нашей квартире, ответить не может, поскольку не понимает вопроса. Зато Герка бодро врет, что, вернувшись с работы, случайно не закрыл входную дверь. В это время на улице раздался свист. Я вижу из окна, как два мильтона сажают Боби в ПМЗ, и на лестнице раздается крик:

— Сидоренко! Мы взяли тут хипаря, давай кончай и в отделение!

Сидоренко, совершенно обалдевший от собственного крика, каким ему приходилось добиваться показаний от Юлии Цезаревны, спешит покинуть нашу квартиру, так

толком ничего не поняв, и бедного Боби увозят на моих глазах. Я не выдержал и даже вышел на балкон.

— Ничего, — говорит Герка за моей спиной, — Крайнов — фамилия милиции очень даже известная. Оружия при нем нет. Должно быть, его сейчас и отпустят. Так что не беспокойся: он прикончит тебя в четверг, как и обещал, — неплохо острит Герман. Мой лучший друг. Мой ученик.

— А куда он дел «пушку»?

— Спрятал где-нибудь. Во всяком случае, я посоветовал ему спрятать, если уж жалко выбросить. «Пушечка» у него была настоящая, вряд ли выбросил. Впрочем, я валюсь с ног. Тебя, конечно, не волнует, что сейчас уже второй час ночи, — не может он удержать себя от попрека. — Приятных сновидений! — желает нам с Мариной и уходит. Виду него сногшибательный, вид человека, сделавшего все, что было в его силах.

...Итак, Марина: если я сейчас наконец-то устрою тебе скандал, если скажу тебе, что мне невыносимо ложиться в постель с любовницей этого желтозубого кретина, невыносима мысль о том, что ты могла спать с сыном главного мильтона, если устрою тебе истерику и заставлю тебя кататься в истерике, разумеется, не сейчас, поскольку — ночь, и сейчас идти некуда, но наутро ты уйдешь и не вернешься. Я сам могу напомнить тебе о синем беретике, единственной твоей вещи, которую, уходя, ты все-таки оставляла в моем доме. Боби Край, при всем своем хипповом образе жизни, не смог представить себе, как ненадежно и зыбко твое существование в этих стенах, он все говорил: «Собирай шмотки». Так вот, забирай свой беретик и уходи. А то, чего доброго, твой псих и в самом деле прикончит меня. Давай выясним отношения и, ты уж прости меня, но я позволю себе не поверить ни одному твоему слову! И тем самым наверняка спасу себе жизнь. Если, конечно, ты поступишь благоразумно и не дашь ему повод искать тебя у меня. Но почему же ты должна скрываться от него теперь, если прежде тебе ничто не мешало — ни его грязные волосы, ни эти желтые зубы, ни психоватое передерги-

вание — ничто не мешало тебе быть его любовницей? Более того, Марина, разве он не обещал тебе стать паймальчиком? Разве он не обещал повести тебя в ЗАГС? Разве так уж плохо на первых порах поселиться в пятикомнатной родительской квартире? По утрам съедать завтрак, приготовленный для вас домработницей, а потом папин шофер на черной «Волге» будет подвозить тебя к театру? Конечно, этому психу никто не даст водительских прав, но ты сама можешь научиться водить обещанные «Жигули», хотя, впрочем, права ему тоже устроят. Иди, Марина, а я останусь и до четверга буду спать спокойно и весь четверг спокойно просплю, а что будет со мной потом, не знаю. Не знаю, потому что не знаю, сумею ли я жить без тебя. Может быть, я повешусь... То есть, конечно, я не повешусь — стоит ли бояться пули человеку, который собирается повеситься? Нет, я неповешусь, я умру медленной смертью, я умру от тоски по тебе, как умирают от голода. Потому что по утрам я не буду знать, зачем мне вставать с постели, я буду лежать, уткнувшись лицом в стенку, и никто — ни мама, ни Володя, ни Герка не заставят меня проглотить ни куска пищи, ни глотка воды, постепенно я даже в уборную перестану вставать. У меня начнут выпадать зубы, волосы сначала поседеют, а потом станут падать клочьями. Я потеряю зрение и уже никого не буду узнавать, так что, когда кто-нибудь из ближних наконец сообразит и притащит тебя к моему смертному одру, будет уже поздно!

Я так размечтался, что не заметил, как Марина расстелила диван, переоделась в мою рубашку, уселась, поджав под себя ноги. Очнулся только, когда она сказала:

— Юра, перестань бредить. Если ты хочешь меня о чем-нибудь спросить — спроси.

И совершенно неожиданно для себя я спросил:

— Марина, ну скажи мне, наконец, тогда в лодке была ты? Ты и «он»?

Я, собственно, совсем забыл и о лодке, и о том, что первым при встрече с Боби было желание узнать правду

про лодку, но сейчас, откуда ни возьмись, всплыло удивление. Я вспомнил, что за весь этот мучительный вечер он ни разу не назвал ее по имени. Я так и не услышал ожидаемого «Маша», хотя и это не могло быть абсолютным подтверждением моих предположений.

И тут я увидел широко раскрывшиеся мне навстречу глаза и услышал неподдельный голос, которым сегодня, наверное, из-за всех этих передраг весь день говорила Марина:

— При чем тут лодка, Юра? Ну, ты придумал. Но я-то при чем тут? Ни я, ни «он»!

— Так это была не ты? — наконец-то я чувствую себя совсем, окончательно обманутым, диким козлом, хохоча и бляя, подпрыгиваю к столу и, выкрикиваю: «Фигляр! Пресловутый фигляр! Все выдумал! Все наврал!» Хватаю уложенные стопкой страницы, мну, комкаю, рву, весь сегодняшний день вымещая на них, все свое презрение к себе, к своей жалкой жизни. Но столь же ретиво, с той же овечьей прытью вскакивает Марина, грудью бросается на стол, всем телом, руками, животом защищая от меня грудю разбросанных страниц, и сдавленным в горле, еле слышным криком молит:

— Не надо! Не смей! Но пусть не я, но это же замечательно! Я по улицам шаталась, только бы ты писал! Я так верю в тебя, я так люблю тебя!

Она стоит в этой своей невообразимой позе, переломившись в пояснице, животом на столе, закругленные полы моей рубашки свесившись впереди, сзади совсем открыли ее голенастые ноги подростка, в глазах у меня мутится от чудовищного, всевластного желания, но то, что я слышу, еще восхитительнее этих открывшихся мне навстречу полудетских ягодиц — слова, из которых я не смею не верить каждому — но стоит не поверить одному, и тогда все они покажутся ложью! Как мне нужны эти слова, как мне нужна эта вера!

А потом мы оказались уже в постели, оба опрокинутые навзничь только что совершенной любовью, но Маринины длинные, чуткие, как две струны, ноги закинута поперек

моих чресел. Рукой помогая моему истекшему желанием члену войти в тесное и нежное объятие, Марина начинает с невинной, нежной ласки, постепенно раз за разом наполняя ее все большей страстью. Я осязаю ее там, внутри, и вместе с ее желанием нарастает мое, но я удерживаю себя, я знаю этот ее, чудный, смешной, как детский грешок, трогательный секрет — вот сейчас, еще немного, и ее настигнет последняя, со стоном, с полным изнеможением сладкая судорога. И тогда она откинет одну ногу и даст мне полную волю, и я получу свое... Как обидно, как непостижимо краток, в сущности, этот последний миг любви! А ведь именно его ради сколько всего нагорожено в мире! Сколько совершено безумств, сколько потрачено слов, чтобы пропеть хвалу этому, в сущности, секундному содроганию, пронзительному, столь же болезненному, сколь сладостному.

Я не люблю Генри Миллера, не потому, что он писал о любви словами, могущими оскорбить чей-то слух. Я знаю, что он был потрясающий ебарь, настоящий половой гигант. Но сам по себе половой акт не стоит даже тех недалеко лежащих слов, которые ползли ему под руку. Я не люблю его за то, что он открыл шлюз, и в литературу хлынул грязный, воняющий перегнившей спермой поток словесных извержений, похожих друг на друга, как если бы они предназначались для описания ковыряния носа: все равно у человека нос только один, дырки в нем две и третьей не придумаешь, и никто не ковыряет в них пальцем ноги. И никто еще не разгадал и не объяснил мне, каким образом так случается, что этот краткий, неизбежно краткий миг содрогания приносит блаженное успокоение, погружает тебя в состояние райской гармонии, через всю толщу вселенского одиночества единит твою душу с другой душой.

Уставшая, замученная этим безумным днем Марина спит, уткнувшись в мое плечо, я вслушиваюсь в ее редкое дыхание и пытаюсь подладиться. Мне кажется, я могу потревожить ее своим нетренированным, слишком частым дыханием, я делаю паузы, считаю до десяти, но

задохнувшись, прерывисто набираю в легкие воздух с хрипом и всхлипом, и беспокойство вновь охватывает меня, острой болью вползает в сердце недоумение: почему, ну скажите на милость, почему я, едва только начав учиться правильно, с большими переменами дышать, должен буду умереть, самым дурацким образом умереть от пули бесноватого идиота?

В четверг, ровно в восемнадцать ноль-ноль, он подойдет к тайнику на лестнице, нет он подойдет раньше, все, вообще, произойдет раньше на каких-то десяти-пятнадцать минут. Я не сплю и вовсе не сон вижу, но вижу отчетливо, как без пятнадцати шесть, в четверг, застегнутый на все пуговицы своего дурацкого френчика Герман подойдет к тайнику на лестнице, ведь это он сам показал Боби, где спрятать наган, он даже дал ему кусок рваного пододеяльника завернуть наган, прежде чем засунуть его в тайник, а теперь подойдет и руками, предусмотрительно одетыми в перчатки, достанет, быстро вернется в комнату и, выйдя на балкон, будет ждать. Он будет терпеливо ждать того момента, когда из-за угла Якубовича и Красной появится долговязая фигура в разверстой овчине — все! Теперь все надо делать быстро и расчетливо. Один шаг, и Герман у моей балконной двери. В прорезь между двумя панелями шторы он видит меня и целится; я сижу за столом, он не может целиться мне в сердце, только в голову. Пуля прошибает мою башку, страшный вопль Марины — последнее, что в нее врывается, больше я никогда ничего не услышу и не увижу, но сейчас, покуда редкое, ровное дыхание Марины еще тревожит меня тем, что никак не удастся под него подладиться, я отчетливо вижу, как распахивается дверь и Герман врывается в комнату. Лицо его бледно, взгляд ненормален — но что ж тут удивительного! — он видит, как от поникшей на стол головы по белым листам бумаги ползет кровавый ручей, как обвисло на стуле мое тело.

— Скорей! — кричит он Марине. — «Скорую»! Милицию!
— Бросается к балкону, распахивает дверь. Что может

быть естественнее желая поймать преступника? Марина, конечно же, никуда звонить не может, и вот он уже орет в телефонную трубку:

— Убит! Выстрелом из пистолета! — звонит не в «Скорую», а в милицию. «Скорую» вызовет сам дежурный, да она уже и не нужна, нужен судебный эксперт. И кто же заметил, сколько прошло времени между тем моментом, когда он выскакивает на балкон, — никого там, конечно, не поймав, — и тем, когда он уже стоит у телефона. Марина уж точно не заметит, что выскочив в мою дверь, он появится у телефона с другой стороны, успев пробежать через свою комнату и кухню на черный ход. Ему не повезет, если в кухне Юлия Цезаревна, но скорее всего повезет — и вот уже наган на месте. Стоп! Как же по его мнению Боби может оказаться на балконе? Боби сам сказал: влезу! Влезть, конечно можно, но совершенно не нужно. За минуту до того, как выстрелить в меня, Герман будет громко и ясно говорить по телефону — все равно с кем. Стоя у телефона, он не может видеть, как через дверь черного хода, которую мы часто не закрываем, когда выносим мусорные ведра, в его комнату прошел злоумышленник, точно также и вышел, покуда Герман вызывал милицию. Все выглядит очень естественно. Единственное, о чем он не должен забыть впопыхах, — это в тот миг, когда вбежит на крик Марины в комнату, снять перчатки, а когда побежит класть наган на место, в тайник, снова их одеть, хотя это необязательно: сразу после выстрела он завернет наган в тряпку. Важнее его развернуть, когда положит в тайник — на нем должны быть свежие отпечатки дрожащих рук Боби Края. А с Юлией Цезаревной он поступит очень просто — она, конечно, не слышала ни выстрела, ни крика, но он впихнет ее в мою комнату и, увидев труп, она забудет о том, что было и чего не было.

Сволочь Боби, милицейский ублюдочный отпрыск, с этой его ввевшейся в гены страстью к детективу: «Вооружен и очень опасен», «Место встречи изменить нельзя». Он только играет в хипаря, а на самом деле он самая

обыкновенная, пунктуальная сволочь. И мне его совершенно не жаль.

Справками из диспансера его начнут отмазывать раньше, чем кто-нибудь сообразит, что он здесь абсолютно ни при чем. Но если бы он не появился со своей «пушкой», со своими угрозами, Герман мог сколько угодно ненавидеть меня, но убить? Убить, без всякой надежды выйти сухим из воды? Нет, на это он был бы не способен. Впрочем, я сам себе подписал приговор, и вряд ли моя оправдательная речь понадобится на суде над Германом, его не будет скорее всего, но должен же я быть честен с самим собой. Герман убьет меня не потому, что ненавидит, это ерунда, он, вообще, не меня убьет, а свою любовь ко мне. Я сам из года в год бездумно и вкрадчиво внушал ее, внедрял ему в душу, лелеял эту любовь. Еще в детском саду, когда он не умел дружить ни с кем, кроме меня, а мне только и нужно было, чтобы взрослые восхищались тем, какой я хороший мальчик; и потом, когда мне нужны были его подсказки, его шпаргалки; и потом, когда мне нужно было хоть что-то или кого-то отвоевать у ненавистного противостоящего мне мира. Я не мог не чувствовать свою малость перед властью этого мира, я даже не сумел научить Германа читать хорошие книги. Разлаженное, скрипучее, дребезжащее, но все еще мощное заводское чрево пестовало его, куда надежнее, чем все, что мог ему предложить я. И я отступился. С единственной надеждой на эту ползучую стерву — любовь. Она прокралась в его душу, несмотря на то, что та была, казалось бы, надежно заперта стальным проклятием несвободы.

И вот теперь пожалуйста! Изю всех сил стараясь не потерять голову от ужаса и горя, он оказывается главным распорядителем моих похорон. Мама совершенно невменяема, Володя тоже, отец ведет себя так, будто он малое дитя, и появляется, собственно, уже только на кладбище, а про Марину, вообще, страшно подумать. Мама во всем винит ее и кричит, что не хочет ее видеть.

Вот тут Герке открывается большое поле деятельности. Кто, как не он, может всех примирить и все уладить. Согреть и утешить мою Марину. И возможно в память обо мне попросит подарить ему мои пленки — ну, хотя бы не все, хотя бы вот эту, мой дневник, дневник его любимого друга. Нет, я скажу Марине, чтобы она не подпускала его к моим пленкам. Вообще, не оставляла бы его в комнате одного. Я, вообще, могу заранее все рассказать ей, она, конечно, не поверит, она рассмеется. Зачем это делать? В самом деле, зачем это делать, если даже с Мариной я не могу научиться правильно дышать?

...В восемнадцать ноль-ноль в четверг в отделении милиции зазвонил телефон, и взволнованный мужской голос прокричал дежурному, что по улице Красной в доме номер двадцать семь дробь девять, в квартире восемьдесят девять совершено убийство.

Осматривая место происшествия, следователь занес в протокол: «Голова убитого с огнестрельным ранением черепа лежит на столе; рядом с головой находится диктофон, залитый кровью. Кассета отсутствует».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ВВЕСТИ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ» ЖУРНАЛИСТА И СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ РУССКОЙ КНИГИ И ЛИТЕРАТУРЫ ЭДУАРДА ШТЕЙНА.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена - \$ 16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We“
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA



Борис ХАЗАНОВ

ДВА РАССКАЗА

Vienne la nuit*

Женщина стояла, как птица, в прямой короткой юбке, легкая, стройная и прекрасная, как только может быть прекрасной женщина в девятнадцать лет, и эта линия обтянутой чулком, высоко открытой ноги притягивала взгляды, заставляла людей украдкой поворачивать голову. Подошел автобус, девушка оперлась на две палки и вскочила на площадку; я вошел следом за ней.

Мы были знакомы, — осмелюсь сказать, дружны — около года, каждую неделю виделись и говорили друг другу все, за исключением того, о чем невозможно было говорить. Ничего особенного между нами не произошло, никакой «истории», о чем я честно хочу предупредить читателя; ничего такого, что началось бы с какого-нибудь

* «Пусть ночь придет...» Из стихотворения Гийома Аполлинера «Мост Мирабо», которое в дальнейшем упоминается в тексте.

необыкновенного события и кончилось неожиданной развязкой, Жизнь, как известно, плохой сочинитель; в жизни каждого из нас есть только одно начало и один конец, — ни о том, ни о другом мы помнить не можем.

Мы не могли говорить о том, чего она не помнила: точная дата ее рождения была неизвестна, считалось, что ей было семь лет. Кто-то держал ее на руках, и все спешили. Этот человек был, по всей вероятности, убит. Больше ничего не осталось в ее памяти, ни боли, ни крови, и мы к этой теме не возвращались. Где-то на дне ее души хранился запрет вспоминать: своего рода гриф «Секретно» на папке, в которой ничего нет.

Можно добавить, что это была война за национальную независимость — другими словами, война ни за что. Вы согласитесь со мной, что более мерзкого слова, чем «национальный», нет ни в одном языке. Свой родной язык она забыла. У нее было длинное экзотическое имя, похожее на название цветка или княжества, для моего уха, пожалуй, слишком церемонное, я укоротил его и слегка переименовал, получилось Дина.

«Дина... — сказал я, переводя дух. — Что за упрямство?» Дом, где она жила, был старый, как все дома в этом городе, и казавшийся очень высоким, с длинными полутемными лестницами, квартира была на последнем этаже.

Я уговаривал ее переехать ко мне. В доме обитал неопределенный люд. Этажом ниже помещалась пошивочная мастерская, дверь на площадку была открыта; когда мы останавливались, чтобы передохнуть, оттуда пахло утюгами, слышались женские голоса. Ее квартира состояла из комнаты и кухни. Тут же, при входе, за занавеской помещалась уборная и желтая от ржавчины ванна. В этой ванне я иногда мыл Дину. В мои обязанности, которые я сам возложил на себя, входило также покупать продукты.

Широкая низкая тахта, перед зеркалом подобие туалетного столика — коробочки, деревянное блюдо с бусами, флаконы из-под духов, по большей части пустые. Окно доходило до пола и было скрыто наполовину темной

гардиной. Паркет «дышал»; — разошедшие половицы хлябали под ногами. Насколько свежа и опрятна, словно умыта росой, была хозяйка, настолько заброшенным выглядело ее жилище. Время от времени я устраивал уборку. Дина сидела с ногами на тахте, — я хочу сказать, поджав ногу, — и смотрела в окно.

Говорят, Париж не меняется; во всяком случае, поселившись здесь, я не уставал удивляться тому, что все в этом городе существует по сей день: и крутые крыши, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола. Дешевое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках — все как встарь, город давно смирился со своей ролью быть огромным сборником цитат, и все так же течет Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, удивляясь тому, что он жив, все еще жив, и высоко вдаль непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чем я говорю, — тоже повторение сказанного тысячу раз. Приезжему я посоветовал бы внимательней смотреть под ноги: обилие собачьего кала на тротуарах свидетельствует о неугасимой любви к священным животным.

Вернемся к нашей теме, — я имею в виду ее жилье. Пока я возился с пылесосом, она сидела, сторбившись, на тахте, курила и поглядывала в окно. В углу стоял протез — она не любила его, предпочитала палки. Костылями вообще не пользовалась. Из окна был виден сплошной, вдоль всего фасада, балкон дома напротив и кругая черепичная крыша с окошками. Улочка находилась в VI округе, в знаменитом квартале, — спрашивается, что здесь не знаменито? Вам достаточно было пройти двести шагов, чтобы очутиться у подножья мрачной башни Святого Германца-на-лугах, на перекрестке, где обалделый турист стоит в замешательстве перед прославленными забегаловками *Flore* и *Deux Magots*, как Буриданов осел между двумя стогами сена.

На шаткой этажерке, среди кое-как напиханной макулатуры (она читала все подряд), в резной овальной рамке стояла фотография: чернобровая барышня в белом пла-

тье, с зонтиком, на фоне искусственного ландшафта. Вылитая Дина. Я бы сказал — она сама.

«В некотором смысле».

«Что ты хочешь этим сказать?»

Она пожала плечами. Я спросил, откуда ей известно, что это ее мать, может быть, это бабушка?

«Может, прабабушка?» — возразила она.

Она не знала, как звали ее родителей, что с ними стало, ничего не знала. Все это лежало в пустой папке с грифом «Секретно». Я переставил портрет с этажерки, откуда он легко мог свалиться, на туалетный столик. «Можешь ли ты мне, наконец, объяснить...», — спросил я, но объяснить было нечего, мы могли говорить обо всем, кроме того, о чем нельзя говорить. В таком духе, собственно, проходили наши беседы. Я уже сказал, что мы ничего друг от друга не скрывали. Скрывался и ускользал, если можно так выразиться, самый предмет разговора.

Бывало и так, что меня просто не впускали. Я стоял на площадке с бьющимся сердцем, с продуктовыми сумками, звонил, ждал. Звякала цепочка, дверь приоткрывалась, надменный голос произносил:

«Извините, но я не могу вас принять».

Высовывалась голая рука.

«Сколько раз я просила вас не утруждать себя...» Через несколько дней я снова взбирался на шестой этаж, и она спрашивала светским тоном, как ни в чем не бывало:

«Что случилось, вы были больны?»

В декабре лили дожди, тускло сияла иллюминация, Рождество — это была годовщина нашего знакомства — мы встречали в заведении, которое, я надеялся, должно было ей понравиться, на Дине было черное платье с рукавами из темного газа, с полупрозрачной грудью, я облачился во фрак, — ей-Богу, мы были красивой парой. И когда мы шествовали по залу следом за чопорным метрдотелем, я, задрав нос, и она, слегка прихрамывая, люди за столиками оглядывались на нас с восхищением.

Гарсон вручил нам огромные, как почетные грамоты, папки с меню; второй официант приблизился с картой вин.

Состоялся обмен мнениями, были высказаны глубоко-мысленные соображения, даны компетентные советы. Последовал церемониал опробования.

«Где вы обучились всем этим премудростям?»

«Нигде. Это разговор авгуров. Римские авгуры старались не смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться». Я предложил выпить за нас.

«Что это значит?»

«За тебя, за меня».

«За вас — пожалуйста».

«Знаешь что, — сказал я, смеясь, — всякому терпению приходит конец, ведь мы, кажется, договорились: говорить друг другу ты. Это первое. Второе...»

«Я знаю», — сказала она и стала смотреть по сторонам.

«Нет, не знаешь. Я не собираюсь возвращаться к нашей избитой теме. Дина! — сказал я. — У нас сегодня торжественный день. Будем говорить о чем-нибудь высоком».

«О чем?»

«Об Эйфелевой башне. Или о поэзии. *Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours...** Тебе нравится?»

«Нравится». И разговор иссяк.

Подъехал столик с блюдами, приготовления до некоторой степени оправдывали наше молчание.

«Тебе скучно со мной?»

Она усмехнулась, пожала плечами.

«Я понимаю, я для тебя слишком стар».

Дина учтиво ответила:

«Вне всякого сомнения».

«Будь я лет на пятнадцать моложе...»

«Вы были бы слишком молоды».

«У тебя кто-нибудь есть», — сказал я как бы в шутку.

«У меня?» — спросила она удивленно.

«Не у меня же. Блины остывают».

Я решил угостить ее деликатесом моей страны и давал указания: что надо положить, как надо сворачивать блин. Надеюсь, меня поймут правильно: слава Богу, я не принадлежу никакой стране. Единственный вид патриотизма, который я признаю, — гастрономический.

* «Под мостом Мирабо течет Сена. И наша любовь...»

«Почему вам пришла в голову такая мысль?»

«Очень просто: может быть, ты сама мне когда-нибудь приготовишь...»

«О! Я не об этом».

«Конечно. Я пошутил».

За такой увлекательной беседой прошел наш праздничный ужин. Ближе к полуночи на эстраде появились музыканты, публика оживилась, пары вставали из-за столиков, образовалась площадка для танцев. Я заказал шампанского... Когда мы вернулись, Дина выглядела усталой, слегка возбужденной, глаза блестели. Она попросила расстегнуть ей стеклянные пуговицы на спине. После чего, удалившись на кухню, я с великим облегчением стащил с себя черное одеяние, бабочку и манишку. Постучался, она сидела в халатике.

«Царский ужин».

Я обрадовался и поспешно возразил:

«Все-таки, знаешь, — это не настоящие блины».

Мы лежали рядом на тахте, она в своем халатике, в чулке, я в носках и брюках.

«Прежде всего, настоящие блины должны быть с ноздрями».

«С чем?»

«Ноздреватые. С дырочками; это первое. Второе, блины должны быть тоненькие, тонюсенькие. По краям оранжевая корочка. Но самое главное, настоящие русские блины...»

«Неправда, — сказала она строго, — все было очень вкусно. И вино замечательное. Пожалуй, я даже перебрала. Можете снять брюки, а то они сомнутся... Я знаю, что вы джентльмен и не воспользуетесь моей беспомощностью».

Опять!

«Дина, — взмолился я, — мы же договорились...»

Я верю в зловещую силу слов. Если бы мне удалось заставить ее перейти на «ты», наши трудности отпали бы сами собой. Проклятое «вы» было как бруствер, за которым она укрывалась. Как меч, лежавший между Тристаном и Изольдой.

«Самое главное, — мямлил я, — к блинам полагается... Блины, если хочешь знать, запивают не вином, а водкой. Причем ледяной!»

«Бр-р», — сказала она.

Нам в самом деле было холодно, мы лежали под одеялом, и я гладил ее натруженную протезом кожу. Круглый обрубок, все что осталось. Ампутация верхней трети бедра. В конце концов я был когда-то медицинским студентом. Но так же, как она не помнила детство, так и я не мог себе представить Дину ребенком, я гнал от себя прочь призрак искалеченной, лиловой с признаками гангрены, детской ноги, которая лежала в эмалированном ведре, где-то там, в южной славянской стране, в операционной комнате с выбитыми стеклами, среди воя сирен. Мне казалось, что и тогда Дина была чернобровой и девятнадцатилетней, была той, что смотрела на нас из овальной рамки.

«Незачем», — сказала она, когда я попробовал повернуться к ней лицом. Мне хотелось сказать ей нечто важное. Мне хотелось сказать, что в этом городе мы нашли друг друга. И что при всей разнице возраста, вкусов, происхождения мы были парой: в конце концов, если уж на то пошло, и я был в некотором роде инвалидом, духовным калекой. Я чувствовал, что этот вечер должен подвести черту в наших отношениях. Об этом я собирался ей сказать, по возможности спокойно и рассудительно, но лицо ее, губы, углы рта приняли знакомое мне холодно-отчужденное выражение. Я пробормотал:

«У тебя кто-то есть. Скажи прямо».

Никакого ответа, и все та же брезгливо-безразличная мина.

«Ты хочешь сказать, что я для тебя слишком стар».

«Эту тему мы уже обсуждали. Лучше взгляните, — добавила она, — сколько сейчас времени».

«Не все ли равно? Дина!»

Она молчала.

«Скажи мне. Почему ты упрямисься?»

«Прекратите! Я сейчас встану и уйду». Это было сказа-

но, когда моя ладонь, прокравшись под то, что еще было на ней, и опустилась на шелковистый холмик. «И наш замечательный вечер будет испорчен».

Она переложила в сторону мою руку, словно посторонний предмет.

«Дина, это жестоко. Тебе нравится меня мучать?»

«Никто вас мучать не собирается... Да, вот именно, — сказала она. — Вы стары и безобразны. Что вы вообразили? Вы, кажется, забыли о том, что я вам ничем не обязана. Знаете что: одевайтесь. Я устала».

«Дина, послушай. Мы должны решить... Тебе надо переселиться».

«Куда это?» — спросила она брезгливо.

«Ко мне, куда же еще».

«Мне и здесь хорошо».

«По крайней мере, не будем карабкаться на шестой этаж».

«Вас никто не заставляет!»

Мы лежали рядом, время было за полночь, событие уже произошло, ребенок родился. Ребенок лежал на соломе, и солдаты Ирода уже рыскали по окрестным селам. Диковинные пришельцы, чужестранцы на ломаном арамейском наречии спрашивали у встречных, как пройти к Вифлеему, и люди праздновали это событие, праздновали свое собственное детство, а мы, никому и ничему не принадлежавшие, — мы лежали и ссорились.

«Переселиться, — буркнула она. — Легко сказать. Это значит жить вместе».

«Да. Жить вместе. — Я добавил: — Это будет разумней во всех отношениях».

«Не перебивайте меня. Жить вместе — это значит, что вы на мне женитесь, а я выхожу за вас замуж. Или я слишком самонадеянна?»

«Дина, — сказал я с упреком. — Конечно. Конечно! Как только ты скажешь, мы идем в мэрию». Я снова повернулся к ней, она оттолкнула меня, сердясь и бормоча: «Ну, что это... перестаньте». Мы лежали рядом, моя ладонь покоилась на ее животе поверх халата.

«Но это необязательно».

«Что необязательно?»

«Необязательно идти в мэрию».

«Это от тебя зависит, Дина, как ты захочешь: хочешь, зарегистрируемся. Не хочешь, пожалуйста...»

«Главное — поселиться вместе, да?»

«Да».

«Вместе жить».

«Да. Вместе!»

«Будем последовательны, — сказала она. — Вместе жить — это значит спать в одной кровати. Или как вы это себе представляете?»

«Да».

«Вот так, как сейчас».

«Да... то есть нет».

«Вы хотите сказать, что...?»

«Ты находишь в этом что-то оскорбительное?»

«Не перебивайте меня. Конечно, ничего оскорбительного тут нет. Вы хотите, чтобы я стала вашей любовницей. Это невозможно».

«Почему?» — спросил я тупо.

«Потому что невозможно».

«Но все-таки».

«Потому что это значит, что каждую ночь мы будем вместе. И каждую ночь это должно будет происходить, или почти каждую... У вас, конечно, были женщины?»

«Дина, к чему этот разговор...»

«Пожалуйста. Прошу вас. Как это происходило?»

«Да никак».

«Но все-таки».

Я гладил ее живот. Я проник под халат. «У тебя слишком тугая резинка, это вредно...»

«Вы не ответили».

«Что ты хочешь узнать?»

«Как все происходило».

«Как... Обыкновенно».

«Ага. Значит, это для вас обыкновенное дело».

«Ты прекрасно знаешь, что нет».

Разговор иссяк. Мы лежали рядом.

«Сволочи».

«Что?» — спросила она.

«Это я так. Почему же все-таки мы не можем... вместе?»

«Почему, почему... Неужели я должна объяснять?»

«Что за чушь, Дина, ты нормальная здоровая женщина. У тебя будут дети».

«Вот этого, — она усмехнулась, — мне как раз и не хватало».

«Почему??»

«А разве не вы мне объясняли, — сказала она вкрадчиво, с нескрываемым злорадством, — что в этом гнусном мире для детей нет места, что дети нас не поблагодарят, что мы не имеем права производить потомство, потому что не знаем, что его ждет, разве это не ваши слова?»

«Дина...»

«Да, да. Лично нас это не касается».

«Да. Не касается».

«Это все общие рассуждения, а жизнь есть жизнь».

«Жизнь есть жизнь. Ты права».

«И вообще не об этом речь».

«Не об этом, — сказал я. — А о чем же тогда?»

«О вас. Вы сами не сможете. Вам только кажется, а на самом деле вы не сможете».

«Что не смогу?» — спросил я, сбитый с толку.

Она вздохнула, как учитель, которому приходится долбить одно и то же непонятливому ученику.

«Хорошо, будем говорить откровенно. Хотя меня просто поражает ваше скудоумие, — или вы притворяетесь? Пожалуйста, уберите руку. Уберите руку... Так вот: я не хочу, чтобы делали вид, что я нормальная женщина и все такое. Я не хочу, чтобы на мне женились из жалости, ясно?»

«Ясно», — сказал я.

Это была глупость. Она мне мстила. Мстила нам обоим — вот, собственно, и весь ответ. И надо было действительно быть выдающимся тупицей, чтобы этого не понимать. Лицо ее перекосилось, она с отвращением отшвырнула мои руки.

Может быть, я тоже слишком много выпил шампанско-

го. Все во мне вдруг как-то взорвалось. Стиснув кулаки, я пробормотал:

«Проклятые сволочи. Бляди!»

Я больше не мог сдержать себя, вскочив с постели, я метался по комнате, Дина испуганно воззрилась на меня.

«Что с вами, я вас обидела?»

«Что со мной?! — крикнул я по-русски, на языке, в котором она могла разве что уловить отдельные слова. — Что со мной... Ты на себя посмотри. Тебе девятнадцать лет! Проклятые гады! Что они с тобой сделали! Ты передачу видела? Митинг солидарности... Эти бандитские рожи. Борцы за независимость... Кому она нужна? Кому вообще все это нужно? Что они с тобой сделали, что они сделали с тысячами таких, как ты! И все это продолжается. И весь мир им аплодирует».

«Послушайте. Сядьте, пожалуйста. В чем дело? Если я...»

«Да причем тут ты», — буркнул я.

«Тогда в чем же дело? Почему вы разбушевались?»

Я кое-как объяснил: накануне телевидение транслировало митинг солидарности с борцами фронта национального освобождения. Того самого...

«Ну и что. Господи, какое нам дело!»

В самом деле, какое нам дело? Пусть перегрызут глотки друг другу.

«Извини, Дина, — сказал я. — Сегодня такой вечер, а я... Просто я вспомнил это сборище, представляешь себе, гигантская толпа сбежалась, чтобы выразить им свою любовь».

Она пожала плечами, я присел на край тахты, мы снова не знали, что сказать друг другу.

Мне показалось, что она чувствует себя виноватой.

«Знаете что, — промолвила она после некоторого молчания. — Я бы разрешила вам остаться, но... Мне не хочется вам объяснять, надеюсь, вы сами понимаете... Почитайте мне немножко. И расстанемся. Уже поздно».

«Мы так ничего и не решили», — сказал я упавшим голосом.

«Уже поздно... Почитайте».

«Что же тебе почитать?».

«Что хотите».

Обычный женский трюк: она чувствовала себя виноватой, и я почувствовал облегчение. Я молчал, она повтори- ла:

«Ну, пожалуйста».

«*Sous le pont Mirabeau, — глядя в темное окно, медленно начал я. — Sous le pont Mirabeau coule la Seine... Vienne la nuit, sonne l'heure...**»

Мы договорились, что утро вечера мудреней и завтра мы все спокойно обсудим. Она дала мне ключ на случай, если она еще будет спать. Я снова напялил фрак, повязал кашне, лицо Дины смутно виднелось за моей спиной, она помахала мне рукой из зеркала. Завтра уже наступило. Я возвращался к себе на Правый берег пешком, основательно продрог, дома долго пил чай и поглядывал из окошка на раскаленные вывески, гирлянды огней, шести- угольные звезды. Ребенок родился, три волхва никак не могли объясниться с местными жителями, но в конце концов все как-то уладилось.

Утро застало меня врасплох, в том удивительном состо- янии, когда сон неотличим от яви. Брызнуло солнце из-за крыш. Черноглубые тротуары блестели и дымились. Я был бодр и спокоен, чувствовал себя помолодевшим, я доехал до площади Согласия, оттуда было уже недалеко: я шагал в спокойной уверенности, что все решилось само собой. Наш ночной разговор выглядел сплошной нелепо- стью. В самом деле, почему мы так судорожно вели себя, когда все так просто. Когда-нибудь мы будем вспоминать об этой ночи, вспоминать наши пререкания, наш бесплод- ный спор. И все-таки он был необходим. Нас отравляли произнесенные слова, их надо было выговорить и осво- бодиться от них. Сказанные вслух, они потеряли свою злую власть. Появились первые пешеходы, мимо просе- менила старуха с батонами в кошелке. Боясь разбудить Дину и сгорая от нетерпения, я оттягивал свой визит, прохаживался перед подъездом. Наконец, взбежал на- верх.

* «Под мостом Мирабо течет Сена... Пусть ночь придет, пробьет час...»

Она меня не впустила. Что ж, это у нас бывает. Мне даже показалось, что это к лучшему: она все еще упрямылась, и это означало, что внутренне она сдалась. Я терпеливо звонил. Подождав еще немного, стал спускаться по лес- тнице, но вернулся и после некоторого колебания отомк- нул дверь ключом. «Дина?» — сказал я осторожно. Она не отзывалась, я вошел в комнату.

Тахта была аккуратно застелена, сверху лежал вынутый из рамки портрет барышни в белом платье, с полураскры- тым зонтиком. Черным косметическим карандашом наи- скось было написано:

«*Il n'y a plus de moi. Ne me cherchez pas**».

Благо каждого

В декабрьскую ночь я получил травму; случай нередкий в наших местах. Я работал на электростанции, что имело свои преимущества и свои недостатки.

Мне не надо было вставать до рассвета, наоборот, в это время я заканчивал смену и брел домой, предвку- шая сладкий сон в дневной тишине. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась усталыми и возбужденными людьми, я приступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку и запасался латаными мешковин- ными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой собиралось человек десять таких же, как я. Рабочий день в это время года у бригадников выходил короче, так как съем с работы по режимным соображе- ниям производился засветло, — у бесконвойных же, наоборот, длиннее.

Ворота ради нас не отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили, предъявив пропуска, через проходную. Кто шел на теплое дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. Моя работа была близко. По тропке в

* Меня больше нет. Не ищите меня (франц.).

снегу я шагал до угла, поворачивал на главную дорогу, и там, по левую руку, напротив поселка вольнонаемных, среди снежных холмов находилась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьем, стояли грубые козлы и высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звезд, дымя густым белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь в зоне горел свет — в бараках, на столбах, но это был ничтожный расход по сравнению с энергией, подаваемой на проволочные заграждения и наружное осветительное кольцо; все могло выйти из строя, но кольцо вокруг зоны не должно было погаснуть ни при какой погоде; если бы заблудившийся летчик пролетел случайно над нашими лесами, он увидел бы издали сияющий, словно иллюминация, венец огней и белые струи прожекторов, бьющие с вышек.

Придя на место, первым делом я расчищал рельсы, сгребал лиловый снег со штабелей, бил обухом по смерзшимся торцам, чтобы развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звезд, в белесом дыме, без усталости грохоча, шел вперед без флагов и огней опущенный снегом двускатный корабль. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубометров березовых дров. На столбе посреди площадки под черной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась моя тень, махающая колуном. Мне становилось жарко. Я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, я довез ее до сарая, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом гляцевый кочегар, почти висая голой грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, стояло два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругает-

ся. Сияющее кольцо вокруг зоны тускло, когда топку загружали сырыми дровами.

Я... (Или тот, кто был мною в те нескончаемые годы. В то густое и вязкое, как смола, время, в те дни и в те ночи, когда в смутных известиях, носившихся, как радиоволны, из одного таежного княжества в другое, в разговорах вполголоса на скрипучих нарах, в репликах на пути от зоны до оцепления, в лапидарном мате — крепла уверенность людей, объявленных несуществующими, в том, что они-то именно и существуют, что никого на воле уже не осталось и паспорта повсюду заменены формулярами, одежда — бушлатом и ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, и что никакого другого времени нет, и на самой Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, который вечно показывает один и тот же год.

Когда рассказывали, как старичок председатель Верховного совета, в очках и с бородкой клинышком, едва лишь услышит, что пришел состав, груженный просьбами о помиловании, едва только доложат ему, сейчас же канает на Курский вокзал, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов и — мелом на каждом вагоне, наискось: Отказать, — после чего состав катит назад; когда рассказывали, как маршал Берия каждый вечер входит в кабинет доложить, сколько кубов напилили по всем лагерям, и великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к стоячим счетам наподобие тех, которые стоят в первом классе на уроке арифметики, перебрасывает костяшки и говорит, прищурясь от дыма:

«Мало! Пушай сидят».

Когда рассказывали, клялись, что доподлинно знают, как один мужик забрался ночью в кабинет оперуполномоченного и спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто висящий над столом портрет ответил ему загадочной фразой:

«Благо всех вместе выше, чем благо каждого в отдельности».

Не расслышав как следует, любопытствующий повторил вопрос: правду ли болтают, будто на воле уже никого не осталось?

На что великий всезнающий портрет, блеснув очами леопарда, ухмыльнувшись одной половинкой усов, отвечал: «Ща как в рыло въеду, не выеду»).

...вышел из сарая, гнев дежурного надзирателя на вахте меня не касался. В конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, я поплелся к штабелю с елкой, выкатил несколько баланов, разрезал; дул ветер, лампочка раскачивалась на столбе под черной тарелкой, колыхался желтый круг света; как вдруг свет погас.

Электрическая пила замолкла в моих руках. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звездами небом. Но машина по-прежнему рокотала в сарае, из железной трубы летели искры, валил дым. Потухло лишь освещение на площадке. Я расставил вокруг себя полутораметровые плахи. Ель — не береза, литые березовые дрова на морозе звенят и разлетаются, как орех; а елка пружинит. Колун завяз в полене, я плохо видел, и колун, словно ждал, когда я наклонюсь, вырвался из полена. Я получил удар, какого никогда не получал, и полетел навзничь.

Любопытна этимология этого слова: вопреки предположению, которое напрашивается само собой, удар происходит не от слова дарить. Но, согласно авторитетным разъяснениям, со ссылками на Остромирово евангелие, где встречается инфинитив «ударити», его надо производить от глагола «деру»; сюда относится, например, такое выражение, как содрать кожу.

Тем не менее этот случай можно рассматривать как милость судьбы, подарившей мне жизнь; судьба в самом деле была милостива ко мне, наклонись я чуть ниже, я был бы убит. В темноте под погасшей лампочкой я сидел на снегу, выплевывал зубы, какие-то чудовищные теплые сопля свисали у меня изо рта и носа. То, что вы увидите, когда я сейчас повернусь, — не пугайтесь, — это результат.

Вообще же так называемый несчастный случай или увечье на производстве, как уже сказано, не редкость в наших краях; если я говорю о милостивой судьбе, то знаю, что говорю.

Следовало бы поразмыслить о том, что мы вообще называем случаем; вполне справедливо назвать всю нашу жизнь несчастным случаем. Не думаю, чтобы в эту ночь произошло нечто большее, чем то, что произошло, и не хочу утверждать, будто что-то во мне в одно мгновение изменилось. Я вообще ни о чем не думал, доплелся до своего барака и утром получил освобождение от работы на шесть дней. Перемены в нашей душе совершаются исподволь, а внешние обстоятельства — не более чем повод к тому, чтобы их осознать; надо только, чтобы судьба взяла вас за шиворот и разох как следует встряхнула.

Хочу заметить, что дело не в этих обстоятельствах, не в лагере, не в режиме и не в том, что мы имели несчастье родиться в этой стране. Все это, конечно, имеет значение. Но суть дела не в обстоятельствах, а в самом нашем существовании. В доверии к существованию. Мы приходим в мир с этим доверием, мы устроены так, что и простившись с младенчеством, все еще верим, что некто по-прежнему улыбается нам сверху. Ничего неестественного в эту ночь не случилось, разве что человека долбануло по башке. Но, оправившись кое-как (мне пришлось еще повалиться в больнице, то, что осталось от моего лица — заслуга лагерного врача), со сдвинутыми, но все же исправно работающими мозгами, в бабьем платке и ушанке, в рукавицах из мешковины, скрипя растоптанными рыжими валенками по снегу мимо тына и проволочных заграждений, мимо угловой вышки, мимо поселка вольнонаемных, опять туда же, куда же еще, к площадке, усыпанной опилками и корьем, я, наконец, допер, что от доверия ничего не осталось. Собственно, это мне и хотелось сказать.



Татьяна МУШАТ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Маленькие рассказы

Она в руках его лежала

И лишь ему принадлежала*... в чужой деревенской бане.

Так получилось, что до сорока лет она прожила за мамочкиными плечами любимым ребенком в семье и пропустила время, которое отведено женщине для безоглядного самопожертвования. Впрочем, природа не поспешила для женщины на жертвенное время.

К сорока она захотела ребенка и пошла даже на неудобства необходимых для этого встреч с мужчиной. Чужая баня стояла на задах огорода над обрывом, и заросшая тропка вела от ее скрипучих дверей прямо в небо. Если никуда не смотреть, а только в небо, то даже приятно.

Но небо не послало ей ребенка. Она решила взять

чужого. Она сделает его своим, сделает! Она даже не кочет знать, кто его родители... говорят, отец — пьяница, матери — четырнадцать... может, совсем и не проститутка... Она очень, очень постарается сделать его своим!

Где истина!

— А теперь, дети, каждый из вас, каждый, каждый из вас напишет про кого хочет из нашего класса. Откройте тетрадки, поставьте сегодняшнее число, подумайте немного и напишите имя того, про кого вы будете писать.

А дальше напишите, какой, по-вашему, этот человек — хороший или не очень хороший, или совсем плохой. И что же, по-вашему, в нем хорошего или что плохого. А еще напишите, что бы вы хотели с ним вместе делать — уроки готовить, или играть, или еще что-то. А может, вы совсем ничего не хотите с ним делать — тоже напишите. Если вы хотите написать про двоих или троих, пожалуйста, пишите. Вслух я читать ваши сочинения не буду, так что вы можете писать все, что хотите сказать об этом человеке.

Класс погрузился в работу. Психологи, разработавшие для школы подобные тесты, знали, что предлагали, — они предлагали поймать сразу многих зайцев: найти лидеров в классе, найти антилидеров, определить личные склонности, превалирующие склонности, может, и еще что-то по пути обнаружить.

Учительница спокойно ждала звонка — в классе было тихо, и ничего другого ей не оставалось делать. Дети писали друг на друга, увлеченные этим занятием на оценку.

Только одна девочка из всего класса не написала ничего. Учительница вызвала в школу маму. Замотанная своими бесконечными делами, взвинченная учительницей мама пошла разбираться со своим незадачливым Павликом Морозовым.

— Мама, ты мне сама говорила, что нельзя за глаза говорить плохое о человеке и ябедничать нельзя. Говорила, да?

* Когда-то так или почти так сказал Е.Евтушенко об Афродите.

— Ну а хорошее-то ты могла написать о ком-нибудь?
 — Да я хотела, но у меня не получилось...
 — Ни о ком? Слушай, а о себе бы ты могла сказать что-нибудь хорошее?
 — Ну, о себе-то и подавно не смогла бы... Да что у меня хорошего?!

Русским-то лучше быть

— Мама, учительница просила тебя написать, какой я национальности.

Я пошла в комнату и закрыла за собой дверь. Вот и подошел день, которого ждала и боялась. Сейчас, своими руками я должна положить на острые плечики своего ребенка груз, один рваный край которого тонет где-то в пыли истории, а другой упрямо всплывает перед каждым новым поколением.

Давно это было — в Сибирь семимильными шагами устремились пятилетки и привели с собой эту женщину, взяв из самой российской глубинки, из глубокого православия. Она осталась в доме как няня для шестимесячной девочки, т.е. для меня, заступив на ответственный пост подле ребенка вместо матери, которую эти самые пятилетки призвали на верную и вечную службу.

— Евреи-то народ непослушный. Вот Бог их и наказывает. Да и кровушка Господня на них.

Женщина покосилась в угол за печку, где висела маленькая-премаленькая иконка, про которую знали она да я.

— Поди, и я грешу, вот, живу у вас в доме — отец-то твой — еврей, да уж больно я люблю тебя, моя кралечка. Не дал мне Боженька своего-то ребеночка, только ты у меня и есть.

— А что папа-то злой был?

— Боже упаси — сама доброта. Мать всегда верховодила. Мать-то — русская.

— А злых евреев ты видела?

— Нет, не приходилось. Но Бог на них сердает.

— А как же мама вышла замуж за папу?

— Да кто ж тогда разбирался — где грех, где — нет. Одно слово — революция, — шепотом сказала она и опять покосилась, теперь на портрет вождя в рамочке на письменном столе.

— Так а я-то кто? Русская или нет?

— Русская, русская. Так и будем во всех бумагах всегда писать — русская. Чья же ты еще, моя красавица? Русская. Русским-то лучше быть.

Так какой национальности моя дочь, если ее мать — русская не по отцу и даже не по матери, а по любимой нянечке, а отец — чистокровный еврей?

— Мамочка, ну что ты тут так долго? Забыла, как пишется слово «еврейка»? — приоткрыв дверь, спросила дочь спокойным голосом.

Я написала на листочке для учительницы это слово и поставила свою подпись.

Судьба

Груз прожитых вместе лет сыграл с этой супружеской парой странную шутку и сделал их если и не друзьями, то очень близкими товарищами. Муж одно время хотел даже открыто приводить в их домашние компании свою женщину. Вот только непонятно зачем — чтобы подтвердить наличие своей мужской силы или чтобы отрицать свою супружескую неверность самым смелым фактом материального присутствия этой женщины в их доме? Или ничего не подтверждать и не отрицать, а просто открыто жить в такой многоячеечной семье, рассчитывая на предполагаемые женские качества — то ли порядочность, то ли покорность? Он даже время от времени давал жене недвусмысленные разрешения на любовные связи на стороне.

Давно уж все это началось... почти двадцать лет назад. А у жены все не хватало времени, а может и желания додумать любую из этих версий до конца. Она привыкла доверять его разуму больше, чем своему.

— Противная я, противная, вообще, гадкая. Он так много работает... болеет... Говорит, стакана воды ему не принесу, когда ляжет... Неужели не принесу?..

Его неожиданные разрешения на ее свободу она воспринимала не иначе, как проявление святости. Эти разрешения сковывали ее, и грехом казалась даже малая передышка. А он и в роли святого не скупился на все новые и новые подтверждения ее виновности в его болезнях и в их супружеских печалях. И постепенно она свыклась с тем, что он имеет право ее обвинять, как бы право невинно пострадавшего. Так и жила, стараясь получше сделать все, что от нее зависит, и не догадывалась и даже в редкие минуты взаимно скупой и настороженной близости не чувствовала, что его обвинения — это его защита, продуманная защита его непрощенно-прошенной любви к другой.

Она так устала и так не хотела ему зла, что если бы догадалась о его тайне, то, наверное, освободила бы его и себя. Но он хотел оставить все так, как есть.

Сын

Крадучись, она зашла в его комнату поглядеть на него спящего.

— Господи, спасибо тебе, что надумил родить его... и воспитать...

Молитва складывалась, как бы, сама по себе, не тревожа ни мать, ни сына.

— Какой он большой... красивый. Вылитый отец. И добрый... А отец... а отец нас и знать не хочет...

Ход мыслей вывел ее из молитвенного состояния. Она осторожно прикрыла за собой дверь.

Когда-то, давно уже, они встретились в деловой и веселой столице, — он там жил, она приехала в командировку. Любовь нахлынула нежданно, все жданные любви давно прошли. Он был свободен и несвободен одновременно — жена лежала в психбольнице, ребенок рос у бабушки.

«Я же не стерва какая-нибудь. Пусть ухаживает за женой, сколько надо. Я буду его ждать. Дома, со своими стариками».

Она ждала его долгие месяцы беременности. Его мифическое существование где-то за четыре тысячи километров давало ей силы выстоять в единоборстве с общественным мнением, с родительским несогласием, с неодобрением друзей. Только черная гладкая кошка, стекая со стула гибким телом, без усталости намывала гостей.

Родился мальчик. Отец не приехал. Умерла в больнице жена. Он не приехал.

— Да и то правда. Не может же он сразу приехать. Как будто мы ждали этой смерти, — объясняла она себе его отсутствие.

Прошел год, другой. Истайвали зимы, расцветивались весны, обсыпались ягодой лета, заворачивались в лиственную метель осени. Он не приезжал. И она поняла, что он не приедет.

Двадцатилетние

Говорят, что свадьбы творятся на небесах. Может и правда, они там творятся, и винить тут некого.

Они поженились. Ее любимые сумерки перестали быть любимыми, потому что за ними шла ночь. Его любовь влекла ее и отталкивала одновременно. Он вспыхивал и сгорал один, не умея разбудить ее чувственность, которая помогла бы переокрасить это извечное насилие во взаимную страсть. В ней клубился страх, жалость к себе, жалость к нему, брезгливость к животворящей влаге, извергающейся из него, желание сохранить себя прежней, стыд, жгучий стыд за свое собственное робкое желание близости.

Где же вы — бабушки, мамы? Скажите, что такое любовь? Может, вы тоже не знаете? Она, двадцатилетняя — это подарок кому-то или обуза даже для самой себя?

...Между ними поселилась злоба. Он ненавидел ее красоту, ее независимость. Он ненавидел любое ее про-

явление себя. А она делала это особенно подчеркнуто, потому что не знала, что делать. А он каялся и клялся любить ее сильнее прежнего.

Провинциалки

Почти каждую ночь она смотрела цветные сны. Странные формы, перетекая одна в другую, раскрашивались в удивительные цвета. Иногда появлялись и люди. Сначала девочка боялась, потом привыкла. Ей это как-то не мешало, но к семнадцати годам начались головные боли, и тут заволновалась мама. Она полагала, что дочь необходимо показать психоаналитику или психиатру со стажем и именем, а это значило, что надо ехать в Москву.

Старинное здание московской клиники, удобные кресла, мягкие ковры, обшитые теплым темным деревом стены, в коридорах разлиты покой, степенность и благоденствие. Полная дама в перстнях на холенных руках, тщательно скрывая свое любопытство и не так тщательно — столичное превосходство, провела маму с дочкой в кабинет.

Они впрорхнули туда в облаке французских духов и сибирских туманов. За громадным красивым письменным столом сидел красивый мужчина средних лет.

— Видишь цветные сны? А как это? Можешь рассказать? Нет? Ну вот, например, коробка сигарет. Посмотри на нее. Теперь закрой глаза. Скажи, что нарисовано на коробке в правом верхнем углу? А какого цвета? Инте-рес-но... А в левом? Цвет какой? Интерес-но...

Он поворачивался к маме, не покидая кресла, как бы сросшись с ним и со столом в некую внушительную единицу. Мама смеялась, растолковав его реакцию как хороший признак, — может, и правда, ничего страшного в дочкиных симптомах нет. Женский смех подействовал на доктора неожиданно, — он вдруг рискнул провестись такой же опыт на самом себе. Но как только закрыл глаза, ковбой с сигаретной коробки быстренько исчез в темноте, прихватив и мустанга.

— Ну, как мои женщины? — спросил у психиатра на следующий день мамин знакомый, которому пришлось задействовать всю сеть своих связей, чтобы устроить эту консультацию.

— Твои женщины весьма интересные особы... весьма... Только я, прости, не понял, которая из них моя пациентка? Или обе?

Дела судебные

Не надо было ей идти в торговлю. Нельзя было идти. Она любила стихи, сама их складывала немножко и пела неуверенным голоском под семиструнную гитару, любила танго Строка, еду из красивых тарелок и просто всякую еду, а больше всего, сгущенку из банок, что было уж совсем ни к чему, потому что очень полнела от этого.

Ей казалось, что она знает толк в сексе. Наверное, так и было, только непонятно, как она умудрилась реализовать этот самый толк на односпальной скрипучей металлической кровати, отгороженной от других двух, где спали младшая сестра и мать, небольшим обеденным столом?

Она окончила техникум и стала товароведом. Родилась дочка. Муж ушел к другой — то ли много любви ему оказалось здесь, то ли мало. Она, по-прежнему, обожала запредельную красивую жизнь, слабые отблески которой пятнали наш нищенский быт пятидесятых.

С тех пор минули десятилетия, но я и сейчас уверена, что в громком подсудном воровском деле, по которому она проходила как главный обвиняемый, она была невиновата. Другие, ее начальство, украли эти громадные деньги, сыграв на ее доверчивой простоте, и даже не поделились с ней, а она, только она, получила десять лет лагерного режима.

Десять лет лагерей без единой амнистии. Дочь на воле жила одна, как умела, — родила себе дочь в шестнадцать лет и умерла в восемнадцать от криминального аборта.

По окончании срока ей повезло — она получила разре-

шение на постоянное жительство в родном городе и ей как-то удалось оформить опеку над внучкой. Не зря она всегда верила, что есть добрые люди на свете, есть, есть добрые люди. Даже в женских лагерных бараках, где так просто потерять человеческий облик, она находила себе товарок, и на нарах ночами шепотом читала им Ахматову.

Памяти моих подруг

Дела семейные

Около года назад ее муж, ученый-исследователь, завел лист, куда вносит даты их семейных скандалов, инициатором которых является она — такова его исходная установка. А скандал рассматривается им как некий функционал со множеством параметров. Эти скандалы, как проколотые гнойники, опадают на внешне здоровое тело их семейного благополучия.

Итак, она — инициатор этого очередного ординарно-неординарного скандала. Теперь она сидит поодаль и отсыхает от вспышки взаимной злости. Начало в этот раз было необычным. Муж принес почту, в которой оказался авторский журнал с ее рассказами. Это — ее первая литературная публикация. Листы с текстом... слова... слова... уже совсем чужие... что-то отдаленно напоминающие... перекликающиеся с чем-то...

— Вот интересно, смотрю я на тебя и удивляюсь. Ну не умеешь ты радоваться. Что ты сидишь надувшись? Радоваться надо! Такие моменты в жизни — считанные!

— У меня какое-то странное состояние, но совсем неплохое, нет, просто, странное...

— Нет, радоваться ты не умеешь. Все портишь.

Здесь она и вправду нахохлилась. Может, он прав, и она не умеет радоваться? В девчонках-то радость была ее естественным. Но потом, в замужестве, как-то так часто получалось, что ее радость раздражала мужа — то причина была не та, то вообще, без причины. Редко бывала общая радость. Так что надо делать, когда радуешься?

Она быстро приготовила тушеную капусту к сосискам — классический ужин под водку и литературный журнал. Сели. Подняли тост.

— За счастливые моменты в жизни!

Рука произвольно споткнулась.

— В чем дело? — спросил он голосом, не сулившим ничего хорошего.

Черт дернул. Совсем не хотелось объясняться. Ну пусть, пусть не с ней у него эти моменты... хотя как же так случилось, что не с ней... а она-то с ним... или привычка... почему они вместе...

— Да ты просто испускаешь свою отрицательную энергию, и что бы я сейчас ни сказал, ты все равно была бы недовольна. Я устал от всего этого, от этого постоянного напряжения, от того, что я должен всегда всех организовывать и всем доказывать. Хватит! Ну куда ты убегаешь? Садись! Тебе будет стыдно потом, что ты так испортила свой день.

— Вот сейчас я тебя очень прошу — перестань кричать, перестань командовать, перестань доказывать себе свою правоту, помолчи и... давай выпьем за счастливые моменты нашей с тобой совместной жизни.

— Да... ты права. Ближе, чем мы друг другу, у нас никого нет.

Даже интересно, запишет муж этот скандал в свой лист или нет? И какой из параметров функционала сыграл на этот раз свою решающую роль при постоянстве условия — инициатор скандала — она?

Поезд идет по расписанию

Поезд нежно и долго укачивал меня, как когда-то укачивала бабушка, — усевшись поудобнее, она ставила меня между своими мягкими коленками и качала, тихонько подталкивая из стороны в сторону. Поезд шел в детство, а может, из него, по бескрайней России, а может, уже по Америке. Он плутал по беспредельным дорогам памяти, нанизывая жизнь на блестящие рельсы,

а может, наматывая ее никому невидимым слоем на тяжелые колеса.

Вот он пронесится мимо, заманчиво блестя окнами, а я сижу на откосе, поросшим буйными травами.

Вот мне семнадцать, и я иду по рельсам, держась за руку «своего» парня, а он держит меня так крепко, будто боится, что я могу оступиться и упасть не просто на пропитанные дерьмом шпалы, а в какое-то другое неведомое зло.

А вот уж поезд увозит меня от него, и он бежит по перрону, прощаясь, и так не простясь, вскакивает на подножку вагона.

И вот поезд... и вот поезд... а этот поезд из Алма-Аты, пропахшей краснощеким апортом и солнцем, — веселое отпускное время, когда денег хватает ровно на обратный билет и на одну палочку прощального шашлыка на всех.

А это поезд по Абхазии, поезд в праздник — всполохи солнечного моря за поворотом, кромешная тьма глухих тоннелей, дурманящий аромат краснодарских яблок на рубль — ведро.

И вот поезд... и вот поезд... а этот поезд через всю Сибирь до самого Байкала, будто привидевшегося в цветном сне. И вечные горы синеют по бокам пути, и лес стоит насмерть, как стоят герои.

А вот уж поезд наматывает на колеса мои годы в Америке. И то ли Сибирь за окном, то ли Абхазия, то ли Россия, — все там, за окном, смешалось так же, как и здесь во мне. То ли в прошлое еду, то ли из него? Наверное, успею к своей остановке, хоть и хотят здесь отменить поезд, — невыгодно.

Party

Party, по-американски, вечеринка, правда, в любое время дня. Так вот, сидим мы с хозяйкой дома на ее party, а вокруг гости сидят, разговаривают, ходят с тарелками, фужерами с вином, бумажными стаканами с безалкогольными напитками, банками с пивом. Party в разгаре, хозяйка — само

радушие, даже подумалось, что мы бы могли стать подругами, хотя потом мы ни разу за два года с ней не встретились. Ей очень понравилось мое кольцо. Меня приятно удивило совпадение вкусов — это свое любимое кольцо, сделанное в подарок художником, я привезла из Сибири.

— А что значит кольцо на этом пальце? — спросила она.

— На этом? Не знаю. Но я знаю анекдот. Рассказать?

Когда кольцо без камня на безымянном пальце, это значит, что женщина замужем. Когда кольцо с камнем на среднем пальце, то это ничего не значит. А когда кольца и на безымянном, и на среднем пальцах, то это значит, что женщина замужем, но это ничего не значит.

Она мило улыбнулась, и я увидела, что она не поняла. Я повторила. Тогда она спрашивает:

— Как это — ничего не значит?

— Это значит, что женщина свободна.

— Свободна? А что в это время делает муж?

Молодой человек, пригласите танцевать...

Этому восемнадцатилетнему не повезло.

В один прекрасный день родная страна перечеркнула в его сознании все, что внушала с такой маниакальной методичностью. И ничего не дала взамен.

Он никого не любил и ничего не желал.

Таким он появился здесь, в американском колледже. Одет он был в армейскую офицерскую советскую шинель до пят. Шинель эта, скорей всего, должна была играть роль Печоринско-Корчагинского штампа в постсоветском исполнении и должна была вызывать у иностранцев некие загадочные эмоции.

Но они были безразличны к истории чужой страны, если это не входило в их учебные планы. У них с миром установились другие отношения. Наиболее точным эквивалентом этих отношений оказались деньги. Хороший специалист — больше зарабатываешь, больше зарабатываешь — больше благ, больше благ — интересней живешь, интересней живешь — можешь позволить себе все, даже

частичное ничегонеделание или увлечение искусством, что близко к ничегонеделанию.

Сложно было русскому парню освоить эту логику. Он чувствовал себя обделенным. Ему хотелось начать с конца этой цепочки. До сих пор он жил за непонятно чей счет, никогда не предъявлявшийся ему лично.

Как в тайге, кричал из кассетника на полу состарившийся Цой, стояла бутылка, покрытая пластиковым стаканом, свернулась в углу калачиком под его шинелью русская девчонка... он сидел, погруженный в раздумья:

— ...учиться, учиться, как проклятому... потом вечно работать, как собака... эх, набить бы морду кому-нибудь... или девчонку трахнуть, чтоб заревела... или, может, с квартиры удрать и не заплатить? Эх, жизнь...

Ночной клуб «Чита» в Атланте

Она была совершенно голая, если не считать резиночки на правом бедре, под которую уже была затолкнута долларовая купюра. Такая миниатюрная, складненькая, голенькая двадцатилетняя девочка. Она стояла на столе и исполняла нечто вроде обрядового сексуального танца без музыки. Чья-то мужская рука потянулась и медленно, со значением, просунула еще одну купюру за резиночку. Приостановившись на момент, девочка опять начала двигаться, будто ее подзавели. Еще одна рука потянулась, и еще одна.

Вокруг в приглушенном свете двигались на столиках другие девочки, и другие мужчины, сидя и стоя вокруг, платили им за погляд.

Потом на подмостках началось общее шоу, напоминающее российскую женскую общую баню, но тут одна из девочек, стоя здесь же, на подмостках, надела трусики, которые до этого были у нее на запястье, как тряпочный браслет, и накидку, едва закрывавшую сосочки. Это был удар. Даже в тулупе она не показалась бы более одетой.

И, наконец, устроившись в ванне у самых выходных дверей, пара девочек изображала шаловливое мытье в клубах разноцветного шампуня.

Щелкнули двери, выпустив нас. Среди зрителей я оказалась единственной женщиной. Скорей всего, зрелище не было рассчитано на матерей. Хотя многие американцы, и не только мужчины, уверяют, что для девочек это хороший способ заработать и устроить дальнейшую жизнь по своему разумению. Можно потом и в университет пойти, при желании.

Где же врач!

Кап, кап, кап, — капает из капельницы.

— Перестанет капать — помру... Нет... пожалуй, помру, если не перестанет... Что они вливают в меня? И вообще, почему я здесь? Эх, это еще мои трудности с английским... Вроде бы, с сердцем что-то не в порядке... Доктор, у меня что-то с сердцем?

— Вы поступили к нам с диагнозом предынфаркт.

— Но у меня не болит сердце. У меня голова сейчас лопнет от этой капельницы.

— Меня это не интересует. Вы можете умирать от чего угодно, только не от инфаркта. От инфаркта я вам не дам умереть.

— Доктор, отцепите меня от капельницы. Я не выдержу.

— Постарайтесь выдержать. По стандарту, принятому в Америке, это лечение длится двое суток.

Пациент затих. На висках пульсировали синие узлы вен. Фиолетовые пятна под иглами на руках все росли и росли и уже доходили до предплечья.

— Ну хорошо, стандарт. А где врач? Где простой земский русский врач?

— Я полагаю, пациент бредит. Вы не находите, коллега?

Влоборота к жизни

Это так естественно — смеяться, когда смешно, и грустить, когда грустно. Это так естественно — жить, как тебе хочется, и если тебе не хочется, чтобы тобой

постоянно и явно руководили, — освободиться от этого.

Он стал эмигрантом. И только теперь понял, что все, что он знает, умеет и хочет, зашифровано в его родном языке и в его привычках. Его не понимали — и смешное было другим не смешно, и грустное — не печально.

На похоронах сотрудника он собирался всплакнуть, но к своему удивлению заметил, что вокруг не по похоронному оживленно — бегают дети, играя в догоняшки, за ними носятся собаки, а за всем этим благосклонно наблюдают взрослые, занятые будничными житейскими разговорами.

Однажды в гостях он начал есть арбуз, как привык это делать, — откусывая от большого ломтя и выплевывая на тарелку косточки.

— Вкусно, — сказал он стоящему рядом мужчине просто так, для общения.

— Правда? — вежливо-безразлично откликнулся тот и замолчал.

— Хотите попробовать?

— Спасибо, нет. Никогда не ел.

— Откуда же вы?

— Из Англии, — ответил тот, и теперь уже оба замолчали.

...похоже... Америка как раз и есть то место, где, пожалуй, можно сохранить свои привычки... хорошо бы... а то трудно — все равно, что слепому без поводыря...

Желание верить в возможность оставаться собой позволяло ему жить, почти не оглядываясь... иногда только... чуть... вполоборота, чтобы успеть разглядеть, как в этот момент поступают другие.

Страх

Мне всегда везло на бабушек. В счастливом детстве у меня было две родных и одна неродная, но самая задушевная. С матерью близкое общение началось уже после того, как поумирали бабушки, и семейные дела, соблюдая очередность, легли на плечи крайних по возрасту женщин, то есть на нас.

Потом и я стала матерью, и у меня опять оказалось две бабушки, за которыми теперь предстояло ухаживать, как бы расплачиваясь за беззаботное детство.

А за океаном меня поджидала, беспокойно поглядывая в окошко, старая чужая мать. Судьба подарила ей долгую жизнь, заботливого мужа, хорошего сына, но забыла подарить ей внуков и не сделала ее бабушкой. В своем собственном восприятии себя она так и осталась привлекательной молодой женщиной с красивыми ножками, заставляющими мужчин оглядываться вслед. В ее сердце смешались все страсти, а в голове — все мысли, но она точно знала, что к обеду надо одеть туфли, подходящие к платью, правда, платье при этом она иногда забывала одеть. Даже картины детства ушли из памяти, все, кроме одной, самой назойливой, — папочка сидит за пианино, а она с сестренкой Анечкой слушает его, затаив дыхание. Все, что было потом — война, революция, опять война, эмиграция — все провалилось куда-то, и лишь иногда отдельные реплики женщины говорили о том, что все, что с ней было, с ней и осталось — не в сознании, а где-то там, глубоко, где навсегда угнездился липкий, когда-то пережитый, страх.

— Чья это черная машина стоит здесь? — спрашивает она.

— Это моя машина, — отвечаю я.

— Вот мне давно говорили, что вы работаете в ЧК.

Но подкрался и ее срок, и задул живой огонек, затепленный далеко-далеко отсюда и вобравший в себя почти целый век:

— Что это такое — гавот? — спрашивает она.

— Это танец такой, — отвечаю я.

— Интересно знать, какая это организация его танцует?

Дом

Нижний венец у дома надо класть в замок. И хотя мы собирались строить свой дом сами и уже сами заложили фундамент, по неписаной традиции первый венец должен

клясть специалист. Два дня мы готовились к этому — засолили огурчики, нашпиговали чесночком сало, накопили свежей картошки. К вечеру второго дня пришел спец с товарищем, и уже через полчаса они были готовы класть что и где угодно. Хозяин предупредительно укрепил брусья в основании, вклинил их друг в друга, специалист со знанием дела постучал по ним молотком, ни разу не промахнувшись, и все сели на этот нижний венец, которому суждено было теперь держать дом сотню лет, а может, и больше.

Пахло деревом, дегтем, огурцами, водкой — пахло гостеприимным жилым домом, который, едва народившись, уже начал свою самостоятельную, устойчиво разнообразную жизнь. Не прошло и десяти лет, как он позволил хозяину уехать. И хозяин уехал.

— Нет, как они строят! Ты только посмотри, как они строят! Все досточки размерены, все размечено, складывают, как в детском конструкторе. И что самое удивительное — из досточек, а какая прочность! Хочешь, я сейчас подсчитаю, какая нагрузка на каждую досточку? Нет? А через месяц дом готов, представляешь? Мы свой в Сибири восемь лет строили и не достроили. И материал весь есть, и унижаться ни перед кем не надо. Хорошо!

Весь этот монолог он читал, переехав в Америку, перед каждым строящимся домом, а значит, довольно часто. Я молчала, он был прав — и досточки, и прочность, и унижаться не надо, но дом, который здесь строят, изначально лишен привычного для меня понятия жилого дома — его запахов, пожизненной привязанности, верной любви к нему, такому надежному, теплому, выстрадавшему, безалаберному и уютному.

А, впрочем, откуда мне знать какие здесь у будущих хозяев чувства к дому? Наверняка такие, которые позволяют им жить так, как они живут.

Make many!

Солнце припекает затылок. Запах нагретой клубники жарит голову. Зеленые ряды сочных кустов с красивыми

полосами спелой ягоды по бокам, желтые, крытые соломой тропинки между рядами кажутся рисунком усердного жизнерадостного ребенка.

Наплывом, как в кино, появляются из небытия и исчезают в нем же другие поляны и другие ягоды. Не иначе, как от сильного солнца. Но все возвращается к этой картинке, где ребенок ничего не забыл и не перепутал, и уж совсем неожиданно посадил в рисунок кукушку.

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить?

— Кукушка, кукушка, ну сколько лет мне жить?

Она надолго замолкает. Наверно, не привыкла к таким праздным вопросам, да и по-русски не понимает.

— Don't stop! Make many!

Это мой сосед по сбору ягоды говорит, обращаясь, по привычке, прежде всего к себе.

И правда, что ж я-то почти уснула? Так и не заработаешь ничего...

Пожалуйста...

Тихий зимний вечер успокаивал город. Падали редкие снежинки. Сугробы наряжались в голубое, прежде чем закутаться в темноту.

Молодая мама очень спешила. Маленький мальчик никак не мог поспеть за ней. Она страшно сердилась, хватала его за руку, ему было больно, он плакал, она сердилась еще больше, потом, на пределе своих маминых сил, она пообещала ему:

— Ну погоди, придем домой, отец тебе всыпет.

Но мальчик по-прежнему отставал, бежал и плакал, и все равно, отставал, неумолимо приближаясь к дому, где отец ему обязательно всыпет.

Я вспомнила эту картинку, когда на улице одного городка в Америке услышала, как другая мама спросила своего маленького мальчика:

— Ты не возражаешь, если я перенесу тебя через улицу? Здесь машины.

И дождалась ответа: «Well. Пожалуйста»...

Железный поезд

Поезд, постукивая на многочисленных стрелках, крался по задворкам жилья, продвигаясь все дальше и дальше, вдоль заброшенных мусорных куч и свалок, вдоль глухих стен складских помещений, исписанных красочно и витиевато одним и тем же многозначным словом fuck, fuck, fuck, заменившим на этот раз все русское матерное многословие.

И вдруг... ах, какая красивая нагая американка загорает на изумрудной майской траве в заднем дворике своего дома! Когда-то, чуть ли не в полуголом послевоенном российском детстве, из окон такого же крадущегося поезда я впервые увидела, как занимаются любовью мужчина и женщина на обочине свежевскопанного поля, ждущего семян.

Кому готовит себя эта девушка? Чего хочет? Любви, конечно, любви. Только любовь правит миром. И поезд, влекомый ею, тащится мимо исписанных матом стен, все ми-мо, ми-мо, ми-мо, к какой-то другой любви, которая, наверное, вольет силы в его слабеющее железное тело, может быть, скоро, на следующей станции, ну, может быть, еще через одну.

Багамские острова

Тугой ветер гонял голубые волны в Голубом заливе одного из вечно зеленых Багамских островов. Нежные сосны и тяжелые пальмы лениво качали свои тени по раскаленному белому коралловому пляжу. Стоял февраль.

Взволнованная переживанием немолодая француженка в изящном купальном костюме за пару сотен долларов никак не могла найти себе место на лежаке. Наконец она угомонилась и стала внимательно и сердито наблюдать за картинно и томно целующейся парой, стоящей по пояс в воде. Вскоре к женщине ненадолго прибежала дочка, по нашим понятиям годная во внучки, потом появился муж. Они сразу начали бурно выяснять отношения —

говорила она, быстро и выразительно, а он молча и со все возрастающим интересом слушал. Наверное, это было яркое описание его очередного поступка, который теперь, при новом освещении, казался ему намного занимательнее.

Недалеко от них разместилась семья испанцев — красивая мама, обыкновенный немолодой папа и пять сыновей примерно от шестнадцати до шести. Папа очень хотел маму — это угадывалось по всему, но строгая мама не могла допустить ничего подобного под любопытными взглядами сыновей. Мимо прошла обвешанная всевозможными коралловыми ожерельями торговка. Мама купила одно, потом помедлила, посмотрела на папу и купила еще два.

А вот очень сложная семья из нескольких поколений: молодые — он и беременная она, очень миловидная и живая, ее моложавые папа и мама, его хромой, тучный отец и пожилая мачеха. Они пришли на пляж все вместе и расположились ярусами, представляя собой иерархию родства и неприязни. Единственной фигурой, связующей их общность, был молодой муж. Он то прогуливал своего отца, то шуточно вызывал его ревность, обнимаясь с мачехой, горделиво вздернувшей седую трясущуюся голову, то шел к своей беременной девочке-жене, пытаясь при этом неназойливо прервать ее оживленный разговор с его тещей.

Гоняет, гоняет тяжелые волны ленивый океан. И падает в воду никому невиданный колючий снег ее, вроде бы, давно прошедшего российского отъездного февраля.

— Тебе всегда не нравится все, что я делал и делаю. Зачем ты, вообще, прилепилась ко мне? Какого черта?

— Я? Прилепилась? Да я... Да ты... Мешаю, значит...

Бестолково метет ночную улицу февральская поземка. Экскаватор на пустыре грызет промерзшую землю — в городе строят метро. Над кучей вынудой земли скрипят фонари. Надо подкрасться и лечь, а он опрокинет ковшик, потом еще один и еще. Потом уж все равно, сколько. Ей все равно.

Метет, метет ночную улицу февральская метель, ссылая снег в глубокий океан.



Наум БАСОВСКИЙ

СВОБОДНЫЙ СТИХ

ПОЭМА

Я никогда не достигал в реальности
того, что было в глубине меня.

Марсель ПРУСТ

Интродукция

Секретно. Находящийся под секретным надзором чиновник 10 класса Александр Пушкин сего месяца 13 числа прибыл из С.-Петербурга и остановился Пречистенской части I квартала в доме г.г. Ильинских. Предписанный за ним надзор учрежден.

Полицейстер Миллер, в рапорте исправляющему должность московского обер-полицейстера, 23 декабря 1831 г.

1.

Во мне поют года, во мне века трубят,
и жалко, если вдруг прервутся эти звуки.
...Из кованых ворот — направо, на Арбат:
каков он после мглы двухвековой разлуки?

Конечно, узнаю, но узнаю с трудом —
квартал как будто явь, квартал как будто снится.
У ближнего угла — тяжелый серый дом;
он раньше не стоял, он — чистая страница.

Квартал как будто явь, квартал как будто транс, —
попробуйте, портрет со сновиденьем сверьте.
Смешение времен, смешение пространств —
неужто это все расплата за бессмертье?

Неведомо когда, незнамо где стою,
пролетку предпочтя метро или трамваю,
и, как века назад, читаю жизнь свою,
и, как века вперед, ни строчки не смываю.

Читаю жизнь свою, как прежде, слезы лья;
печальные следы почти на всех страницах.
И только не пойму, всегда один ли я, —
кощунственно звучит: один во многих лицах.

2.

Ужель кощунственна тоска высокая?
Ее рыдания подобны альту,
и клавишно так лошадка цокает
то по булыжнику, то по асфальту.

В пролетке медленной я ноги вытяну —
все ощущения не в масть вагонным, —
Арбат качается, и дремлет, видимо,
возница старенький под балахоном.

Куда я двигаюсь, гуляка ветренный,
когда под росами одежда мокнет,
и ночь не помнится в часы рассветные,
и только музыка во мне не молкнет?

Лошадка цокает, пролетка катится, —
к альту с ударными кларнет с гобоем, —
и мне, беспутному, внезапно кажется,
что эта музыка нужна обоим:

не мне и кучеру, что, спя, сутулится,
ничем особенно не удрученный,
а мне и третьему, на сломе улицы
спокойно вставшему в одежде черной.

Рукою сильною лошадка встречена,
стоит соловая и не заскачет,
и властна стать его, и властна речь его:
— Маэстро, реквием! А я — заказчик.

Хотел ответить бы, храня достоинство,
но вздох сбивается, как после бега,
а рядом факелы в шеренгу строятся,
а за шеренгою ползет телега,

и прорезается чутье звериное:
телега с трупами ползет чумными, —
тут альт с литаврами и окаринами,
и негр хохочущий с кнутом над ними!..

3.

А у Никитских у ворот окошко в пологна.
Там ждет она — там Анна ждет, там Анна ждет меня.
Судьба, в свидетели хоть снег, хоть дождик призови, —
там Анна ждет меня для нег, для прихотей любви.

Я обещал вечер ей быть; обманывать к чему ж?
Теперь не знаю — может быть, уже вернулся муж.
У мужа служба по ночам, потом он спит полдня,
но беспричинная печаль в ночь угнала меня.

И вот уже глядит рассвет в унылые дома,
и все меня у Анны нет, а в городе чума.
Она — к окошку вместо нег, под бледный небосвод, —
там ухмыляющийся негр ее к себе зовет!

Она отпрянет в коридор — а тут и я вхожу;
она промолвит: — Командор, ума не приложу...
Где был ты? Не сомкнула глаз, и голова в огне,
а тут еще какой-то пляс и факелы в окне...

— Ах, Анна, мир сошел с ума, наш несуразный мир:
подумать — в городе чума, а тут пируют пир!
К тебе спешил, почти бежал, в бегу терял покой —
и словно сам себя держал я каменной рукой.

— О Командор, сомненья прочь! Гуан — мой друг большой,
но жду тебя в любую ночь и телом, и душой!
— Гуан и я — мы суть одна, как, скажем, фронт и тыл,
но ты законная жена ему, и он — постыл.

Приходит ночь, а с нею тишь, а с ней холодный пот:
не важно, кто я, — важно лишь, кому я антипод.
Ах, Анна, эту тяжесть взвесь! Сомнения горьки,
и вот я каменею весь от собственной руки!..

4.

Под ребрами сердце теснится,
и слышен придавленный стон...
Как тяжело пожатье десницы,
когда вместо плоти — бетон!
При мысли о каменном плене, когда уже пальцы свело,
постыдно слабеют колени, постыдно бледнеет чело.

И вдруг, как на старом экране,
 так явственно вижу опять:
 герой уже загнан и ранен, ему предстоит умирать —
 ему автоматная зависть свинцово сказала: пора! —
 и вот он ползет, задыхаясь,
 в кладбищенский угол двора.
 Мучительно длинная сцена, уже невозможно длинней;
 показаны так постепенно все фазы агонии в ней,
 что плачешь, в конвульсиях бьешься,
 и сам умираешь порой,
 и чудом в живых остаешься, когда погибает герой.
 В живых? Но глазам все теснее,
 бетонная тяжесть на мне...
 Ведь это же я каменею! Ведь это же я ка-ме-не...
 Уже не разлепишь ресницы, и слово выходит, сипя.
 Не тяжко пожатье десницы — немислима тяжесть себя.
 ...Затылок от ужаса потен. Кларнет и гобой вдалеке.
 И альт еле слышен. И полдень. И Анны плечо — на руке.

5.

Что у этих дверей, что у тех,
 если вас провожает хозяйка,
 после жара любовных утех
 одинаково зябко.

Ну, а нынче — особый резон:
 летним утром гасилась лампада,
 а короткий окончился сон
 в тишине листопада.

Колокольчик сказал «не забудь!»
 у китайской бамбуковой шторы.
 И куда выбираю я путь?
 На Ваганьково, что ли?

Впечатления этого дня
 как бы стержня незыбкого ищут.

Вот и реквием гонит меня
 за ограду кладбища.

И опять назначенье пути
 принимаю, ничуть не колеблясь,
 и как раз успеваю войти
 в подошедший троллейбус.

Под шуршание толстых колес,
 из немого рождаясь вопроса,
 мягким звуком отплаканных слез
 зазвучит *Lacrimosa*.

И в сумятице смены погод
 (тут и эти тяжелые чары)
 контрабас, клавесин и фагот
 разыграют начало.

Это больно, как сильный ожог,
 это горько, как вечная плаха,
 и расскажет английский рожок
 о восставших из праха.

И тогда уже хор и орган
 этой теме дадут воплощенье
 и положат к Господним ногам
 их мольбу о прощенье...

6.

С Богом лишь наедине, от людей в секрете
 музыка звучит во мне день, другой и третий.
 А потом, конечно, спад вперемешку с ленью —
 сам в себя вливаю яд своего сомненья.

Все не то и все не так — и напев бездарен,
 и бессмыслен пятый такт в коде *Recordare*,
 и четвертый нехорош, и второй уродлив,
 и бежит по телу дрожь беспричинно вроде...

Но в беззвучье по ночам так понятна смута —
это к росту и плечам

зависть лилипута.

Если музыка в судьбе — главное начало,
я завидую себе, в ком она звучала.

А теперь хоть волком вой, хоть пускайся в барство,
хоть об стенку головой — не звучит, и баста!

И придется яд испить и принять как данность,
что совместны могут быть гений и бездарность...

7.

Я возвращусь под косеньким дождем,
чтоб услышать прошение многоустое:
— Почтенный председатель, мы вас ждем,
и ждут бокалы вашего напутствия!

И я как есть — кладбищенский, сырой,
в одежде черной и ботинках глинистых,
тост подыму, а следом и второй,
за то, что в силах и не в силах вынести:

— Почтенное собрание! Я пью
за волю без оглядки и без робости, —
тогда и упоение в бою,
и подлинный восторг у края пропасти.

Но тост второй я подымаю свой,
исполненный не общего значения:
я пью за жизнь с поклонной головой,
когда от своего предназначения

не может человек отринуть взгляд,
и даже в дни отчаянья отпетого,
когда чума сметает все подряд,
он это видит — и не видит этого.

Мы собрались, весельем смерть поправ,
с надеждой на запас вина нетающий.
Но кто не здесь — возможно, тоже прав,
для поприща себя сберечь мечтающий.

Вы взяли в председатели меня,
за лад в словах считая как бы лекарем.
Но лад в душе,
возможностью дразня,
берет за пальцы — и уводит в реквием.

8.

К органной растревоженной трубе
меня уводит кто-то сильный, хищный...
О Господи, что может быть трагичней,
чем реквием, что пишешь по себе!

Пришла пора за пультом день-деньской
мне покрывать графленные страницы
и превращать свои глаза в глазницы
своей же торопливою рукой.

Но если честно — разве я не раз
не размышлял о часе неизбежном?
не понимал, что суетным и грешным
предстану перед Богом в этот час?

Так что ж теперь я сам себе не мил
из-за того, что в эти дни чумные
из всех, кто знает толк в полифонии,
на мне Всевышний перст остановил?

За все на свете плата быть должна —
за ум, за страсть и за бессмертье тоже;
и то, что сам судьбу свою итожу,
и есть за жизнь грядущую цена.

Но жизнь не ту, в которой трудный быт,
и легкий хохот, и блаженства рая,
а ту, в которой реквием играют,
и только потому я не забыт.

Ну, а пока, покой и сон гоня,
сижу за пультом; окончанье скоро.
А вам задача — поиск дирижера:
разучивать с оркестром без меня.

9.

В сером доме все это играет
как свиданье, пьянка и беседа.
Раз в неделю пьеса повторяется
с точностью, как видеокассета.
Подсказать? Но неохота ссориться,
быть пред ними не гулякой праздным;
да еще потом заест бессонница,
что людей обидел понапрасну.
Нет мне права от людей ремесленных
требовать глубин проникновенья:
это путь от накоплений медленных
до внезапной вспышки вдохновенья.
Вспышка — а потом землетрясение
или извержение вулкана!..
А потом опять дожди осенние,
ночью завывание Полкана,
у окошка мокрый куст смородины,
на дороге глина по колено...
Горькая, замызганная родина,
горе и любовь одновременно!
Вот и остановишься в бессилии,
в малости отпущенного срока
перед этой, истинной Россиею,
высказанной честно и жестоко,
заглядишься на пространства голые,
на долготерпение людское...

Остается жечь сердца глаголами
с неизбежной после них тоскою,
остается корчиться от бешенства,
понимая, что уж скоро, скоро...
Перед ликом этой неизбежности
многого ли стоят разговоры?
В реквием вмещаю то, что пережил,
словно в крышку забиваю гвозди,
и опять остановлюсь — теперь уже
на глухом заброшенном погосте.

10.

В ожидании плача навзрыд,
словно струны, застывшие нервы,
и на серый могильный гранит
смотрит серое-серое небо.

Неужели бывало, что синь
освещала семью примогильных
серых вязов и серых осин
и акаций, под дождиком пыльных?

В это трудно поверить сейчас,
когда ветер поет похоронный
и в глаза упирается глаз
темносерой тяжелой вороны.

Если б только вороний один
глаз горел желтизной неземною —
но за каждой из серых осин
два зрачка наблюдают за мною.

Их везде ощущал я спиной —
на Арбате, и дома у Анны,
и в застолье пирушки чумной,
где сдвигались хмельные стаканы.

Мышья, гнусная их беготня
 все сжимала кольцо роковое,
 и теперь обложили меня:
 на погосте, мол, сдамся без боя.

Боже, что за кретинская рать
 и зачем она топчет могилы —
 нешто могут меня напугать
 их клыки, их копыта и рыла?!

Торжествуя, пустились бегом:
 им нельзя допустить проволочку.
 Ах, душа, поселяйся в другом —
 им оставим одну оболочку!..

11. Из РЕКВИЕМА: RECORDARE

Вспомни, благостный Боже, что ради меня
 Ты взошел на Голгофу, молчанье храня,
 дабы мне быть спасенным от ада.
 Ты, который меня вопрошает сейчас,
 сам в тоске и в унынье бывал, и не раз, —
 вспомни ночь Гефсиманского сада!

Знаю, праведно мщенье, но слаб человек;
 за увечных душой, за телесных калек —
 за людей Ты молился в пустыне.
 Крестной мукой своей Ты страдал за меня —
 потому до пришествия Судного Дня
 прегрешенья мои отпусти мне.

Я, виновный, в тоске ожидаю Суда,
 и лицо заливают мне краска стыда —
 для того многократна причина.
 И молю покаянно и еле дыша,
 чтобы грешная, да, но живая душа
 в адском пламени дни не влачила.

12.

Как будто вонзили иглу
 мне в сердце,
 и дышится тяжело,
 смиренно стою на углу
 Арбата и Сивцева Вражка.

А время течет, как вода,
 мешая асфальт и булыжник,
 и в нем проплывают года —
 фрагменты то дальних, то ближних.

И в этих осколках времен,
 в поток погруженных великий,
 доподлинно я отражен,
 единственный и многоликий.

Не дружество и не родство,
 не сходство и не притяженье, —
 мое таково существо,
 и это его постиженье.

И лишь дополнительный штрих
 к такому портрету в осколках:
 в течение странствий своих
 я смог воплотиться во скольких?

Мой Бог, воплощенье — игра!
 А я-то — о жизни, а я-то...
 Вонзенная в сердце игла —
 за каждый осколок расплата.

Укол — и меняется мир
 божественно или безбожно,
 и тянется век или миг,
 и в нем разделить невозможно

и счастье, и ужас, и боль,
и красок и нот польханье,
и веру, и стыд, и любовь,
и точку — в обрыве дыханья...

Финал

Секретно. Чиновник 10 кл. Александр Пушкин 24 числа сего месяца выехал отсюда в С.-Петербург; во время жительства его в Пречистенской части ничего за ним законопротивного не замечено.

*Полицмейстер Миллер в рапорте и.д.
московского обер-полицмейстера,
26 декабря 1831 г.*

5—30 июня 1991 г.



Элеонора ИОФФЕ-КЕМППАЙНЕН

ЗАВЕРНУВШИ ЗА СОРОК

Декабрь пестрит фламандской желтизной
и ржавчиной на искренности снега.
Заслышав сосен шум,
голубкой из ковчега
душа вот-вот взлетит над целиной
озерной — конькобежной и блестящей
ликуя, забывая про грехи
осенние
и радость дней таких —
предвосхищенье жизни настоящей,
которой наименования нет,
лишь отблеск —
в сосняке сквозящий свет
и отзвук —
как орган в стволах гудящий.

Декабрь 1993, Лохья

Деньрожденное брату

Вот уже сорока сороков
купола замелькали и башни.
Переполнено снегом вчерашним,
как река из крутых берегов,
бытие выкипает без проку,
и уже не кукушка — сорока
нам сочтет и года, и срока.
Ни отсрочки нам, ни передышки —
половодьем уносит, братишка,
после наших с лишком сорока.

Мы мудры, завернувши за сорок —
понимаем, кто друг, а кто враг,
мы себе — палачи и врачи;
прожитое — пятнистый бульдожка —
мертвой хваткой вцепился в лодыжку,
мясо рвет и свирепо рычит.

Но скорее — до детства добраться!
Я держу годовалого братца —
сорок с гаком — невысказанный срок...
Прилетай же, ворона-сорока,
Нагадай нам сто лет без порока —
сотни красок и звуков, и строк!

26 апреля 1996

Элегия 1-я

(по прочтении И.А. Крылова)

Сквозь зелень прежнее как будто солнце,
но шум дерев стал жестким, жестяным
и листья зашустрили по земле —
зверюшки юркие, и зеленеет небо,
и луг молчит, сухой и отчужденный...

Цикада ж о любви своей трендит,
не чужа перемены.
Ах, подруга!

29 сентября 1996

Элегия 2

...И настали осенние ночи, и хляби, и тьма.
Не познавши вовек ни уюта, ни благополучья,
освещенный, теплом освященный ковчег я покину сама,
на плече ощущая десницу судьбы неминуемой.

И пока не вернется голубка — спасительный стих,
буду зябнуть и ждать, и чураться, и жаждать участия,
и завидовать вам, крутобокие нимфы пивных —
разливальщицы незапрещенного пенного счастья.

29 сентября 96 г

Заговор

Где любовь твоя сейчас,
где кочует?
У чьего бела плеча
спит — ночует?

С кем любовь твоя теперь
озорует?
У кого — обманом в дверь —
жен ворует?

Ворожить-гадать начну,
наколдую —
на тебя да на жену
молодую,

нашепчу я, насмею
да наплачу —

ни прибýtка вам в семью,
ни удачи.

Прости, Господи, мне злость
мою — смелость:
чтобы вам — ох! — не жилось
да не пелось!

Январь 1979

Альгамбра под дождем

Океан у берегов иберийских
взбивает грязную пену.
Дождь в Малаге, в Гранаде — ветер,
что несется со Сьерра — Невады,
спешит захватить Альгамбру,
в стенах крепостных блуждает,
в башнях ее, воротах,
в садах, во дворцовых галереях,
в мозаичных залах бесценных,
в орнаментах, завитушках.
Где в белых одеждах мавры
близ фонтана с хитрым водостоком
за кальяном вели беседы, —
теперь бродят черные кошки,
туристы на них дивятся.
Где халифа нежные жены
в гарема двориках тенистых
среди роз цвели-увядали, —
теперь пахнет кошачьей мочою,
дождем, вековой печалью.
А когда покидали Альгамбру —
то было всего печальной —
автобусом сбита собака
у дороги в луже умирала:
уж глаза у нее остекленели,
а ноги все жили-бежали.
Целый день она мне вспоминалась,

за каждым поворотом блазnilась.
А вечером вышла я на берег —
увидела снова ту собаку:
свой бег она в небе продолжала
взапуски с другими облаками.

23 апреля 96 г

Моей дочери

Ты поверь, наконец — не бывает чудес,
не бывает.
Но, исторгнут из сонных глубин
предрассветным толчком,
ты прислушайся: это любовь, как вода,
убывает,
убивает себя, ускользает,
корабликом вдаль уплывает,
это плачет душа, как ребенок,
упавши ничком.

Ты пойми — не излечит никто от тоски,
не поможет.
Просыпаясь от плача во мраке
и лежа бок о бок с бедой,
Изживая печали и боль усмиряя,
научишься, может,
запивать неудачи
забвения пресной водой.

Ты не жди — не придут, не придут
чародеи и маги.
Те волхвы, что дары приносили,
— давно уж мертвы
Но дары — при тебе. Так утешься —
купи себе белой бумаги
И стихи напиши о весне —
воскрешеньи души и травы.

Май 1994 г



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

РОССИЯНЕ О СВОЕМ БУДУЩЕМ

Поразительный раскол мнений выявился среди жителей страны, отвечающих на вопросы о ее завтрашнем дне.

Останется ли Россия великой державой!

Россия будущего — достаточно широкое понятие. Тем более когда речь идет не о научной прогностике, а об опросах населения. Не думаю, что можно подойти к этой теме — столь же сложной, сколь и острой, если четко не определить предмет разговора.

Вот и начнем с группы вопросов, с которыми в той или иной форме социологи обратились к своим респондентам. Прежде всего как русские осознают себя в качестве нации? То есть является ли, согласно их мнению, Россия страной со своей уникальной судьбой или это «нормальное государство», которое развивается по тем же законам, что и другие страны? Можно ли считать Россию

исключительно европейским государством или ей предстоит принять двойное наследие — европейской и азиатской культур? О прошлом страны: должны ли россияне относиться к советскому периоду как к чему-то постыдному или, напротив, им следует гордиться многочисленными достижениями Советского Союза? Затем о будущем: останется ли территория России столь же обширной, сколь и сегодня, и каковы будут отношения Москвы с регионами, в особенности, столь отдаленными, как Дальневосточный? И уже откровенно болевой пункт: сохранит ли Россия суверенные права на свои отдаленные территории? Известно, что в стране нет недостатка в политических декларациях и слухах о создании независимого Урала и Дальнего Востока. Реален ли этот прогноз? Следует ли эти разговоры принять за чистую монету? Или это просто давление местных лидеров на Центр с целью получить деньги или добиться уступок? И снова о будущем: сохранится ли Россия как Федерация и удастся ли ей перепрыгнуть через пропасть конфликтов с нерусскими этническими группами, учитывая предостерегающий сигнал чеченских событий?

Но главным в этой цепочке является вопрос о величии России и ее статусе в современном мире. Иначе говоря, останется ли Россия великой, как это было в прошлом, или она должна умерить свои амбиции и начать считать себя равной по статусу некоторым европейским странам или даже странам Латинской Америки? Вопрос о «величии» государства имеет огромное практическое значение для российских граждан. Из этого будут проистекать стандарты жизни, которые они установят для себя, а также характер внутренней и внешней политики, которую будет проводить страна.

Демократы. Чечня. Цусима

Поражение в Чечне имеет столь серьезное значение, что реакция на него различных слоев общества может служить своеобразным индикатором политических настроений. Пользуясь им, можно выделить три группы

политиков (и вместе с ними представителей интеллектуальной элиты), различающиеся по взглядам на Россию как государство. Эти группы — либералы, умеренные националисты и радикальные националисты. Они не разделены китайской стеной и фактически оказывают заметное влияние друг на друга. В частности, либералы за последние два года существенно сблизилась с умеренными националистами.

Сегодня либеральный лагерь выступает значительно менее энергично в защиту своих взглядов, чем это было в 1991—1994 годах, когда наблюдался пик его активности.

Идеологами либералов можно считать, например, Егора Гайдара, Сергея Юшенкова, Галину Старовойтову. У них много сторонников среди представителей российской интеллигенции, а также и в других слоях населения.

Однако либеральные взгляды на Россию имеют значение не только потому, что они поддерживаются демократическими партиями. Куда важнее то, что они отражают позиции тех экономических и политических кругов, чьи богатство и власть основаны на отношениях с Западом.

В 1996 году либералы и близкие им круги отреагировали на поражение в Чечне так же, как 90 лет назад русские либералы и прочие противники царского режима — на поражение России в русско-японской войне 1904—1905 гг. В обоих случаях военное поражение было воспринято как свидетельство банкротства безмерно раздутой и недееспособной политической и военной государственной машины.

Эмоционально либералы во время чеченской войны были на стороне чеченцев, а не федеральных войск. Они восторженно приняли известие о заключении мира в Грозном и согласились с требованиями чеченской стороны о независимом статусе этой республики.

К негодованию командиров федеральных войск в Чечне, либералы видели в таких людях, как Шамиль Басаев и Салман Радиев, не террористов, а героев войны за национальную независимость.

Ядро «умеренных» националистов составляют в основном политики, находящиеся у власти, к которым примыкают центристские политические партии. Наиболее яркой фигурой, выступающей против чеченского конфликта, является Александр Лебедь.

Для умеренных националистов поражение в Чечне стало горькой пилюлей. Владимир Лукин, бывший посол России в Соединенных Штатах, по своим взглядам — типичный представитель умеренных, сравнивал провал чеченской кампании с поражением при Цусиме.

Отвечая на критику через день после подписания договора в Чечне, Владимир Лукин (член команды Лебеда в Чечне) сказал: одно дело — подписать капитуляцию Германии в 1945 году и совсем другое — подписать капитуляцию после Цусимского сражения, имея в виду, что поражение в битве при Цусиме — это символ величайшего национального унижения России.

«Умеренные» не меньше радикалов обвиняли либеральные средства массовой информации в пораженческих настроениях и даже возлагали на них частичную ответственность за военную и политическую катастрофу.

По мнению «умеренных», в Чечне российские войска и их командование потерпели поражение (и в этом они согласны с либералами) по вине прежде всего правительства России, которое плясало под дудку определенных политических и экономических кругов, заинтересованных в затягивании войны.

«Предатели» России

Ядро радикальных националистов составляет большинство российских коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым. Сюда же входят различные националистические группы партии и группы, к примеру, либеральные демократы, руководимые Владимиром Жириновским. Именно представители этих сил составляют большинство в государственной Думе.

Радикальные националисты уверены, что мирный договор с Чечней на руку тем кругам в Москве, которые развязав войну, решили ее закончить, потому что удовлетворили свои эгоистические интересы.

Многие из радикальных националистов, вообще, отрицают поражение российской армии в Грозном. Они считают, что федеральные войска могли бы с легкостью раздавить врага, если бы не коррумпированность властей в Москве и не предательство либеральных средств массовой информации.

Некоторые националисты, кажется, готовы публично призвать к уничтожению Чеченской республики. Чечня, заявляют они, чужда и враждебна русской культуре и российскому государственному устройству. События в Чечне этим группировкам кажутся не просто пугающими, но в их глазах они выступают как знак того, что страну контролируют силы, враждебные России. Не случайно среди этих группировок широко распространено представление о том, что основной причиной неудач в Чечне явилось предательство.

Слухи о предательстве стали повсеместными (в основном в кругах ультра националистов) сразу же после первых поражений в двух войнах — русско-японской и русско-чеченской. К примеру, в 1905 году генерала Анатолия Стесселя назвали предателем за сдачу осажденного Порт-Артура. Точно так же вскоре после начала чеченской войны раздалось обвинение в адрес ряда неназванных офицеров из Москвы, которые якобы регулярно продавали секретные сведения чеченским командирам. Говорилось даже о том, что план штурма Грозного федеральными войсками якобы был отменен кем-то сверху, чтобы спасти от поражения чеченскую сторону.

Апология умеренности

Либералы не раз заявляли, что они выступают за «умеренную Россию». По их убеждению «великая державная Россия» — это синоним прежнего тоталитарного государства и всего того, что связано с ним, отсутствие неприкосновенной частной собственности, регулируемая экономика, массовые репрессии и гипертрофированная бюрократия.

Разумеется, либералы являются яркими противниками имперской политики. Для них «великая Россия», воспеваемая националистами, несовместима с прогрессом российского общества. Как заявил один из лидеров российских либералов Сергей Юшенков, «если за территориальную целостность России нужно платить человеческими жизнями, я не являюсь сторонником такой целостности».

Либералы как «универсалисты» отвергают идею о том, что российское общество в силу уникальности своего развития обладает какими-то преимуществами перед Западом. Скорее, Россия представляется им «догоняющей цивилизацией» (слова Егора Гайдара), которая дол-

гое время безуспешно пыталась опередить Запад. Они хотели бы видеть Россию «нормальным» государством, воспринявшим «универсальные» законы и западные ценности.

Либералы выступают против реставрации советского государства в любой форме и отрицают целесообразность политического объединения с бывшими союзными республиками, даже Украиной и Белорусией. В расширении границ они видят основное препятствие, или пользуясь словами Е. Гайдара, «империалистическую ловушку» на пути социального и политического прогресса общества.

Полноправное включение России в мировое сообщество и установление тесных связей ее с Западом либералы считают наилучшим вариантом для страны.

По их мнению, Россия должна отказаться от идеи независимой и самообеспечивающей экономики. Их не пугает экономическое состояние страны и структура российской внешней торговли (т.е. экспорт сырья и импорт товаров широкого потребления), а также глубокий упадок отдельных отраслей производства, не способных конкурировать с западными производителями. Либералы верят, что Россия обеспечит себе достойный уровень жизни благодаря преимуществам международного разделения труда. В то же время, по их мнению, без массовых иностранных инвестиций и использования западной технологии у России нет шансов добиться серьезного экономического прогресса.

Восстановить величие России сегодня!

Для радикалов Россия была, есть и должна оставаться сверхдержавой. Они не устают подчеркивать, что Россия продолжает обладать ядерным арсеналом, сравнимым по мощи с арсеналом Соединенных Штатов. Она относится к числу ведущих государств в области космических исследований, является одной из крупнейших стран мира по численности населения, территории и богатству природных ресурсов.

Россия может соревноваться с любой другой страной по количеству и уровню квалификации профессиональных работников. В ее активе — великая культура. Сознвая слабость российских вооруженных сил, они уповают на мощь ядерного потенциала страны.

Как для радикальных, так и для «умеренных» националистов Россия — это страна со своей особой судьбой, воплотившая уникальную «русскую цивилизацию»

Они оживили отошедшую на второй план в 1989—1991 годах «русскую идею» — об особой миссии России в мире, благодаря ее духовному над ним превосходству. А оно в свою очередь опирается на приверженность коллективистскому образу жизни, «общинности», особой роли государства.

С особой любовью националисты относятся к советскому прошлому, когда существовал военный паритет между Советским Союзом и Западом. В отличие от либералов националисты видят Россию православной страной и категорически отвергают мысль о равенстве вероисповеданий. Для них нынешний режим в стране — «еврейский» и прозападный. И его ликвидация — это едва ли не главное условие возрождения «великой России».

Радикальные националисты воспринимают Россию практически в том же ключе, как видел ее Сталин: она окружена врагами, причем Запад непрерывно плетет против нее заговоры, это он, Запад, хочет превратить Россию в сырьевой придаток мировой экономики и сделать ее местом свалки радиоактивных и прочих промышленных отходов.

Великая Россия завтра

Промежуточную позицию между либералами и радикальными националистами занимают «умеренные», которые политически и интеллектуально доминируют на российской сцене. С точки зрения «умеренных» решающим фактором жизни современной России является слабость экономики. Если до 1991 года страна по уровню своей экономики занимала второе место в мире, то к 1996-му скатилась на десятое, а к началу следующего столетия, как предполагается, окажется на двенадцатом, если не ниже.

Для «умеренных» поражение федеральных войск в Чечне — это результат переживаемых Россией социально-экономических трудностей. Именно из-за них невозможно было содержать большую и боеспособную армию. Поэтому «умеренные» считают, что приоритетное направление для правящего режима — это возрождение российской экономики, в особенности, военно-промышленного комплекса.

«Умеренные», как и радикальные националисты, враждебно настроены к Западу. Но в то же время они выступают за сотрудничество с ним, поскольку это необходимо для восстановления российской экономики. Подобно радикалам, но с гораздо меньшим экстремизмом «умеренные» отвергают универсализм, настаивая на сохранении традиционной для России цивилизации. Они против западной культуры массового потребления, которая по словам видного политолога Сергея Кортюнова, приведет к тому, что Россия «растворится в западных ценностях».

В отличие от радикальных националистов, «умеренные» не винят в трудностях, с которыми столкнулась Россия, вероломную и подрывную политику Запада и его «прислужников», типа Михаила Горбачева. Александр Лебедь говорит о нежелании Запада видеть Россию «сильным и стабильным государством», но вместе с тем признает, что россияне сами виноваты в сегодняшних проблемах своей страны.

«Умеренные» (как и некоторые из радикалов) считают правильной политику сотрудничества с Западом, но только до тех пор, пока Россия не возродится. Для них не приемлема политика дружбы с Западом, которую проводил в 1991—1995 гг. Андрей Козырев. «Умеренные» активно выступают против экспансии НАТО на восток. Они повторяют слова знаменитого российского государственного деятеля Александра Горчакова, который после поражения в Крымской войне говорил, что «Россия должна сейчас сосредоточиться». Для «умеренных» это означает, что к прежним геополитическим играм Россия вернется много позже. А пока их отношение к активному участию в мировой политике можно сформулировать так: «Давайте подождем несколько лет».

Точка зрения масс

Как и везде, в России лишь меньшинство людей можно назвать «чистыми идеологами», чье поведение соответ-

ствуемых взглядам и ценностям. Фактически большинство думает на двух уровнях. Первый — «мифологический» (или «идеологический»), на котором происходит осознание общественных ценностей. Второй — «прагматический», который связан с представлениями и ценностями, напрямую определяющими жизненное поведение. Если говорить о большинстве россиян, их идеологический уровень находится в основном под влиянием «умеренных» националистов. В то время как «прагматический» — под влиянием либералов.

Примерно две трети жителей страны склонны разделять с «умеренными» образ России как страны, чье величие должно из прошлого перейти в будущее.

Согласно результатам ряда исследований, проведенных в 1995—1996 гг., доля тех, кто высказывается в пользу возрождения «великой России» («державность» — излюбленное слово в современном российском политическом лексиконе), достигает 50% и даже более — в зависимости от формулировки вопроса. Большинство населения продолжает испытывать ностальгию по былому величию страны.

Но как только россияне начинают задумываться о вещах, относящихся к их повседневной жизни, они немедленно переходят на позиции либералов. В этом случае им ближе либеральная модель, с акцентом на личное благополучие и отрицанием ряда общественных ценностей. Отвечая на вопрос о том, какова «наиболее серьезная проблема, с которой столкнулась страна», 56% в апреле 1996 года назвали различные экономические трудности, 17% — межнациональные конфликты, 8% — рост преступности и коррупцию, и лишь менее одного процента — проблемы, связанные с государственной безопасностью.

Население требует от государства регулярной выплаты зарплат и пенсий, установления порядка, эффективной борьбы с преступностью и коррупцией, а также улучшения системы здравоохранения и образования, а вовсе не немедленного возрождения прежнего статуса страны в мире.

Ярким свидетельством того, что для большинства россиян «величие» России — это лишь своего рода мечта, «гала ценность» может служить их отношение к восстановлению Советского Союза и к Чечне. Как показывают опросы, только пятая часть жителей страны выступает за восстановление Советского Союза и лишь девять процентов согласны на какие-либо жертвы для осуществления этого. Отвечая на вопрос «Должна ли Россия попытаться воссоединиться с республиками, где проживает значительный процент русского населения?», треть респондентов дали положительный ответ. Но доля положительных ответов снизилась до 10%, когда в качестве условия предлагалось применение силы.

Не менее характерны данные, показывающие, что две трети россиян одобряют полное отделение Чечни от России. Большинство (62%) — с либералами и умеренными, считающими, что результатом войны в Чечне явилось «полное поражение России». И лишь 38% не согласны с этим вердиктом.

Как и в других случаях, идеологическое и прагматическое отношение населения к Западу сильно отличаются друг от друга. Можно в этой связи говорить о существовании некой «любви-ненависти».

С одной стороны, россияне относятся к Западу с подозрением и объясняют это его враждебностью к России. 61% принимает тезис о том, что «США используют сегодняшнюю слабость России, чтобы превратить ее в государство второго ряда, в поставщика сырья».

Но с другой стороны, как только речь заходит о частной жизни людей, то россияне переходят на точку зрения либералов. По данным ЮСИА, в апреле 1996 года 75% массовых групп россиян (и 92% представителей элиты) согласились с утверждением, что «важно сотрудничать с Западом». 72% выразили либо «весьма благоприятное», либо «скорее благоприятное» мнение об Америке и американцах. Не более 20% были обеспокоены «американизацией» российской жизни. Только 17% высказались против «включения России в мировое экономическое сообщество».

Большинство населения ничего не имеет против западных инвестиций в российскую экономику, учреждения совместных предприятий или других форм иностранной активности в стране.

Вместо заключения

Итак, существуют три различных видения России: Россия «умеренная», «временно умеренная» и «всегда великая». И хотя они различаются по степени осуществимости, каждое из них по-своему влияет на ход событий в стране.

Либеральное видение имеет наилучшие перспективы в ближайшие годы. Его разделяют большинство россиян, а также большинство представителей политической и предпринимательской элиты, что бы они ни говорили публично. Переизбрание Ельцина летом 1996 года подтвердило, что либеральное видение России обществом принято как «нормальное».

Радикально-националистический взгляд на Россию имеет мало шансов воплотиться в жизнь. Даже если в Москве к власти придет блок коммунистов и националистов и начнет активно внедрять в сознание националистическую риторику, в сочетании с агрессивной внешней политикой, — этому альянсу все равно не удастся возродить «великую» Россию, поскольку не удастся преодолеть основную трудность — слабость российской экономики.

А для быстрого и долговременного улучшения состояния российской экономики никакой реальной возможности сегодня нет. Более того, сегодня нет оснований пересматривать прогноз, по которому российской экономике предстоит опуститься ниже десятого места в мире, то есть даже ниже Индонезии и Южной Кореи.

Москва едва ли способна восстановить сильное централизованное управление и претендовать на тот статус в мире, которым страна обладала на протяжении последних трех столетий.

Растущая независимость российских регионов, в особенности удаленных, может достигнуть той точки, когда Россия станет напоминать Священную Римскую Империю — государство со слабым центром, полностью зависящим от местных элит. Примечательно, что националистам и по сей день оказывается не под силу подвергнуть серьезному анализу состояние российской экономики, ее перспективы на ближайшее будущее. Говоря о будущем, они предпочитают акцентировать роль культуры, политики и идеологии, игнорируя по сути глубинные экономи-

ческие проблемы. Решение их зависит от множества факторов, многие из которых не подвластны ни одной политической силе в России. Все это делает маловероятным, что у радикальных националистов появится шанс реализовать свои мечты о «великой России». Однако если они захватят власть, то присущий им экстремизм может их толкнуть на опасные авантюры как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. В настоящее время радикальных националистов поддерживает не более 10% населения. Но, если они придут к власти и захватят контроль над средствами массовой информации, то, весьма вероятно, что они смогут навязать свое видение «великой» России (хотя бы на краткое время) большей части населения. И в результате возможен ряд негативных, а то и катастрофических перемен во внутренней и внешней политике страны.

Вместе с тем далеко не очевидно, что и для Запада лучшим вариантом является «умеренная Россия». Конечно, если такая Россия была бы относительно стабильна, то она могла бы стать на Западе самым желательным партнером. В любом случае эта модель гораздо предпочтительнее для мира, чем любой националистический вариант, обещающий непредвиденные «вызовы» западному миру.

Однако «умеренная Россия» обещает Западу быть оптимальным партнером лишь при двух условиях: во-первых, такая Россия должна быть способна к контролю над своим ядерным арсеналом и к предотвращению крупных технологических катастроф, во-вторых, геополитическая ситуация в Азии не должна коренным образом меняться в течение ближайших десятилетий.

Другое дело, если произойдет принципиальное изменение китайской внешнеполитической стратегии, в случае дальнейшего роста китайской мощи (что, разумеется, не предопределено). Или мы станем свидетелями аналогичного процесса в Японии. Или — что особенно опасно — окажемся перед лицом усиления агрессивности исламского фундаментализма и исламских государств. Все это способно породить новую геополитическую ситуацию как в Азии, так и во всем мире. В этом случае сильное централизованное российское государство как нельзя лучше отвечало бы интересам Запада, которому необходим

союзник, способный противостоять смертельно опасной азиатской экспансии.

Итак, в ближайшие десятилетия будущее России и геополитическая ситуация в мире остаются крайне неясными, и для Запада совсем не просто выбрать эффективную краткосрочную и долгосрочную политику по отношению к России.

* * *

Желаемое будущее — или «национальная мечта», если использовать кальку с американского «dream», играет немалую роль в жизни любого общества. Видение будущего в каждой большой стране весьма важно и для ее соседей и для всего мира. Те сильные различия в видении России и ее будущего, которые мы наблюдаем в стране, являются отражением и в то же время причиной глубокой социальной и политической нестабильности. Американское общество с трудом функционировало бы, если бы сплывающая его «американская мечта» была раздроблена. Рано или поздно, по-видимому, и россияне преодолеют расхождения в своем видении «идеальной России» и придут к единой мечте о ее будущем. Будет ли это видение отвечать долгосрочным интересам граждан России и всего мира — это уже другой вопрос, на который пока ответить нельзя.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА. АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ. И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

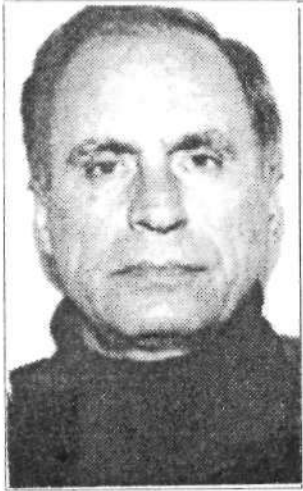
ГОРДОН БРУКШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги - 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155**



Эдуард ШТЕЙН

БИРОБИДЖАНСКИЙ АПОКАЛИПСИС,

*Или ностальгическая баллада
о Биробиджане без евреев*

Вместо предисловия

Сначала о том, какими судьбами меня забросило в Биробиджан — американского гражданина, четверть века назад эмигрировавшего из Польши в Соединенные Штаты. Этот несколько детективный сюжет уходит в далекое прошлое и связан с моим происхождением из семьи еврейских актеров.

В 1948 году мой отец, Алексей Борисович Штейн, в то время главный режиссер Биробиджанского еврейского театра имени Лазаря Моисеевича Кагановича (директором театра был в будущем известный писатель Эммануил Казакевич), поставил пьесу местного драматурга Бориса Миллера «Он из Биробиджана», в которой главную роль играла моя мать, Юлия Флаум.

Не успели сыграть нескольких спектаклей, как в печати появилась зубодробительная рецензия, обвинявшая и Миллера и моего отца в буржуазном национализме. Отец тотчас сообразил, что нависла буря. А у него был, между прочим, единственный метод «бороться» с КГБ — что бы вокруг ни происходило, семья постоянно меняла места своего жительства. И вот, в течение 24 часов, мы снялись и устремились в неизвестность и, никого не уведомив, осели в Минске. Появились там как раз в дни убийства Михоэлса, и отца взяли на должность режиссера минского еврейского театра. Система КГБ работала, в Биробиджане всех арестовали, включая Бориса Миллера, просидевшего в лагерях восемь лет, а мы, благодаря тому, что сменили адрес, спаслись.

Прошло сорок восемь лет, и вот уже на перестроечной волне, ко мне как к специалисту по эмигрантской литературе обратились из журнала «Знамя», чтобы я дал какой-нибудь материал о поэтах русского зарубежья. В 1989 году я опубликовал у них статью об Арсении Несмелове. Номер с моей публикацией какими-то, неизвестными мне путями попал в город Хабаровск, где статью прочитала Светлана Миллер, жена сына драматурга Бориса Миллера и родная сестра моей первой юношеской любви Доры Уриной.

Когда Света, которую я помнил двенадцатилетней девочкой, прочла статью, подпись Э.Штейн, Орэнж, США, она почему-то сразу заподозрила, что это я, и позвонила своей сестре. Когда Дора прочла статью, она почувствовала то же самое, что и Светлана, что, скорее всего, я — это я и что через сорок восемь лет у нее появилась возможность меня разыскать. Они написали редактору «Знамени» Бакланову письмо с просьбой дать мой точный адрес. Все это продолжалось довольно долго, и я бы не стал обращаться к этой ностальгической истории, если бы с ней не была связана моя будущая поездка в Биробиджан, о которой и пойдет речь в этих заметках.

О моей поездке, проводнице Саше и ее любимом писателе

Итак, года через полтора я получил письмо из Биробиджана от Доры Скальник (ее девичья фамилия), а ныне Уриной, которая, как выяснилось, в Биробиджане открыла воскресную еврейскую школу, где изучают (в основном дети русских казаков, еврейских детей здесь почти нет) — языки идиш и иврит, еврейскую культуру, поэзию, еврейские танцы и т.д. Как я узнал позже, эта школа поддерживается Сохнотом, посольством Израиля в Москве, ассигнуемыми необходимыми средствами, посылающими книги и материалы по еврейской культуре. Между тем, у нас с Дорой завязалась переписка — из Биробиджана в Америку и из Америки в Биробиджан. Наконец мы встретились с ней в Москве, куда она довольно часто приезжала по приглашению Израильского посольства, а вскоре к ней пришла идея: получив согласие властей Еврейской автономной области, организовать мой приезд в Биробиджан с циклом лекций по истории русской зарубежной литературы. План удался, и по совместному приглашению властей Еврейской автономной области и Биробиджанского педагогического института, я в прошлом году дважды был в Биробиджане, выступал с циклом лекций в Педагогическом институте, и кроме того, перед общественностью и жителями области, в среде которых масса читающей публики и, вообще, огромная тяга к культуре. (Когда состоялось мое выступление в областной библиотеке имени Шолома Алейхема, то для поддержания порядка пришлось вызывать милицию: так как в зал, вмещающий триста человек, набилось более семисот.)

Каким было первое впечатление от Биробиджана? Если говорить о последней поездке в декабре (первая была в мае 1996 года), то впечатление было, если можно так выразиться, «приятно-ужасающим». Но все по порядку. Когда я прилетел в Хабаровск, меня встретил сорокадвухградусный мороз. А морозу предшествовал страшный снежный буран, и, когда мы приземлились в хаба-

ровском аэропорту, то в течение пяти часов нас держали в самолете — не было машин, чтобы расчистить последние пять километров от самолета до здания аэропорта.

От Хабаровска до Биробиджана надо было ехать на поезде и совершенно неожиданно возникла проблема с билетом, поскольку сейчас даже для железнодорожного поезда необходимо предъявлять паспорт. Мой паспорт вызвал у работников вокзала шок. У людей, приезжающих из России и говорящих по-русски, они таких паспортов с роду не видели. И положительно не знали, что с этим фантомом делать. Битый час звонили во всякие учреждения, пока не дозвонились до руководства МВД области, с согласия которого мне все-таки выписали билет до Биробиджана. Подойдя к вагону, надо было снова предъявить паспорт, на этот раз уже проводнице, которая, увидев мой американский паспорт, даже обомлела. Но затем сказала: «Вы говорите по-русски — я вам сделаю купе!» Естественно, оказавшись в купе, я заказал чаю, который по русской традиции она принесла мне в тонком стакане с подстаканником.

Я вспоминаю об этой проводнице еще и потому, что она первая ввела меня в круг литературных пристрастий рядовых жителей Биробиджана; подозреваю, что он был довольно типичен для многих. Когда я вошел к ней в купе за вторым стаканом чая, то сразу же увидел на ее столике раскрытую книгу, которую она с большим интересом читала. Я уже знал ее имя — Саша. Это была молоденькая и очень симпатичная женщина, которая, повторяю, не отрываясь, читала. Увидев фамилию автора книги, я был... не знаю уж, как поточнее выразиться... был в некотором смысле потрясен, особенно тем, что, как выяснилось, она была влюблена в этого автора. Она попросила, чтобы я объяснил, чему я, собственно, поражен. (Тут же выяснилось, что вторым на вершине иерархии — после этого автора — стоял Сережа Довлатов.) Так вот, открытая перед ней книга оказалась произведением Эдуарда Тополя, названия которого я, конечно, не запомнил. Оказывается, для всех ее подружек Тополь как раз и был автором номер один. Был он даже выше

Довлатова. И когда я сказал, что знаком и с тем и с другим, она была готова носить меня на руках, считая, по-видимому, что ей крупно повезло, если она встретила такого необыкновенного человека, как я, который знаком с самим Тополем и Довлатовым. Я спросил, кого она еще читает. «Да как вам сказать, — ответила Саша, — Набокова читать невозможно, ничего не поймешь, а этот пишет доходчиво и про нас!» За чаем я даже рассказал ей, что Тополь вместе с Незнанским уговаривали меня писать в соавторстве с ними книгу о матче Корчного с Карповым, но я отказался. Тут она, чуть не схватившись за голову, воскликнула: «Какая жалость, что вы вместе книгу не написали!» Мой авторитет в ее глазах возрос настолько, что при расчете она отказалась от оплаты за все наши чаи — и все только за то, что я оказался человеком, знающим Тополя.

Позже, когда на встречах с жителями Биробиджана заходил разговор о русской культуре, я не раз вспоминал проводницу Сашу с ее восприятием литературных ценностей, довольно типичным, как я уже сказал, для простых людей Биробиджана, да и России в целом.

В доме бывшего Секретаря обкома

В Биробиджане я увидел все тот же вокзал, который был сорок восемь лет назад, только облицованный, но та же деревянная коробка. К тому же, сегодня он не отапливается, потому что денег для отопления нет. Архитектура практически не изменилась, если не считать того, что реку Биру одели в бетон. Но с другой стороны, нужно сказать, что Биробиджан, и особенно его окрестности, мне показались маленькой Швейцарией. И когда все это покрыто снегом, и трескучий мороз, и слышишь каждый шорох, каждый скрип своего шага, то на таких заезжих людей, как я, это не может не произвести впечатления. Впрочем, как читатель увидит, были у меня и чисто личные причины для такого переполнения чувств. При более здравом размышлении Биробиджан выглядит, скорее, как типичная русская провинция, с деревянными

малозэтажными домами. Правда, если отъехать в новый район города, возле обозового завода (который, как и все предприятия города, не функционирует), то там выросли десятки домов-хрущев. Но одна постройка в этом «районе хрущев» меня удивила и даже потрясла, — такого нет ни в одном городе России. Это каменное, вполне современное — и по облику и по оборудованию — одноэтажное здание шахматного клуба, построенного для шахматистов Еврейской автономной области. Среди его многочисленных посетителей — любителей шахмат, — правда, всего несколько евреев, которых можно пересчитать по пальцам (в основном это мальчишки-школьники), все остальные — русские, китайцы и корейцы.

И все-таки, несмотря на этот провинциальный облик, когда я шел по улицам Биробиджана, я чувствовал, что нахожусь в городе, в котором незримо присутствует еврейский дух. Может быть, это объяснялось своеобразием моей судьбы и прошлых связей с Биробиджаном — этого я не знаю, — возможно не будь у меня такого прошлого, ничего подобного я бы не испытывал.

У меня, кстати, появилось то же ощущение, когда я бывал в Варшавском гетто, где сегодня не осталось ни одного еврея. Просто само наличие бронзового памятника Мордыхаю Анилевичу, сам воздух этих мест, заставляет человека, в котором течет еврейская кровь, почувствовать, что это место (что бы там ни было сегодня) — еврейское. Именно подобное ощущение не покидало меня в Биробиджане.

Вспоминается, что в 1946 году в Биробиджан нас привез тогдашний Первый секретарь обкома Александр Бахмутский, который был вскоре арестован и чудом уцелел. Но тогда Бахмутский своей властью дал нам квартиру в так называемом Доме правительства, на Центральной площади. Наши квартиры были почти рядом — Бахмутского и нашей семьи, — то есть та, что дали отцу, художественному руководителю еврейского театра Алексею Штейну.

Когда мы уехали, естественно, квартира передавалась из рук в руки. И когда в мае 1996 года, после столь

долгого отсутствия, я приехал первый раз в Биробиджан, я сказал Доре Уриной: «Дора, я бы мечтал оказаться в той квартире, в которой сорок восемь лет назад мы жили. Потому что сегодня из всей нашей семьи — бабушка, дедушка, отец и мать — в живых остался только я. Ты помнишь, Дора, — вспоминал я, — как ты была на площади, катаясь на велосипеде, а я тебе с балкона, единственного выходящего на площадь, кричал и звал прийти ко мне и попить вместе чаю. Ты не послушалась, села на велосипед и уехала. Может быть, нам теперь удастся попасть в эту квартиру, где я надеюсь ощутить мистическое присутствие моих близких, из которых я единственный, кто уцелел?» И вот мы вошли в этот дом, поднялись по лестнице и позвонили в дверь. На наши звонки, под мелодию «Подмосковных вечеров», никто не отвечал. Дора этому не удивилась: была страдная пора огородов, все уезжали за город сажать картошку. Дора сказала: «Ты знаешь, никого дома нет. Давай спустимся вниз и зайдем в магазин, который находится как раз под этим балконом и в котором ты много раз бывал». Когда мы обошли дом — Дора шла чуть впереди меня и первая вошла в магазин, — я вскинул голову и увидел на балконе женщину. Наши взгляды встретились, я смотрел на нее, она на меня — эта немая сцена продолжалась, может быть, секунд тридцать, может, минуту.

Дора, заметив, что меня нет, вышла из магазина и, увидев, как мы с женщиной смотрим друг на друга, громко сказала: «Это мой американский друг, он не был здесь сорок восемь лет и очень хотел бы посмотреть на квартиру, в которой он жил». (А нужно сказать, что в городе была исключительно опасная криминогенная ситуация — русские стреляли в китайцев, китайцы в русских, у милиции даже не было бензина, чтобы преследовать злоумышленников.) Но несмотря на все это, женщина сверху сказала: «Дверь будет открыта, поднимайтесь, я вас жду». И вот мы вдвоем вошли: квартира была обставлена по суперевропейским стандартам, но несмотря на эту совершенно другую обстановку, я вдруг физически ощутил присутствие моих близких. Мне нача-

ло казаться, что вот-вот из левой комнаты выйдет бабушка и подойдет ко мне, а из другой комнаты меня позовет отец, я действительно почувствовал какую-то телепатическую связь с прошлым.

Вместе с Дорой мы вышли на балкон, продефилировали по нему — он был довольно длинный — и начали медленно возвращаться назад. Женщина, к тому времени уже представилась Аллой, и когда мы собирались уходить, сказала: «Я хочу вас угостить: мои блинчики самые хорошие». После того как мы сели за стол, она предложила: «Откройте бар, возьмите себе что-нибудь выпить».

Я взял коньяку, ей налил венгерского «Токая». «Только венгерский «Токай», — сказал я, — полагается пить теплым, нужно его разогреть». И после этого спрашиваю: «А интересно, кто так живет?» Он рассказала, что они с мужем едут в Америку, в отпуск, на Аляску и затем на Гавайи. Я спросил: «А чем занимается ваш муж?» «Он руководит экономическими структурами области», — ответила она. Я говорю: «А чем он занимался до этого?» «Он был Первым секретарем обкома партии. Корсунский, может быть, слышали?» Когда мы вышли, у Доры выступили на глазах слезы. «Мы всю жизнь, — сказала она, — боролись за какие-то идеалы, а ты видишь, как живут Первые секретари обкомов, нам это и не снилось!»

Корсунский был последним Первым секретарем обкома Биробиджана при советской власти. Позже мне рассказывали, что на вопрос о его национальности, из его уст следовал обычно весьма оригинальный ответ (в духе Жириновского, который говорил, что мама у него русская, а папа — юрист). Так вот Корсунский на вопрос, какой он национальности, говорил: «Я коренной дальневосточник!»

Теперь евреи не говорят, что они коренные дальневосточники. Евреи говорят, что они евреи, китайцы, что они китайцы, корейцы, что они корейцы, — никто не стесняется своей национальности.

Вообще, сегодняшний Биробиджан — это полный Вавилон, здесь можно встретить людей, каких хотите и откуда

хотите. Но, пожалуй, отдельно нужно сказать о культуре жителей области. С этим-то я столкнулся в первую очередь.

Моя аудитория

На мои лекции приходили не одни только студенты, но и аспиранты, профессура, интеллигенция — вообще, ценители российской словесности. И вот, отвечая на вопросы и беседуя со слушателями, я примерно мог представить их уровень. Оказывается, никто из них не слышал даже имени поэтессы Ирины Одоевцевой, никто не слышал о «Новом Журнале», о «Гранях», об антологии русской поэзии XX века «Строфы века», подготовленной Евгением Евтушенко, фамилия Шмелева почти для всех была пустой звук. То есть у меня то и дело возникало ощущение, что я нахожусь в какой-то преисподней. С одной стороны, огромная тяга к знаниям. Если при сорока двух градусах мороза в нетопленном помещении собирается почти две тысячи человек — сидят в дубленках, шубах, меховых пальто и, затаив дыхание, слушают в течение трех—четырёх часов об эмигрантской литературе, засыпают меня вопросами о поэтах русского Китая, о знаменитой польской поэтессе Виславе Шимборской, об истории каких-то песен Вертинского, — то не свидетельствует ли все это о том, что тяга к знаниям феноменальна. И все это рядом с глобальным невежеством, касающимся выдающихся явлений русской культуры.

Еще несколько слов о моей аудитории. Кроме студентов, аспирантов и профессуры на встречах со мной присутствовал практически весь еврейский Биробиджан. Среди моих слушателей была, например старейшая жительница города Уланская, которая дружила еще с моей бабушкой и мамой — ей сейчас семьдесят восемь лет и она продолжает здесь жить. И был фотограф Кулиш, который пишет книгу об истории Биробиджанского еврейского театра, скоро он ее заканчивает. Были и другие люди старшего поколения... Все это последние из мигрантов, они если и покинут Биробиджан, то только в гробах.

В основном это представители тех евреев, которые верили в коммунизм, верили в возможность создания еврейского дома на этой земле. Раздел советской империи стал крушением всех их идеалов.

Следует отметить, что моих слушателей (как, вероятно, и весь еврейский Биробиджан) можно было подразделить на три категории, каждая из которых по-своему представляла интерес.

Первая категория — это так называемая трудовая интеллигенция, бывшие коммунисты, работники культурного фронта, хозяйственники. Сегодня, в основном, они вышли на пенсию, которая, скорее, напоминает жалкую подачку, на которую безумно трудно прожить. У кого-то, правда, есть за границей родственники, друзья, больше всего в Израиле. От них они также иногда получают поддержку и кое-как существуют.

Через меня у этих людей как бы произошла встреча с прошлым, некоторые знали моих родителей, некоторые помнили меня мальчиком; встречи эти были очень эмоциональные, со слезами и объятиями. Видя меня, они как бы чувствовали, что это круг жизни замкнулся.

Другая группа — это представители так называемой «Йериды», то есть те, кто покинули Израиль, и вернувшись, поселились в Биробиджане. «Йерида» из Израиля в Биробиджан — это феноменальное явление. Но оно существует (что бы там ни говорили израильтяне), и я лично видел многих. В общем, это довольно значительная группа, которая по тем или иным причинам не смогла прижиться на израильской земле и вернулась в свои пенаты.

Я специально интересовался, было ли это связано с чисто национальными причинами (муж русский или жена русская) — нет, решающую роль играли вопросы трудоустройства, человеческих отношений, взаимоотношений человека и государственной машины, — словом, эти люди просто-напросто не были готовы принять израильский образ жизни.

Мне лично пришлось разговаривать с тремя врачами, которые, по их рассказам, так и не смогли получить

соответствующую их представлениям работу. И вот, помыкавшись три—четыре года и не найдя своего места, эти люди покидали Израиль — свою историческую родину — и возвращались на свою так называемую еврейскую родину в СССР. Говорить, что они счастливы, не приходится. Но во всяком случае они не думают эмигрировать снова. Для себя они этот вопрос решили раз и навсегда.

Я спросил удовольно известного в Израиле социолога Вайзберга, автора книги «Как это было?» (о гибели еврейской культуры), сколько таких йордим сегодня в Биробиджане. Он считает, что их около ста пятидесяти, между прочим, не так уж мало, учитывая, что всего в Биробиджане осталось менее 2000 евреев. Это даже не одна десятая процента населения, а меньше. Но об этом чуть ниже.

А пока о третьей категории евреев. Я никогда не мог представить, что такая существует. Я даже пытался кое с кем из них встретиться и поговорить, но никто не пожелал разговаривать со мной. Оказывается, есть группа, притом довольно значительная, (для которой Вайзберг никак не мог подобрать сколь-нибудь пристойного определения) и назвал их просто «проходимцами», — так вот, это евреи, которые, пользуясь создавшимся положением, сделали из алии в Израиль довольно неплохой бизнес, если, конечно, можно назвать бизнесом то, что они вытворяют. Они эмигрировали в Израиль, получали там все полагающиеся им привилегии, ссуды, квартиры, приобретали без налогов машины, радиоаппаратуру и всякие прочие товары, перепродавали все это и, прилично заработав на такого рода гешефтах, возвращались обратно, формально пополняя группу йордим.

В Биробиджане они фальсифицировали, подделывали, покупали новые документы — это была целая индустрия! — и снова репатриировалась в Израиль. То есть вместо вернувшегося в Биробиджан Рабиновича, на израильской земле появлялась та же личность, но под фамилией Рубинштейн. Согласно некоторым данным, существуют люди, которые трижды эмигрировали в Израиль. Притом, с развитием рынка эта последняя группа

становится все больше и больше. Правда, по словам Вайзберга, проворачивать этот бизнес становится все труднее, поскольку и Сохнут, наконец, начал понимать, что с этими людьми не все чисто.

Но возвратимся к цифре оставшихся евреев — около двух тысяч человек. В 1989 году по последней переписи населения в Еврейской автономной области было девять с половиной тысяч евреев. Но тогда многие не признавались в том, что они евреи. Последняя же цифра отражает действительное положение вещей.

Причем, если раз в месяц в Тель-Авив улетает из Хабаровска самолет, имея на борту приблизительно от двухсот до трехсот человек, то через полтора—два года в Еврейской автономной области может возникнуть ситуация, когда не останется ни одного еврея. А как на это реагирует русский Биробиджан? Как это ни парадоксально, но ему в первую очередь и нужна еврейская автономная область.

Если говорить о руководстве области, то оно опять же находится в руках русских. Например, глава администрации — Волков, а вот его замы — евреи, которые несут на своих плечах довольно много работы. Например, один из них, Уманский, занимается внешними связями с Израилем и за границей, вроде бы как министр иностранных дел при Волкове. Всего таких замов несколько — это те, которые поехали в Израиль и быстро поняли, что на исторической родине им ничего не светит, или те, которые в прошлом были связаны с КГБ, и поэтому поняли, что с их прошлым и моральным обликом лучше оставаться здесь, в Биробиджане.

Для руководителей области, и особенно края, это еврейское образование — вопрос жизни и смерти. Они прекрасно понимают, что с исчезновением евреев испарится и финансовая помощь, которая приходит из Израиля. И Биробиджан, а вместе с ним и Хабаровский край, станет рядовым российским захолустьем, переживающим, как и вся Россия, тяжелейший экономический кризис. Поэтому руководители края будут делать все от них зависящее, чтобы Биробиджан продолжал существо-

вать. Кажется, даже, если останется один еврей, они и за него будут стоять горой. А если не останется и последнего еврея, они его создадут — без евреев это образование попросту потеряет право на существование.

Что же еврейского в Биробиджане!

А как в этих условиях обстоят дела с еврейской культурой? Как с театром? Литературой? Языком? Газетами? Музыкой? Из актеров еврейского театра в живых сегодня нет никого.

Биробиджанский еврейский театр был закрыт самым последним — то ли в 1952, то ли в 1953 году. Помещение театра отдали под Дом пионеров, который позже тоже закрыли, а само здание сровняли с землей. Все, кто работал в театре, умерли. Остались практически только их дети.

Из тех, кто был хоть как-то связан с Биробиджанским еврейским театром, в живых остались лишь автор этих строк и моя подруга детства Дора Урина, чей отец был оформителем сцены. Итак, театра нет. Так же, как нет отдельной еврейской газеты. Существует русская газета «Биробиджанская звезда», и с ней вместе выходит еженедельный вкладыш на языке идиш «Биробиджанер Штерн». Правда, раз в неделю выпускается газета «Дивоха», но и «Дивоха» — это русская газета, снабженная лишь еврейским заголовком, набираемым, впрочем, русскими буквами. Существует какая-то третья газета, название которой я не помню, и которая никакой роли в жизни области не играет.

Еврейских писателей, которые пишут на идише, в Биробиджане также нет. А есть, например русская поэтесса Алла Акименко, которая пишет на еврейские темы по-русски. Так что никакой еврейской культуры, кроме Дориной воскресной школы, в которой 99 процентов русских детей-казачат, не существует, если не считать феноменального детского танцевального ансамбля «Мазал тов», (это дети до пятнадцати лет — почти все

русские, и опять же, в основном, казачата, — если не считать руководительницы-еврейки). Можно еще вспомнить передаваемые на еврейском языке новости и телевизионную редакцию, где работает целый ряд евреев, но все они люди русской культуры.

Китайская угроза

Теперь о социально-экономической жизни Биробиджана с его разноплеменным населением (русские, казаки, евреи, китайцы, корейцы, японцы) — как уже сказано выше, полный Вавилон, на месте когда-то задуманной Сталиным родины советских евреев. С родиной ничего не вышло. Однако все-таки осталось крупное и многоязычное административно-географическое образование, с богатейшими полезными ископаемыми, с некогда развитой инфраструктурой. А что же теперь? Что происходит с экономикой? Развивается ли в Биробиджане рыночное хозяйство? Каков, наконец, уровень жизни населения? Если начать с экономики, то экономика, как и во многих регионах России, стоит. В хозяйстве очень сильны советские структуры. Предприятия без дотаций не способны функционировать. Повсюду ощущается советская ментальность. Места выбивают дополнительные ассигнования из Центра. Работники ждут, пока их обеспечат работой. Но их никто и ничем не обеспечивает. И также, как в России, значительная часть населения живет ниже черты бедности. Это, прежде всего, пенсионеры, в том числе и еврейские пенсионеры, многие из которых в молодости были «искателями счастья», те самые романтики пятилеток, которые глубокой нищетой расплачиваются за годы бескорыстного труда и веры в страну Советов.

Я расскажу только одну историю, которая проиллюстрирует, как выглядит жизнь пенсионеров Еврейской автономной области. Когда я отправлялся в Биробиджан, некоторые из знакомых мне дали деньги, чтоб я переправил их родственникам. Я привез эти 1200 долларов, поменял их на несколько миллионов рублей. И, когда

принес их на Центральную почту, чтобы отправить по нужным адресам, то увидел там большую толпу стариков, ожидавших у одного из окошек денег.

Как выяснилось, пенсионеры уже в течение нескольких месяцев не получали своих жалких пенсий (200 тысяч при том, что буханка хлеба стоила три тысячи). И вот по Биробиджану пустили слух, что Волков, руководитель администрации, привез из Москвы (а он туда ездил, чтобы обсуждать бюджет) несколько миллиардов рублей, чтобы заткнуть эту возникшую «рублевую» брешь. Волков вернулся, но этих рублей не привез, ему просто их не дали. И когда толпа стариков, безнадежно ожидавшая у пенсионного окошка денег, вдруг увидела, что на почте появился человек и стал передавать в другое окошко миллион за миллионом, то все кинулись на меня — нас с Дорой чуть не растерзали! Они потребовали, чтобы я убедил руководство почты передать мои миллионы им, они ведь умирают с голоду. А почта, вместо этих денег пускай изыскивает какие-то другие фонды. В Биробиджане я столкнулся и с другой сценой, когда мальчик постучал в дверь квартиры, где я находился, и попросил: «Дяденька, дайте картошечки!» Таковы картины нищеты, которые я видел собственными глазами.

И все же по сравнению с советским прошлым Биробиджан стал совсем другим. Другим во многих отношениях. Даже национальные конфликты (раньше Биробиджан, как и весь СССР, раздирал антисемитизм) теперь приобрели другой характер. Основные столкновения идут уже не между евреями и русскими, а между русскими и китайцами. Это конфликт не только силовой, порождающий все возрастающую криминальную обстановку, русские и китайские мафии, перестрелки, убийства, но прежде всего — это конфликт экономический, потому что китайцы демонстрируют чудеса производительности труда и рентабельного ведения хозяйства.

Мне рассказывали, что китайские фермеры способны собрать с одного куста до тридцати четырех помидор, а у русских более трех не рождается. Подобное экономическое превосходство ощущается на каждом шагу. Оно

вызывает у населения страх перед тем, что будущее этих земель может оказаться в руках у китайцев.

Биробиджанский апокалипсис

Все это — и исчезновение евреев, и гибель еврейской культуры, и растущая нищета не может не создавать определенного апокалиптического настроения. Знаковым выражением этого биробиджанского апокалипсиса выступает местное кладбище, подобного которому я в своей жизни не видел. Если вы окажетесь на еврейском кладбище в Варшаве, то несмотря на трагедию, постигшую польских евреев, несмотря на Варшавское гетто, куда перенесено сейчас кладбище, вы все-таки почувствуете, что кладбище уцелело, что оно дорого людям, живущим в Польше и прошедшим через большую трагедию войны. Но если вы попадете на кладбище Биробиджана, то вас не может не охватить чувство ужаса. Я сомневаюсь, что в своей жизни вы когда-нибудь видели более страшную картину: сотни, может быть, тысячи вырытых и не закопанных могил!

Уезжающие в Израиль отрывали могилы и, вытащив останки своих предков, увозили их на землю обетованную, а могилы оставляли не закопанными. Там можно переломать себе ноги и руки... Перекошенные ограды, за которыми гуляют козы и шныряют одичавшие от голода и морозов собаки. Меня все это побудило даже написать специальную статью в «Биробиджанер Штерн», в которой, среди прочего, я писал: «Вы не можете говорить о будущем, если не оберегаете памяти ваших предков. Сровняйте все это с землей, постройте в конце концов что-то». Но к голосам, подобным моему, никто не прислушивается, говорят, что нет денег и потому никто на это не обращает внимания.



Миша ГОФМАН

РУССКАЯ ПРАВДА И ЗАПАДНАЯ ЛОГИКА

От автора

Тысячи книг написаны о России иностранцами — книги путешествий, воспоминания, литературные эссе, социологические и исторические исследования. Кто только не писал о России! О ней писали те, кто видел Россию времен Ивана Третьего. О ней писал Вольтер в 18 веке, никогда Россию не видевший. Все, кто бывали в России в веке 20, считали необходимым оставить о ней свои наблюдения.

Естественно, что многие русские мыслители, философы, историки посвятили немало страниц размышлениям о судьбах России, ее исторической миссии. Среди этого огромного потока информации исследования, напрямую посвященные анализу русского национального характера, составляют тонкий ручеек, хотя почти в каждой работе можно найти отдельные замечания, наблюдения о русской жизни, русской ментальности, из которых можно составить целые тома.

Характер народа, сознание народа, весь комплекс его верований, идей, философии жизни — это та корневая система, из

которой вырастают все формы общественных отношений — отношения к добру и злу, к труду, власти, к свободе и богатству, к индивидуальности и обществу.

Изменяется жизнь в России. Меняется социальная структура, появляются новые формы практической жизни, но все это рождается из фундаментальных основ национального характера.

По мнению многих западных наблюдателей, в современной России меняется только декорация. Сцена остается той же. Так, журнал «Ньюсвик» назвал статью 1994 года о России «Россия, замороженная во времени»: «Необычайные изменения происходят сегодня в России. В то же время, миллионы русских думают, работают и живут так же, как они жили в течение многих поколений. Этические ценности, предубеждения и страхи, формировавшиеся поколениями, не могут измениться за один день, как бы население ни выражало свое негодование в адрес порочности ушедшей в прошлое советской власти и как бы радикальны ни были бы реформы, проводимые Кремлем».

Понимание своей культуры соответствует пониманию себя отдельным человеком, т.е. психоанализу, и может быть не менее болезненно чем психоанализ. Приходится ставить под сомнение идеи и идеалы, кажущиеся единственно возможными. А это требует не только большого мужества и внутренней честности. Для этого необходимо научиться смотреть на себя со стороны. Чтобы видеть себя объективно, необходимо знать более широкую реальность, чем собственный внутренний мир. Нужно представлять жизнь других миров, ставить себя в ряд с другими людьми.

Сопоставление с другими далеко не всегда приводит к пониманию самих себя. Ни многолетний опыт жизни внутри своей культуры, ни длительность пребывания в иной культуре (скажем, иностранного гостя в России, или русского иммигранта на Западе) не гарантируют глубину понимания различных культур.

Как отмечает американский антрополог Рэймонд Кэррол в своей книге «Конфликты культур. Французско-Американский Опыт»: «Человек может прожить в стране много лет, свободно говорить на ее языке, иметь множество друзей, постоянно делать сопоставления между «они» (какие-то странные люди), (они идиоты, выродки) и «мы» (наша культура намного более правильна чем их) и быть не в состоянии осознать и сформулировать основные отличия своей культуры от культуры другой страны».

Тысячи книг написаны о России иностранцами, но большей частью их авторы говорят не столько об основополагающих чертах русской жизни, сколько отражают особенности собственного национального мышления.

Сегодня, когда Россия стоит перед вопросом, в каком направлении двигаться — избрать американский путь или следо-

вать в русле русских традиций — сопоставление русской ментальности с западным мировоззрением является насущно необходимым.

Естественно, в коротком журнальном эссе невозможно объять необъятное и сколь-нибудь полно раскрыть особенности русского национального характера. В нем просто делается попытка дать читателю представление о двух взаимосвязанных сторонах русского общественного сознания: об идее русской Правды и отношении народа и власти. Это — фрагмент из обширной антологии: «Русский и американский характер. Попытка сравнения», насчитывающей около двух тысяч страниц и основанной на анализе более, чем 250 публикаций антропологов, социологов, психологов, лингвистов, историков и дипломатов, писателей и журналистов.

Русский патриотизм

В том, как проявляется патриотизм в каждой культуре, отражаются свойства национального характера. Русский патриотизм отражает русский национальный характер: органическое совмещение крайностей. Самозабвенная любовь, отрицание всего остального мира во имя Великой России совмещается в русской душе с самоуничижением и презрением к своей стране.

Это не есть явление сегодняшнего дня. В 20-е годы нашего века Николай Бердяев отмечал: «Русские почти стыдятся того, что они русские, им чужда национальная гордость и часто даже, увы! чуждо национальное достоинство».

Более 100 лет назад Чаадаев прокричал свои проклятия России. Но в этом крике прочитывается и страстная любовь к своей стране: «Я конечно презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство». Можно было бы отметить, что Чаадаев был отщепенцем, изгоем, что он выражал только мнение одиночки. Чаадаев, однако, был отлучен от общества не за свое мнение, а за то что высказал его публично. Вяземский, например, как и многие другие представители русской интеллигенции, испытывал те же чувства, что и Чаадаев, но не решался на их публичное высказывание. Он сделал это в конфиденциальном письме Тургеневу: «Неужели можно честному русскому быть русским в Рос-

сии?.. Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России — такой, какой она нам представляется... Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, проказами, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя».

Может ли человек Запада понять это переплетение взаимоисключающих чувств? Психология русских для иностранца непостижима. Невозможность понять русских, постоянный рефрен всех, кто писал о России. Реплика Уинстона Черчилля: «Россия это загадка, завернутая в секрет, которая лежит внутри тайны» многие десятилетия была расхожей на Западе.

Русская душа — загадка

Американский историк и дипломат, Джордж Кеннан, как и многие другие до него, останавливается в недоумении перед феноменом русской жизни: «Россия остается сегодня, как и всегда, загадкой для Запада. Американцы могут сказать, что это происходит потому, что «мы просто не знаем фактов о России». И они будут не правы. Наше непонимание не зависит от недостатка нашего знания об этой стране. Это происходит потому, что мы не в состоянии понять правды о России, когда мы видим эту правду. В предвидимом будущем, американцы, индивидуально или коллективно, будут продолжать удивляться лабиринту противоречий, в котором существует русское сознание, чувствовать себя также беспомощно, как Алиса в Стране Чудес...

Понимание того, что происходит в русском мире, может вызвать лишь резкое неприятие и раздражение у американца. Если он попытается подойти к проблеме конструктивно, он не найдет ответов на свои вопросы и не сможет прийти к каким-либо выводам, которыми он мог бы поделиться с широкой публикой. Наше сосуществование с Россией связано вовсе не с тем, что мы ее не понимаем. Силы, вне нашего понимания, руководят нашими действиями и формируют наши отношения с Россией».

Можно допустить, что для представителей другой культуры, иной цивилизации Россия представляется загадкой, что они не в состоянии найти те связи, которые соединяют Россию с Европой. Они видят только то, что их разъединяет, потому что не могут ощутить русскую жизнь изнутри. Однако, и Иосиф Бродский, для которого обе, русская и англоязычная культуры, были органической частью его внутреннего мира, отмечает: «У меня... сложилось впечатление, что любой опыт, исходящий из России, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности».

Запад есть Запад. Восток есть Восток

Непонимание Западом России, в определенной степени, связано с тем, что Россия всегда считала себя частью Европы. Россия не хотела быть Азией. Само слово «азиат» в русском словаре было ругательным.

Киплинг, который никогда не бывал в России, но встречался с русскими и чья сентенция «Запад есть Запад, Восток есть Восток» применяется и по сей день, видел, однако, русскую цивилизацию как срединную и потому особенно сложную для классификации и расшифровки:

«Как восточные люди, русские очаровательны. Но когда они настаивают на том, что они самый восточный из западных народов, в то время как в реальности они самый западный из восточных народов, тогда они становятся расовой аномалией и с ними становится невозможно общаться. Человек Запада никогда не знает какой стороной через минуту обернется русский — западной или восточной».

Сочетание черт западной и азиатской ментальности в русском характере ставит иностранцев перед непреодолимым барьером. Целый век разделяют Киплинга от американского журналиста Хедрика Смита, написавшего две книги о русской жизни в 1980-е годы. За этот век Россия стала совершенно иной, но и Хедрик Смит говорит о своих взаимоотношениях с русскими с неменьшим недоумением:

«Вы можете сидеть с ними за столом, и ваше первое впечатление, что они такие же как мы. Они носят те же костюмы, что и мы. У них те же модели часов, и они следуют западным модам. Они применяют западную терминологию и, как следствие, вы делаете неверное допущение, что человек, сидящий напротив вас, такой же как и вы, человек Запада».

Но объяснить реакцию европейцев одним непониманием нельзя. Это было, скорее, неприятие русской действительности и русской философии жизни. В то же время, те, кто критично относился к ценностям западной цивилизации, те, кто, видел в рационализме и прагматизме, западного сознания угрозу полноценности человеческого существования, был очарован Россией, и русскими. Источник очарования таких людей в спонтанной человечности русской жизни, в ее пластичности и объемности — в противовес плоскому прагматизму Запада.

Так, Стефан Грэм, английский антрополог, за два года пешком прошедший европейскую часть России в начале века, пишет с восхищением: «Для русских жизнь — тайная мистерия. Они не стремятся, упростить жизнь, и преклоняют головы, перед ее непостижимой сложностью. Запад видит жизнь как постепенную и логическую эволюцию, русские — как восхитительную фантазмагорию. Для Запада жизнь — прямой коридор, для русских — это лабиринт. Для Запада жизнь — строевой марш по накатанной дороге Прогресса. Русские видят жизнь как сложные пируэты мистической хореографии».

Основоположник американской лингвистики и знаток русской литературы, Эдвард Сапир отмечает в 1924 году: «Русские видят себя прежде всего не как социальные типы, не как существа, являющиеся частью цивилизации, а как личности, ценность которых имеет лишь косвенное отношение к цивилизации или культуре. Личность ценна сама по себе и существует только для себя. Элементарная человечность важнее всех достижений техники, экономики и культуры. Русский относится к цивилизации с немалым чувством презрения. Глубина внутренней жизни для него ценнее всех общественных институтов, и русский с трудом примиряется с любой властью общества над собой. Он отрицает все барьеры, которые общественные институты ставят между людьми, — все люди для него братья. Этому можно найти подтверждение на страницах произведений Толстого, Достоевского, Тургенева».

нева, Горького или Чехова. Многие герои русской литературы с недоумением смотрят на процесс вхождения России в цивилизованный мир. «И это то, что вы называете цивилизацией — это и есть жизнь?» — мы слышим, как они задают тот же вопрос тысячу раз».

Строительство жизни на принципах прагматизма, рационализация экономических и человеческих отношений является абсолютной необходимостью для создания материального комфорта.

В России, несмотря на неустроенный российский быт, все попытки рационализации экономики и человеческих отношений наталкиваются на особенность русского традиционного характера, непосредственность чувств и спонтанность человеческого самовыражения. Для русских свобода от каких-либо норм, социальных и экономических регламентации оказывается важнее материального благоустройства.

Карл Гютнер, немецкий социолог, один из тех, для кого неприемлема формализация, бюрократизация отношений людей, которые являются неизбежным следствием развития общества, ставящего перед собой прежде всего экономические задачи, пишет: «...мы не можем не повторить клише, что русские — это самые человеческие существа в этом мире, притягательные искренностью в своих пороках, своих добродетелях и бесконечным обаянием».

Непосредственность самовыражения, спонтанность чувств и действий имеет и другую сторону, не всегда заметную поверхностному наблюдателю. Николай Бердяев, для которого русский характер был ключом к расшифровке общественного развития и истории России, считает, что: «... в русской земле, в русском народе есть неуемная, в дурном смысле иррациональная, непросветленная и не поддающаяся просветлению стихия... В ней есть вечная мистическая реакция против всякой культуры, против личного начала, против прав и достоинства личности, против всяких ценностей...»

Русская культура — это культура крайностей. Она основана на противоречивых чувствах и желаниях, часто

как будто взаимоисключающих друг друга. Русское сознание принимает и грех и добродетель, не пытаясь отделить их друг от друга. Западная этическая логика проводит прямую разделяющую линию между пороком и добродетелью: все формы поведения рассматриваются с позиций Их практичности и эффективности.

Прямолинейная логика Запада оказывается несостоятельной перед феноменом органического переплетения противоречий русского сознания. Лишь те, кто принял крайности русского сознания как данное, способен понять повседневную психологию русских и, исходя из нее, объяснить события русской жизни.

Джордж Кеннан, бывший всего один год американским послом в Советском Союзе в 1954 году, один из тех немногих, кто понимал эту особенность русского характера, которая не только делает Россию антиподом Запада, но и создает непреодолимый барьер для взаимопонимания: «Мы не в состоянии понять роль, которую играют противоречия в русской жизни. Инстинктивная реакция англосакса исправить, сгладить противоречия, создать баланс между крайностями, найти какую-то среднюю точку, золотую середину, на которой можно жить. Для русского существует только крайности, и он вовсе не ищет золотой середины...»

....Американец никогда не сможет даже приблизиться к пониманию русской ментальности, пока не примет как данность существование противоречий и крайностей... Одна крайность неизбежно влечет за собой другую, противоположную. Крайности составляют единое целое Правды. Таким образом, нужно воспринимать русскую реальность не как привычную для западных стран жизнь, в которой все элементы сбалансированы, интегрированы в гармонический порядок, где найдено равновесие между разнообразными силами и интересами. Русская жизнь представляет собой неопределенный и постоянно меняющийся эквилибриум между многими конфликтующими силами».

Вальтер Шубарт, немецкий философ и литературовед, живший в Латвии перед Второй мировой войной, увидел

и проанализировал противостояние западной и русской философии жизни в своей книге «Русские и Европа», опубликованной в 1939 году: «Европеец ищет порядка во всем — в самообладании, в господстве рассудка над влечениями, он ищет его в государстве и в господстве авторитета. Русский же ищет противоположное. Душевно он склонен к безмятежности, вплоть до инертности, на государственном уровне — к отсутствию норм, вплоть до анархии. Западной любви к нормам у русских противостоит поразительная «нормобоязнь».

Шубарт и Кеннан говорят о контрастах русского характера с философской точки зрения. Они предлагают читателю интересные свидетельства, характеризующие русский национальный характер, различными наблюдателями: русским Бердяевым, чехом Милошем и англичанином Рикманом.

Николай Бердяев: «Ангельская святость и звериная низость — вот вечные колебания русского народа, неведомые более средним западным народам».

Чеслав Милош, чешский писатель, лауреат Нобелевской премии 1980 года: «Характерное качество русских — бесформенность и моральный хаос. Россиянин, зарезав кого-нибудь, способен проливать горькие слезы над своей жертвой. Зарежет да и поплачет. Фрейд, в своих заметках о героях Достоевского говорит, что они напоминают варваров эпохи переселения народов, варваров, убивавших, а потом кающихся в этом, — так что покаяние становилось приемом, расчищающим путь к новым убийствам, так же поступал Иван Грозный. Эта сделка с совестью — характерная русская черта. Мне кажется, что Фрейд преувеличивает сознательное начало в русском характере: скорее, убийство и покаяние спонтанны, стихийны, как и все поведение русских».

Джон Рикман, английский врач, работавший в России в 1917 году: «В городке, где я жил, четверо крестьян украли деньги, всю кассу общины и растратили их. Пойманные с поличным, они предстали перед судом общины, который присудил их к смерти. Их вывели на главную площадь, и жители городка, лишившиеся всего, что было накоплено за десятки лет, палками и камнями

забили воров насмерть. На следующий день их хоронили за общественный счет, толпа, идущая за четырьмя гробами, обливалась слезами. Семьи воров получили от общины право на пожизненное обеспечение».

Русская правда

Русская человечность и русская жестокость, общественные формы жизни и анархический индивидуализм, ощущение необходимости всемогущего государства и почти отсутствующее гражданское сознание, — все эти противоречивые качества русского сознания не могут быть объяснены без понимания уникальной религиозной идеи православия, продолжающей оставаться фундаментом русской жизни. Это — идея единой, универсальной Правды, противостоящей западной идее множественности мнений, западному плюрализму и рационализму как инструменту познания.

Джеффри Горер, английский антрополог о русской Правде: «Русская концепция Правды — это шар, окружающий нас со всех сторон. Правда едина и неделима. В ней не существует относительной истины или возможностей разнообразных аспектов или версий правды. Хотя Правда является последовательной системой, она не соответствует обычным стандартам западной логики. Правда включает в себя все возможные противоречия. Тот факт, что сегодняшняя Правда отличается от вчерашней или завтрашней, вовсе не означает что одна или другая перестают быть частью Правды. Правда включает в себя противоречия, и русские не только не пытаются снять эти противоречия, но не воспринимают их как противоречия».

Русская правда позволяет видеть мир в его органической целостности, в котором человек играет чисто пассивную роль. Изменение мира, вторжение в него силой логики и разума приводит лишь к его разрушению. Мир нельзя изменить, его можно только принять и жить по его законам.

Как пишет Вальтер Шубарт: «... (западный) человек обладает лишь специальным видением. Русский же владеет видением

универсальным. ... (западный) человек не видит органической всеобщности жизни, а лишь единицы, пункты, в лучшем случае, — сумму пунктов. В его глазах мир распадается на бездушные части, которые необходимо измерить.

В глазах русского Вселенная сливается в единое целое. Европейец, с его точечным мышлением, видит лишь осколки... Русский ощущает мир как совершенное и неизменяемое целое, которое он принимает и перед которым смиренно преклоняет колени. Универсальное виденье не есть нечто количественное. Его смысл не в том, чтобы знать больше, а в том, чтобы видеть вещи согласованно. ... (западный) человек — виртуозный знаток одной какой-либо области и совершенно безграмотен в другой. Русский же видит целое, но от него ускользают частности. Русские не могут делить, они не хотят довольствоваться частями. Они хотят получить все сразу. И, если это невозможно, они не делают ничего и не имеют ничего».

Шубарт и его единомышленники утверждают, что Запад сделал рационалистический анализ, хирургический подход к миру единственным методом понимания и таким образом закрыл один из важнейших источников познания: непосредственное чувство. Человек Запада использует линейную логику для познания объемного мира. Для того, чтобы искусственная система мира, построенная на логике, была достаточно стройной, он должен тщательно изолировать себя от реальных противоречий жизни и, как результат, оказывается в искусственном мире логических конструкций, отделенном от жизни природы.

Сегодня наука стремится выйти за пределы рационального знания, включив чувственное восприятие в свой арсенал. На определенном этапе развития рационального подхода, который продемонстрировал свои огромные ресурсы, Запад стал ощущать его ограниченность. После многовекового отторжения наукой всего, что не укладывается в законы рациональной логики, сегодня ученые обращаются за помощью к своему врагу — органической интуиции, эмоциональному методу. Это опять же характерно для Запада: найти компромисс, создать баланс между возникшими противоречиями.

Русское национальное сознание отвергает компромисс. Оно не принимает рационализм.

Лев Толстой: «Если допустить, что жизнь человеческая управляется разумом, то уничтожается сама возможность жизни».

Леонов, советский драматург, словами одного из героев пьесы «Вор»: «Мысль, вот где источник страдания. Того, кто истребит мысль, человечество вознесет в памяти своей».

М. Горький: «...иногда мне кажется, что русская мысль больна страхом перед самой собой, стремясь быть внеразумной, она не любит разума, боится его».

Казалось бы, что те огромные изменения, которые принесли в Россию индустриализация, современная технология и вторжение науки во все сферы жизни, должны были изменить и отношение к разуму, к рациональному познанию мира.

Татьяна Толстая, современная российская писательница не верит в разум как средство понимания мира: «Русская ментальность не основана на здравом смысле. Она не имеет ничего общего со здравым смыслом. Наше мышление не логическое, оно не основано на порядке логики. В западной культуре, в европейской культуре эмоция как средство восприятия мира воспринимается как неэффективное в сравнении с разумом. В России же наоборот. Человек, использующий рационализм и сухую стройную логику, воспринимается негативно. Он не может быть хорошим человеком. Хороший человек — это человек эмоциональный, теплый, легкий».

Эмоциональное отношение к действительности находит свое воплощение в повседневной жизни людей. Устойчивость этого качества российского мировосприятия, отношения к реальности, к фактам жизни прослеживается в разные периоды русской истории.

Джордж Кеннан. 80-е годы: «В российской ментальности не существует объективных критериев правильного и неправильного, реальность ничем не отделена от фантазии. Что это значит? Это значит, что правильное и неправильное, реальность и фантазия определяется не логикой или высшими силами, не законами природы и жизни — они определяются самим человеком. Сам человек определяет, что правда, а что ложь. Читатель, не смейся.

Это факт русской реальности. Если вы это поняли, то вы нашли путь, который приведет к пониманию того, что на первый взгляд кажется вздором, а на деле и есть загадка России».

Диллон, петербургский корреспондент английской газеты «Дейли Телеграф», проживший в России с 1870 по 1890 год: «Русские по своей психологической конституции не в состоянии ухватить связь между словами, действиями и вещами. Для них граница между ними очень туманна, она лишь воображаемая. Они не испытывают никакого уважения к фактам, они никогда не признают их окончательными и не пользуются ими для принятия решений.

Русский всегда готов опрокинуть любые факты, доказательность. Точность фактов для него не представляет ни малейшей ценности. Самые серьезные русские мыслители или русские законодатели могут начать дискуссию о том, где находится Ява, Борнео или Мадагаскар, не имея ни малейшего представления о их местонахождении. Они свободно переставляют целые страны или города туда, куда ведет их безграничное воображение. Факты географии, истории, экономики для русского нечто абсолютно субъективное, и он обращается с ними в соответствии со своим вкусом и обстоятельствами».

Свобода обращения с фактами, презрение к знанию, накопленному человечеством, характерное для русского сознания, органически переходит из повседневной жизни в политическое мышление как царизма, так и большевиков.

Николай Бердяев в «Русской идее» отмечает, что большевики мгновенно восприняли и приняли на вооружение идеи Гегеля, потому что они соответствовали русской православной традиции видеть мораль и Правду, как нечто, не поддающееся рационализации. То, что воспринималось как научные основы коммунизма, на деле было попыткой обосновать научными средствами традиционное общественное и политическое мышление — русскую идею Правды.

Правда единственна и абсолютна. Правда всеобща, она принадлежит всем и, в то же время, никому. Так как она не принадлежит никому и в то же время всем («народная правда»), то каждое частное мировоззрение

настаивает на своем праве быть принятым как всеобщее, универсальное. Каждый отдельный человек, чувствуя себя носителем единственной Истины, должен отвергнуть или уничтожить все другие позиции, которые истинными являться не могут — Правда единственна! Отсюда и всегда тлеющий в народной душе анархический зов к воле — право каждого на Правду, мандат каждого на любое насилие над остальными — неправда. Отсюда необходимость в силе, достаточной чтобы удержать Правду, оградить ее от посягательств миллионов претендентов. Такой силой может быть только государство, обладающее тотальной властью над всеми сферами жизни.

Тотальное насилие государства создает тот необходимый баланс, в котором война всех против всех продолжается уже мирными средствами, под неослабным контролем государственных органов. Когда сила, владеющая Правдой, слабеет или исчезает, начинается всплеск анархического духа; всеобщая война за Истину, в виде крестьянского бунта, революции, гражданской войны или хаоса периода социальных реформ.

Лозунг советского времени «Если враг не сдается, его уничтожают» — парафраза идеи абсолютной Правды православия, по сей день отвечает настрою российского общества.

Русская дилемма: народ и власть. Дилемма Запада: человек и общество

Уже после победы «демократии» в России, в 1994 году, оказалось, что русские демократические институты строятся на совершенно иных принципах, нежели демократия Запада. В своих попытках найти ответ на происходящие в России события, западные наблюдатели обращаются к политическим традициям. Так, например, Стивен Енглагерт, американский журналист, находит, что причина современного политического и экономического хаоса в стране идет от большевистских кор-

ней властвующей элиты: «Русские политические деятели инстинктивно становятся на колени перед теми, за кем они чувствуют власть. Они чувствуют любые изменения в смене власти задолго до любого иностранца. При демонстрации силы они пресмыкаются, при мельчайшем признаке слабости они сбегаются к добыче, как голодные волки. Каждый называет себя демократом и реформатором и обзывает других большевиками. Но все они ведут себя, как большевики, потому что не знают, как можно вести себя иначе. Они не понимают, как можно найти компромисс интересов. Их тактика — запугать, подмять противника и, если возможно, унижить. Тем не менее, в стране, где обычные конфликты политиков заканчивались для побежденной стороны тюрьмой или расстрелом, — это безусловно огромный прогресс».

Другой американский журналист, Розенталь, находит объяснение отношениям власти и народа в России, презрением правителей к управляемым ими низам общества: «Презрение к людям сделало возможным как в царский, так и в советский период русской истории превратить национальное богатство России в частную собственность верхних слоев страны. Сегодняшняя правящая элита воспитана на том же презрении к массам. Для них общественное мнение не значит ничего. Когда западные журналисты спрашивают их о том, как осуществляется контроль над их действиями, об их ответственности, отчетности перед публикой, они воспринимают саму возможность подбоя акций как преступление, которое можно приравнять к предательству Родины».

Западные наблюдатели применяют к России критерии ей несвойственные. Они оценивают происходящее в России исходя из западного принципа отношений индивида и общества (государство представляет интересы общества и является самим обществом, в то время как российская система построена на взаимоотношениях народа (индивидуальность не имеет самостоятельной ценности) и власти, которая представляет не интересы общества, а интересы правящей верхушки.

За несколько веков до создания прочных форм рус-

ской государственности, построенной в отличие от западных форм не на компромиссе интересов различных социальных групп, а на прямом и откровенном грабеже слабых сильными, Давид Флетчер, английский купец, путешествуя по России 16-го века, жившей во внегосударственной общинной форме отношений, пишет:

«Низы, видя грубое и жестокое отношение с ними главных должностных лиц и других начальников, так же бесчеловечно поступают друг с другом, особенно со своими подчиненными и низшими. Так что самый низкий и убогий крестьянин, унижающийся и ползающий пред дворянином как собака, облизывающий пыль с его сапог, делается несносным тираном, коль скоро получает власть».

Естественным для любого человека Запада, не знакомого с фундаментальными основами русского общественного сознания, был бы вопрос о том, почему же в сегодняшней России, с ее свободой прессы и политического выбора, избиратели не передадут власть более достойным представителям. В сознании Запада свободное волеизъявление народа должно привести к социальной справедливости и общественной гармонии.

Российский сатирик Михаил Жванецкий, наблюдавший события тихой революции 1991 года: «Как все стали кричать «свобода», и я вместе со всеми пошел смотреть по лицам. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Ты ему запрети все, чтоб он нарушал. Это он понимает».

Евгений Носов, еще один свидетель событий 1991-го года: «Толпа не имеет лица. В этом я убеждаюсь, глядяываясь на телевизионном экране в бушующие людские массы... По первому кличу и опять же от нечего делать, из одного желания поразмяться, поднять шухер, они уже готовы перевернуть, разбить, опрокинуть, двинуть кому-нибудь в ухо, рубануть по черепу арматурным прутом или намотанной на руку цепью».

В русской психике существует, с одной стороны, требование неограничиваемой ничем свободы, с другой, необходимость сильной власти, которая могла бы обуздать неконтролируемые силы внутри человека. Этот феномен хорошо объясняет реальная история, описанная в Санкт-Петербургских Новостях 60-х годов прошлого века.

Весной в Петербурге лед на Неве стал подтаивать, стало опасно переходить по льду на другую сторону. Губернатор приказал поставить полицейский пост на берегу и останавливать тех, кто попытается выйти на хрупкий лед. Крестьянин начал переходить Неву, несмотря на крики полицейского. Вскоре лед треснул, и крестьянин, оказавшись в ледяной воде, начал тонуть. Подбежавший полицейский сумел вытащить его и дотащить почти бездыханного на берег. Когда крестьянин очнулся, вместо того чтобы благодарить полицейского, крестьянин стал ругать его: «Что же ты своей работы не делаешь», — кричал он. «Как это не делаю? Я ж тебе кричал «Стоять! Провалишься!» Крестьянин: «Кричал? Надо было палкой по голове».

В понимании Запада государство находится на службе у общества. Интересы каждого отдельного человека являются составной частью интересов общества в целом. Традиции западной демократии не возникли сегодня, они начали формироваться еще во времена феодализма.

Каждая группа населения обладала гражданскими правами, которые были оговорены законом. Власть правящей верхушки была ограничена общественным договором. Ограниченность прав низших классов приводила в каждую новую эпоху к пересмотру общественного договора. Изменения общественного договора отражали изменения в экономической структуре общественного устройства, от которого отходили концентрические круги в политику, культуру и в повседневные формы жизни.

В истории России никогда не существовало ни гражданских прав, ни какой-либо формы общественного договора, основанного на экономических интересах различных групп населения. Эпицентром русской жизни всегда была политика, т.е. борьба за власть.

Экономические отношения формировались не интересами отдельных групп населения, а строились на иерархической структуре власти. Кто обладал большей силой, властью, тот и получал больший кусок общественного пирога. Экономика всегда являлась лишь пассивным

отражением того, что происходило в сфере политики. Только принадлежность к власти могла принести материальное благополучие. Чем выше уровень власти, тем больше размер доходов и привилегий.

Принципу этому — много веков. И на каждом новом этапе он воспроизводит себя, неся все то же содержание, все те же архаические традиции русской жизни, заложенные в самой идеологии народа, в православии, какие бы секулярные формы оно не принимало.

Александр Зиновьев говорит в своих работах о православной идее, делающей насилие единственно возможным инструментом отношений в обществе, живущем вне-экономическими интересами.

«Человеческая природа такова, что, если его не наказывать, то он нарушит все человеческие и божеские законы: человек — это ребенок, которому необходима постоянная опека и надзор. Во имя его же блага его нужно наказывать, чтобы приучить к порядку. В этой системе необходима фигура все видящего, все понимающего и всемогущего Отца, заботливого Батюшки-Царя, который берет на себя всю полноту ответственности за происходящее, который милует и карает.

...Вера в нравственную правоту насилия над индивидуальной волей основана на чувстве вины каждого перед Высшей Правдой, порожденной сознанием собственного бессилия перед злом. Человек чувствовал, что и сам живет не по Правде, что зло присуще ему лично... Батюшка-Царь и Отец народов выполняли определенную роль в пьесе, которую для них написало массовое сознание. Они были лишь марионетками, выполняющими народную волю...

Уже то, что все группы населения (в сталинский период русской истории) без исключения были жертвами террора (соблюдение равенства!) придавало террору оттенок как бы акции справедливого возмездия мировому злу, которое притаилось в каждом и только ждет своего часа... В самих массовых репрессиях, в которых пострадали миллионы простых людей, принимали миллионы других простых людей, причем одни и те же люди часто играли роль как палачей, так и жертв. Эти репрессии были проявлением самодеятельности широких масс населения».

Русская система архаических ценностей отвергает ценность отдельных людей и их способность изменять жизнь к лучшему. Только насилием можно заставить людей

участвовать в созидательном труде и быть добрыми друг к другу. Социальное равенство и социальная справедливость могут быть достигнуты, таким образом, равным распределением насилия на все группы населения. Советская власть была истинно народной, она довела русскую идею равенства до своего логического конца: равенства в нищете и праве всех на насилие над всеми.

Власть принадлежит всем и никому

При отсутствии экономического интереса отдельных людей и групп в социальной стабильности, только демократизация насилия является гарантией прочности общественного, внеэкономического договора. Как пишет Георгий Федотов:

«Власть в сознании масс могла быть только тотальной. И она ею стала. В тотальной системе власти все снизу до самого верха бесправны... Крестьянин или рабочий, стоящие на нижней ступени, также не в состоянии защитить себя перед властью, как и начальник, принадлежащий к правящей элите. (Родственники лидеров страны Молотова, Кагановича и многих других были сосланы, расстреляны, и никто из этих всемогущих людей не мог ничего изменить. Тотальная власть общества над индивидом была сильнее.)»

В тоталитарном обществе власть не может быть персонифицирована — она принадлежит всем и никому. Тоталитаризм Советской власти был смоделирован с крестьянского мира, где никто в отдельности не имел четко сформулированных прав, но где общество (сход, вече) имело неограниченную власть над жизнью и благополучием каждого отдельного члена.

Каждый может в какой-то момент быть властью и каждый — потенциальная жертва этой власти. Широкое распределение власти внутри общества создавало ощущение справедливости любого акта насилия, так как он был молчаливо или громогласно санкционирован массой. Жертвы насилия могли обвинять в своих несчастьях конкретных людей, но эти конкретные виновники не

представляли «истинной советской власти» — власть не принадлежит никому, она народная.

Российское сознание всегда видело террор как средство лечения социальных пороков. Народная Воля и эсеры были лишь видимой частью айсберга этой всеобщей веры в насилие, глубоко уходящего в народную почву. Выдержка из газеты периода покушения на Александра Второго: слесарь «с закопченными руками» говорит: «Спуску много давали. Всех бы передушить». Через 45 лет толпы кричали: «Убивать кулаков! Они нелюди...»

Принципы западного либерализма, уважение к человеку, его мнению и праву на независимую экономическую деятельность (о чем на русской земле уже два века мечтает российская интеллигенция) глубоко чужды русскому традиционному сознанию.

Западные идеи — гражданские права и независимая экономическая деятельность — противоречат российским представлениям о ценности человека лишь как части общины, внутри которой он равен как в своих человеческих, так и имущественных правах.

О враждебности западных демократических принципов русскому общественному сознанию, пожалуй, ярче, чем кто-либо другой, сказал Жан-Пьер Кап, французский писатель, который провел 3 года (1914—1917) в немецком лагере с русскими военнопленными:

«Русский, в принципе не приемлет либерализма, вся его природа протестует против либерализма. Поэтому можно понять глубину его ненависти к англичанам. Англичанин спокоен и силен в своей уверенности в себе, он вооружен британской «Хартией вольностей», за которой он чувствует себя в полной безопасности. Первое, о чем он думает, — это бизнес, и о том, как обособиться в этом мире с удобствами.»

Англичанин прям, пустоват, ограничен и безжалостен. Его жизненная миссия — строительство комфортабельной жизни. Нельзя найти ничего более неприемлемого для русского. Англичанин — его полная противоположность... В России нет социального движения, идущего от индивида, движение создает масса.»

Если Жан-Пьер Кап прав, то русская либеральная интеллигенция не сформировала никакого социального

движения. Она только следовала движению, которое создавала масса. Необходимость переустройства жизни по западному образцу, ценности западных демократических свобод, — вся политическая лексика российской интеллигенции 20 века, говорила о Западе как об образце для подражания. Но ничто не могло быть более чуждо русскому национальному сознанию, чем ценности демократии, и хотя русская интеллигенция была так «далека от народа», она была его частью и несла в себе те же качества русского мышления.

Борьба всех против всех

Николай Бердяев отмечал, что славянофилы и Достоевский такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Религиозный анархизм Льва Толстого питался из того же источника. Бердяев же нашел и ответ на причины российского анархизма: «Русский народ как будто хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве...»

Вся история России — это история заговоров против верхов, бунтов, восстаний, в которых прорывалась наружу постоянно тлеющая ненависть к любой власти. Заговоры и конспирация против власти и властей против народа существовали как органическая форма отношений в русском обществе — борьба за власть всех со всеми.

На Западе борьба между людьми проходит в виде экономической конкуренции, кто может больше создать и кто может больше продать.

В российском обществе, где никогда не существовало выработанных механизмов экономических отношений, место экономической конкуренции занимает конкуренция в борьбе за власть в форме заговоров и конспирации. Борьба за власть в России и есть борьба за экономические интересы.

Труд никогда не приносил материальное благополучие в России. В атмосфере всеобщего произвола приходил

более сильный и отнимал. Только власть могла принести реальное, устойчивое улучшение экономических позиций. Заговоры были и есть повседневная форма взаимоотношений между различными группами, сообществами и отдельными людьми. Заговоры и конспирация — вовсе не изобретение коммунистов. В России это такая же характерная черта повседневных взаимоотношений на коммунальной кухне, в семье или конторе.

Заговоры, восстания, революции, смены власти ничего не меняют в веками складывающейся психологии народа. Все эти события — лишь рябь на воде. Современная русская ментальность несет в себе все те же черты архаической крестьянской общины, мира. Истина принадлежит народу (народная правда), т. е. принадлежит всем и никому конкретно. Земля должна принадлежать всем и никому конкретно. Вся власть должна принадлежать одному лицу — Государству. Демократия в российских условиях может означать только анархию.

Выходом из анархии может быть западный принцип формализации норм жизни, но он антипод русской идеи. Каждый отдельный член общества — частица огромной общины-Россия, в которой права личности не определены, нормы неясны.

Права и нормы формируются не законом, отражающим добровольный компромисс между многообразными интересами, а свободной игрой своеволия миллионов людей. В этих условиях насилие над другими становится инструментом выживания.

Уровень защищенности от хаоса русской жизни зависит от уровня принадлежности к власти, и лишь абсолютная власть дает абсолютную защищенность.

В сталинские времена в борьбе за власть так или иначе участвовала большая часть населения. Стремление каждого отхватить свой кусок общественного пирога (при том, что все определялось не экономическими критериями, а лишь раскладом карт в той азартной игре за власть, в которую играла вся нация), приводила к массовым доносам, массовым расстрелам и массовому одичанию.

Насилие является, однако, частью сознания любого народа. Можно вспомнить войны эпохи Реформации, взрыв ненависти, унесший в могилу треть населения тогдашней Европы, или американскую Гражданскую войну, в которой за 4 года погибло столько же, сколько на полях сражений Второй мировой войны. Разница лишь в том, что насилие и всеобщий произвол всегда, во все времена, составляли важнейшую часть русской повседневной психологии и практики жизни. Коммунизм привнес в эту традицию русской жизни размах 20-го века, с его эффективностью и организацией.

Из актов произвола — общественный порядок

150 лет назад один из наиболее внимательных наблюдателей русской жизни, Маркиз де Кюстин, путешествовавший по России эпохи Николая Первого, отчеканил формулу, которую можно применить ко всем периодам русской истории: «Из актов произвола каждого частного лица возникает то, что зовется здесь общественным порядком...»

В атмосфере всеобщего произвола, чтобы обеспечить себе личную безопасность и необходимый уровень материального благополучия, нужно взобраться по спинам и головам, на ту площадку, где человек менее доступен произволу других. Сохранить доминантную позицию можно, лишь убедив оставшихся внизу в том, что сила и есть закон, что сила и есть Правда, что смирение перед силой и есть добродетель, что смирение — это нравственная победа.

Любая власть от Бога и неподчинение ей — это неподчинение Богу. Что бы ни делала власть, все ее действия освящены небесами. Эта формула логически приводит, в конечном счете, к выводу, что сила и есть Бог, сила и есть Правда. Сила диктует законы обществу и узаконивает каждое свое действие. Сила и есть сам закон. Поэтому закон в России никогда не являлся понятием юридическим.

Идея абсолютной, единственной Правды — только абстрактный догмат православия и догмат русского коммунизма. Это форма видения мира, она является движущей силой общественных процессов, идея правды находит свое воплощение во всех повседневных человеческих отношениях.

Истину обществу может дать только абсолютная, тоталитарная власть. Тотальная власть своим огромным давлением порождает обратное движение: жажду воли, анархии. Тотальная власть приводит к сосредоточению всех богатств в немногих руках, что в свою очередь ведет к грабежу, как единственно возможной в этих условиях форме перераспределения. И сам бунт против несправедливости заканчивается сосредоточением богатств опять же в руках силы, в руках самых безнравственных и самых наглых. Для того, чтобы удержать награбленное, бунтарям-победителям необходима снова тоталитарная власть. Общественное согласие в этой системе может быть достигнуто лишь принятием побежденными идеи православия. Страдание — неизбежное составляющее человеческой жизни.

Православная церковь в течение многих веков вызывает к смирению, культивирует страдание и самоуничтожение как высшие добродетели. Католицизм и протестантизм Запада выдвигал святых-героев, борцов за истину, справедливость и добро.

Русскими святыми стали убогие, нищие, униженные и оскорбленные. Страдание воспринималось как духовное очищение: приобщение к моральным высшим ценностям. Таким образом, насилие над другими и страдание от насилия других было легализовано. В общественном сознании насилие всех над всеми, страдание как органическая часть бытия и сострадание к жертвам насилия — этот клубок противоречий и есть естественный и неизменяемый порядок бытия.

Главный инструмент общественных отношений — язык — отражает эти крайности русской национальной психологии: насилие, надругательство над другими и глу-

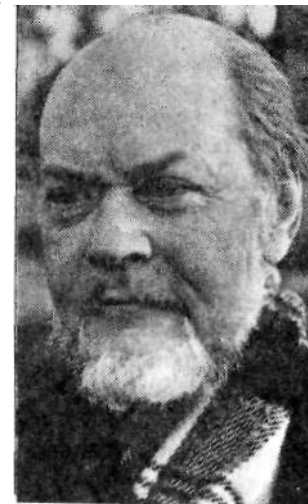
бокое внимание к другим сосуществует в нем органически.

С одной стороны, это отражается в способности русского языка описывать тончайшие нюансы внутренней, духовной жизни. (С ним не может сравниться ни один из языков Европы.) С другой стороны, русский словарь ругательств настолько изощрен, богат и эмоционально насыщен, что и в этом он достигает вершин, недоступных другим языкам.

Что отличает русскую ругань от ругани других народов мира — это широчайший набор выражений, направленных на унижение, надругательство над достоинством личности. Широта этой сферы русского языка, в сравнении с другими языками, говорит о необычайной значимости унижений в отношениях между людьми.

Для людей с чувством собственного достоинства — а их становится все больше в России — насилие и унижение как общепринятые формы жизни вызывают резкое отторжение. Из неприятия бытовых форм вырастает протест тех, кто хотя бы на шаг отошел от общинных, архаических форм русской жизни. Это протест против надругательства над личностью. Во имя ее прав и подлинной свободы.

ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО.
КРИТИКА



Лев АННИНСКИЙ

СПАСЕНИЕ ИЗ БЕЗДНЫ

Комментарий к Солженицыну
Пolemические заметки

«Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: ЗАЧЕМ нам ЭТОТ дар?»

А. Солженицын. Нобелевская лекция.

Надеюсь, читатель понимает, что я цитирую А. Солженицына не ради гностического спора. Меня интересует внутренний духовный статус одного из крупнейших писателей XX века. Разумеется, на семистах страницах первого (и главного) тома его «Публицистики» рассыпано множество мыслей, которые хочется подхватить, проверить, оспорить. Что я и сделал впервые в январе 1996 года на страницах одной из газет. После чего на страни-

цах одного из журналов мне было указано, что «рассыпать» тексты Солженицына на отдельные высказывания нельзя, а надо либо проследить ПУТЬ его мысли, либо взаимодействовать с СИСТЕМОЙ его философии, и если уж оспаривать, то именно ЦЕЛОЕ, а не «набор цитат» по меняющимся поводам.

«Путь» проследить, конечно, можно и на этом пути все повороты мысли объяснить. Но мне интереснее другое: «кривизна жизненного пространства». Кривизна траекторий, по которым мы летаем с нашими прямыми мыслями. Если хотите, кривизна как черта реальности. Верно, что «феерический набор раздерганных высказываний» выдает в человеке больше, чем «система», хотя критик, уличивший меня в таком подходе, усмотрел тут только «ловкость рук словесного жонглера».

Правильно: жонглер — мой любимый образ: «Жонглер Господа!» Я не откажу себе в удовольствии вернуться к этому образу позже, а пока, чтобы не отвлекаться, займусь все-таки «высказываниями». Рассыпая солженицынский трубный глас на ноты, я попытаюсь обозначить общий регистр. Конечно, когда пророк трубит о бытийной катастрофе сущего, неудобно спрашивать о том, что за ближайшим поворотом, но поскольку все мы оббиваем себе бока именно на ближайших поворотах, то поневоле всматриваешься в «руки», передающие тебе очередную приговор, по свершении же срока ощупываешься: исполнилось ли?

Итак:

Соединенным Штатам предсказано в 1973 году близкое *«великое расстройство»*.

Не сбылось.

«Великие европейские державы перестанут существовать как серьезная физическая сила».

Существуют, и ни в зуб ногой.

«Жадная цивилизация «вечного прогресса» захлебнулась и находится при конце».

Что-то непохоже. Опять хитрый Запад вывернулся? И мы его очередной раз «догоняем»?

«Мировая война уже пришла и уже почти прошла, вот

кончается в этом году, — и уже проиграна свободным миром катастрофически».

«В этом году» — это в 1975-м. Приговорен Запад к проигрышу в «холодной войне», а не внял и войну выиграл.

Ну, а проигравшие?

«Совмещение марксизма с патриотизмом? — бессмыслица. Эти точки зрения можно «слить» только в общих заклинаниях, на любом же конкретном историческом вопросе эти точки зрения всегда противоположны».

Так ли уж противоположны?

«А как мы вырастили Мао Цзэдуна вместо миролюбивого Чан Кайши и помогли ему в атомной гонке?»

А Дэна миротворца — не «мы» вырастили?

Не подумайте, что я зациклен на фактах (Мао очень хотел участвовать в атомной гонке, и очень надеялся, что «мы» его в этом отношении поддержим, да вот бомбы «мы» ему так и не дали: Сталину, которого Солженицын считает «бездарным», хватило геополитической зоркости, и «идеология» ему не позастыла!), но я не об этом. Я о соотношении уровней в публицистике Солженицына. Он все время впарывается в материи, над которыми вроде бы высоко летит. Сигналит «вождям»: вы прохлопали то-то и то-то. Как будто от вождей 70-х годов, бессильных стариков, сильно зависели те процессы, о которых он ведет речь. Да они оцепенели, замерли в ожидании удара и боятся что-нибудь стронуть — как бы корабль на ходу не развалился. А он им: не так сидите, да и корабль не тот. Демографические фронты стоят по Амуру: сто китайцев на одного русского! А он им: не того «вождя» кормили! Много они могли выбирать, кого им кормить.

Главный магический пункт, почти «пунктик» — не та Идеология!

Об идеологии

«Марксистская Идеология — зловонный корень сегодняшней советской жизни, и, только очистясь от него, мы сможем начать возвращаться к человечеству».

Очистились. Полегчало?

«Отдайте им (китайцам — Л.А.) эту идеологию!»

Отдали. Им хорошо, нам опять плохо.

И даже так:

«Вспоминаю как анекдот: осенью 1941: уже пылала смертная война, я — в который раз и все безуспешно — пытался вникнуть в мудрость «Капитала».

Не нахожу в этом ничего анекдотического. Посреди смертной войны человек продолжает конспектировать Маркса — это акт упорства, верности долгу, интеллектуального мужества — независимо от того, мудр или не мудр автор «Капитала».

И точно так же, независимо от его мудрости, — если уж «Капитал» оказался тем топором, из которого сварили суп, так этот суп и есть реальность. Раз вокруг какого-то стержня скрепилось, значит, это УЖЕ реально. Потому и «пытался вникнуть» — чувствовал.

Могло скрепиться вокруг другого стержня?

Могло. В 1917 году было две идеологии, за которыми реально пошла бы масса: большевистская и черносотенная. Победила первая — и прикрыла собой все: всенародную казарму, тотальную воинскую повинность, удушение отклоняющихся, — то есть всю ту реальность, которую Россия получила вместе с Мировой войной из «Рук», которых «не успела разглядеть». А победы в ту пору «Союз русского народа»? Казарма устроилась бы под хоругвями, и уклоняющихся душили бы под другие, немарксистские акафисты.

Верила ли коммунистическая власть в коммунистические догматы? Первое время, может, и верила. Но марксизм столько раз выворачивался сообразно практическим нуждам, и уже по первоусвоению так был адаптирован к русской почве, в пору же строительства «развитого социализма» уже настолько ритуализовался, что истинность Самого Передового Учения интересовала разве только ископаемых безумцев и... Александра Солженицына, который осенью 1941 года продолжал честно штудировать «Капитал».

Психологически его можно понять и после 1941 года, то есть в 1973, когда написано «Письмо вождям Советского Союза». Пыта-

ясь перевернуть мир, писатель ищет ту единственную точку опоры, которая находится в сфере его досягаемости: словесную. Он убеждает себя, что именно это — главное, решающее, реальное препятствие. Сдуть словесную пену, и все пойдет к лучшему!

Сахаров с трезвостью естествоиспытателя возражает: пена не имеет значения, все это лицемерная болтовня, которой правители прикрывают жажду власти.

Вот рухнула она в одночасье, эта система словесная, и когда уже рухнула, никто не пожалел о ней, и легкость, с которой от нее все отвернулись, свидетельствует о том, что в этом вопросе ближе к истине был академик. Но интересен пункт, в котором оба они: академик и писатель — сошлись: это — их прикованность к этажу власти: к «правителям» и «вождям». Один убежден, что все дело во властолюбии правителей, другой увещевает их перестать верить в Идеологию.

Да они и не верят. Но шкурой, звериным инстинктом знают, что надо за нее держаться, — чтобы не стронуть лавину. Они не хуже Солженицына чуют опасность, нависшую над страной. И не только они, от решений которых, как думает увещевающий их писатель, зависят судьбы народа. Все — миллионы людей в городе и в деревне, в цехах и в бараках, в саунах и в «курилках НИИ» повторяют пустые ритуальные заклинания, зная, что это пустые ритуальные заклинания. И «вожди» их повторяют — не из «жажды власти», а из чувства безопасности. И миллионы людей ждут от «вождей» такого ритуального повторения.

Почему ждут? А из того же чувства безопасности. Ведь не один же Солженицын задумывался: разорвись «сетка лжи» — какой окажется правда? А такой, что иной возьмет винтовку и поедет с ней, куда считает правильным. Вот и едут сегодня, да не с винтовками, а с автоматами и гранатометами. Межнациональные драки идут там, где раньше сковывала людей ритуальная «дружба народов», — уж тут точно по предсказанию Солженицына все рвануло. И, как он предупреждал, — «безграничная свобода дискуссий» разоружила-таки страну и привела ее на грань «капитуляции в непроигранной войне». Так это не один он предчувствовал, но и «вожди» наши, лгавшие народу, и миллионы людей, ждавшие от них этой лжи. Они только, в отличие от Солженицына, не имели ни таланта сформули-

ровать это так ярко, ни свободы выкрикнуть на весь мир, презирая опасность последствий.

Они последствий боялись. Потому и запрещали рвущийся наружу крик. Потому и Сахарова загоняли в горьковскую глушь, а Солженицына — за рубеж. Пятились, пятились, уклонялись от правды, цеплялись за ложь, про которую все прекрасно знали, что это ложь. Ложь во спасение. Ложь, которая, увы, уже не спасает.

Но сколько-то спасала же?

Спасала.

О правде и лжи

Великий японский писатель Акутагава вскрыл этот механизм в одной фразе: когда вождь лжет, и страна знает, где, как и почему он лжет, так это все равно, как если бы он говорил чистую правду.

Великий русский писатель Солженицын одною же фразой решил иначе:

«Жить не по лжи!»

В основе этого лозунга — идеальное, «математическое» понимание реальности: есть правда и есть ложь, и все, что не правда, все — ложь. Для уравнения — замечательно. Для публицистической парадигмы — достаточно хорошо. Для реальной жизни — никак. Потому что в реальной жизни правда и ложь перемешаны, и определять нужно: где что? — каждое мгновение заново. Одно и то же утверждение может быть правдой и ложью в зависимости от контекста, а контекст — многослоен, многосложен, изменчив. Хуже того: правда может служить лжи, играть роль лжи, быть ложью. И еще того хуже, сложнее, коварней: ложь может играть роль правды, быть правдой. Быть жизнью, жизнью множества людей, и уже поэтому быть правдой.

Я отлично знаю, какие капитальные расхождения кроются за этим «гносеологическим спором». Вы считаете, что семьдесят советских лет — тупик и обман, а я считаю, что этап. Страшный этап, кровавый, тюремно-лагерный, военно-казарменный. Независимо от того, какой «ложью»

он прикрыт: марксистской, антимарксистской, красносотенной, черносотенной, ортодоксально-православной или староверской. Знаете другой путь? Рискнули бы повести?

— *Как только услышишь от оратора ложь, тотчас покинь заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс...*

Хочется переспросить: а кто установит точно, где кончается ложь и начинается правда?

Ответ: а ТЫ САМ и решай, как тебе говорит твоя совесть!

Но ведь тогда призыв «Жить не по лжи!» — сплошная абстракция. Какой смысл в общем правиле, если один позову совести двинет пострелять в горячую точку, а другой — с телеграфного столба начнет срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей?

Образованщина

Ах, да, речь-то обращена не к этим двум монстрам, а к третьему: к «интеллекту».

Попробуй однако найди его: грани размыты, объем раздут, смысл искажен, самосознание смутно. Кто угодно напозлз в это звание.

«Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовется интеллигентом партийный агитатор и политрук».

Это из статьи «Образованщина». Главная же мысль Солженицына: интеллигенции больше нет. И он изобретает хлесткую кличку для тех, кто занял ее место: «Образованщина».

Приклеилось. Даже если бы в работе была удачной одна эта кликуха, — осталась бы в истории публицистики, но это и вообще одна из лучших работ Солженицына: несмотря на яростную односторонность сверхзадачи — это образец сбалансированно-точного понимания.

По этапам. Русская интеллигенция раскачала Россию на революционный взрыв и погреблась под нее обломками. Поделом? Допустим. Та, что не погреблась, пошла служить Советской власти и — как следствие — потеряла

предназначение, растворилась в массе, дала себя подменить сервильной обслугой. Опять поделом? Та, прежняя, была лучше, честнее? Но ведь она «раскачала», «подожгла» — вы что же, хотите, чтобы еще раз? Нет? Тогда терпите эту. Но ведь «эта» — вошла в систему лжи и... и... витиевато повторяя официальную ложь, укрепляя эту ложь, тут же, втихаря, на «кухнях», приладилась над этой ложью издеваться.

Опять плохо...

Да, отвратительно, заключает Солженицын. Из чего следует: лучшей судьбы «образованцы» и не заслуживают.

А они, может, ее и не просят, лучшей. И вывод-то из блестящего анализа напрашивается совсем другой: сколь ни «исчезает» интеллигенция под «обломками», сколь ни «травится» ложью, сколь ни переименовывается, ни размывается, ни подменяется самозванцами — партократами — комиссарами, — а «что-то» в этом «месте» все равно остается. И возникает опять. Как когда-то вербовались в «свято место», то есть в эту страту прокаженных всякие отщепенцы, «лишние люди», изгои — из дворян, священников, рабочих, да хоть из самой царской фамилии, вот так и в советское время заражались интеллигентностью попавшие в ее поле выдвинуты-образованцы. Я сам — из таких: в «полуторном поколении», даже не во втором, — пусть будет земля пухом моим родителям, типичным образованцам-самозванцам, политрукам, полуинтеллигентам: я на их горбу вылез в это славное звание.

Юродивый, скоморох — вот «интеллигент» на Руси в доуниверситетскую пору. В университетскую пору они из университетов же и поперли — «не кончив курса», — пошли, безумцы, страну раскачивать. И нынешние полузайки-полудурки никуда не денутся: их той же радиацией облучит, из кого бы ни наберовались.

И вот внук «политрука», «комиссара», проникнувшись высокими идеями, говорит скифскому Совету: «Отнюдь!», за что освистан, бит, согнан, как самый неисправимый интеллигент. А другой — сразу сам уходит. И дети его — «на корочке вырастают, да честными».

Не все дети, конечно. А из трех братьев первый — идет системе служить, второй — систему кормить, а уж третий — «неудачный» — о Причине Космоса думать, карту звездного неба к утру исправлять, над неисправимостью рода человеческого плакать, под ногами путаться, корочки подбирать. И попадает — в настоящую «интеллигенцию».

«Была б интеллигенция ТАКАЯ — она была бы непобедима».

Непобедима? Вот уж не думаю. Да она по определению — побеждаема, побиваема. Это ее удел. Не хочешь — выходи из интеллигенции. Бери палку, бей сам. А не можешь бить — готовься. Только не зацикливайся на том, кто тебе конкретно будет вправлять мозги и ломать кости «в каждой конкретно-исторической обстановке»: опричник с собачьей головой у седла, латыш со штыком, мадьяр с пистолетом или парторг зоны с великой стройки. Ибо жребий не переменится оттого, чьими слепыми руками он будет исполнен.

Яйцо из курицы или курица из яйца!

Однако поглядим, что принес нам этот жребий, и откуда все это нам прилетело.

«Неудача социализма в России не вытекает из специфической «русской традиции», но из сути социализма».

Это — в статье «Сахаров и критика «Письма к вождям».

Спор великого писателя с великим ученым насчет того, что из чего вытекает, можно было бы отнести к разряду прений о том, что из чего рождается: яйцо из курицы или курица из яйца, — если бы за спором о русском социализме не стояла бы наша боль, и жертвы, и гнетущее сомнение, что напрасны, бессмысленны эти жертвы.

Решить спор однозначно — не выйдет. Он решается в «ту» или в «эту» сторону в зависимости от точки отсчета.

Если взять за точку отсчета «социализм», то при такой точке отсчета весь ужас и все безобразия того социализма, который осуществился в СССР, придется всецело отнести на счет неуменяемо-безответственной «русской специфики».

Но Россия существует тысячу сто лет, из которых только последние сто окрашены социалистическим цветом, и тогда все ужасы и безобразия этого последнего века на Руси надо считать результатом того безумного учения, которое занесли в наши благодатные просторы неуменяемые марксисты.

Но почему ни в Швеции, ни в Австрии, ни в Израиле социализм не дал таких диких результатов, как у нас? Значит, это «русская почва»... Пошли по кругу.

«Конечно, побеждая на русской почве, как движение не могло не приобрести русских черт!»

Конечно. Но — учитывая нашу «соборность», нашу страсть к немедленной и полной справедливости, нашу мистическую тягу ко всему «всемирному», к «последнему смыслу», наш, как пишет Солженицын, «общительный русский характер», — как же было не увлечься нам всемирным коммунизмом, как не усмотреть в нем разрешение мировой загадки, как не приобрести социалистических черт!

С какого конца будем бить это яйцо: с тупого или с острого?

И вот, когда доходит до дела, Солженицын откладывает в сторону вопрос о том, что из чего «вытекает», и просто заслоняет от ударов то, что ему дорого.

«Удары будто направлены все по Третьему Римуда по мессианизму, — и вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добивает в лоб и в глаз — давно опрокинутое, еле живое русское национальное самосознание».

Называйте его как хотите: национальное, интернациональное, многонациональное, — но это миллионы живых людей, связанные общей судьбой, ищущие смысла своих усилий, — и по какой бы «отметине» вы их ни лупили: по «имперской», «советской», «московской», «русской» или «российской», — вы бьете по живому.

Это вот чувство живого несломленного народного целого, которое сейчас испытывается на слом, — главный нерв солженицынской публицистики. И до всяких конкретных рецептов и даже до всякого диагноза, — эта боль определяет у него все. Чувство кризиса, критической точки, мертвой точки, в которой находится народный организм. И — сберечь его во что бы то ни стало! Любой ценой сберечь живое народное целое.

Как его назвать? По какой отметине?

И чего это будет стоить? «Спасти Россию ценой Рос-

сии?» — как сказал другой русский прозаик, Г. Владимов. И что спасем? Будет ли это — Россия? И как спасать в такой смуте?

Уйти в земство, — говорит Солженицын. Нет, выйти на некий универсальный путь мировой цивилизации, — говорят «мондиалисты», «атлантисты» и прочие оппоненты Солженицына то ли справа, то ли слева.

Тычемся — в живое. И притом спорим, куда упираться и что переворачивать. Знай успевай каяться.

«И если мы теперь жаждем — а мы, проясняется, жаждем — перейти наконец в общество справедливое, честное, — то каким же иным путем, как не избавясь от груза нашего прошлого, только путем раскаяния, ибо виновны все и замараны все?»

Каяться лучше лично

Коллективное раскаяние — тот же армейский марш-бросок, хотя и по новым ориентирам. Замараны, разумеется, все и виновны тоже все. «Все» — это перед «небесами». Вот там и будут судить. И карать. Если же спуститься с небес на землю, то все хоть и виновны, и замараны, а — по-разному. И каяться лучше — не всем миром, не скопом, не стадом и не марш-броском по команде, — а лично. По интимному, глубоко-внутреннему импульсу.

Юридическое наказание, как и признание, — это другая реальность. Очень хитроумная. То есть, не найдешь концов: закона, эта юридическая ответственность, виновного и замаранного должна настичь. Я помню, когда пришли из лагерей первые реабилитированные, мы, тогдашние «шестидесятники», по младости тем террором не задетые, кинулись к страдальцам с сочувствием, а от них — громом поражающим — ярость реванша: «НЕ ТЕХ покарали! Надо было НЕ НАС, надо было — КОГО СЛЕДУЕТ!» Да ведь в семь слов вбивая в лагерную мерзлоту бесконечных врагов, ИЗ СЕБЯ ЖЕ делаемых, — в семь слов карали тех, кто за мгновение до этого — сам карал в полной уверенности, что наводит СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Как заметил Тейяр, чистая совесть — по определению невозможна.

Как написано у замечательной поэтессы Людмилы Титовой:

**Что ж мы будем сегодня раскапывать,
Утопая в кровавой росе,
Кто какую закапывал заповедь,
Если разом нарушены все?
Нет концов — и расспрашивать нечего,
Из могильных глубин — стон и гул.
Молча два поколения ответчиков
Свой печальный несут караул.**

Путь к спасению

Но возвращаюсь к мысли Солженицына.

Итак, мы жаждем, наконец, перейти в общество справедливое и честное.

Интересно: когда, кто, где жаждал перейти — в нечестное и несправедливое? Да прямой вор, таща кусок срезанного со столба провода, и тот скажет, что он поступает по справедливости, потому что на столбе — «ничье», а у соседа есть, и вообще почему он — «вор»? Вор возможен там, где есть собственник, у которого крадет вор, а если мы отменили собственность ради единства, то тем самым мы и понятие воровства отменили, что и скажет вам от чистого сердца и вполне по чистой совести всякий пойманный у нас на Руси.

Так не «справедливое, честное» мы теперь общество выбираем. А выбираем мы — путь спасения. Спасти хотим.

«... Избавясь от груза нашего прошлого».

Но кто сказал, что будущее будет лучше? Не о том речь, чтобы в рай попасть, а о том, как неизбежный ад вынести.

Когда ад становится адом? Когда его так называют. Когда им — цель замещают.

«Главной целью коллективизации было — сломить душу и древнюю веру народа».

Нет, я думаю, что главной целью коллективизации было другое. Миллионную армию создать. Миллионную

армию — накормить. То есть: из деревни вытащить все молодое, сильное — и под ружье. Всю махину кормить, изготовившуюся к мировой войне. Надрываясь за колхозные «палочки». Кто уклонялся — к стенке. Или в Сибирь. Станичника так станичника. Мужика так мужика. Из всей этой пестроты делали безжалостную армию. Скифский вариант, жуткий, кровавый, страшный. Так война ж была неизбежностью!

Почему?

К Господу-Богу вопрос. Я не знаю. Да сам Бердяев не знал ответа. Писал: Господь-Бог с болью и любовью смотрит, как его любимые дети: немцы и русские — убивают друг друга.

Не «сломить душу» хотели большевики — укрепить душу хотели. До стальной твердости.

Правы они были или нет — этот вопрос не решить, пока не решен другой главный вопрос: должны ли были русские погибнуть как народ в двух мировых войнах Двадцатого века или должны были отбиться?

Историческая усталость

После работ Ульянова и Гумилева — прошу учесть, что речь идет не о «том» Гумилеве, который был застрелен при «том» Ульянове, а о сыне расстрелянного, Льве Гумилеве, и о Николае Ульянове, историке, никакого отношения к Ульянову-Ленину не имеющем, кроме того, что он сбежал из основанного Лениным государства — так вот: из работ этих историков видно, что никаких «чистых» русских, «пра-русских», «изначально-русских» и «собственно русских» не было, а русские как народность и как нация сложились в результате тех «всемирных задач», которые в этом евразийском пространстве пали на южных и восточных славян, на угров и тюрок, — это если говорить об основных «племенах», а ведь обрусевало всякое племя, попадавшее в этот круговорот, и огромное количество пришельцев, кончая евреями, которые, по остроумному выражению современного публициста, отлакировали этот сплав.

Дело не в крови, конечно. Дело в исторической закономерности, в скрещении путей, в наличии «жил», по которым неизбежно должна пойти чья-то кровь.

«Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать свое горе в себе, так надо и русскому народу: побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома».

Дадут ли нам — уединиться? Оставят ли — наедине с собою? Да и мы — сможем ли одни? Русский человек, во все хрестоматии мира вошедший как образец общительности и всепонимания (оборотная сторона медали: гений обезьяньего подражания), — сумеет ли сам-то прожить «без соседей и гостей?» Любую «имперскую концепцию», вылезшую на кончик пера какого-нибудь идеолога, можно опровергнуть с кончика другого пера, но ведь не концепциями умников все это тысячу лет держится, а подпором снизу: тем, что «русское» изначально рождено на «Млечном пути» и тем же млеком вскормлено. Принять на себя крест Третьего Рима, несколько столетий волочить его, проклиная, создать культуру мирового уровня и звучания, костеря элиту, которую для этого пришлось кормить, — и, вложив в дело столько любви и ненависти, — бросить все это и успокоиться в качестве «этнографической единицы», которая сама себе равна, и только! — и вы думаете, что миллионы русских так легко дадутся на эту лоботомию?

Эти дадутся — другие на их место мгновенно явятся. Место такое. Набегут.

«Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности».

А и выбегать не надо — в твой собственный дом вбегут. Сталин все собиравшись выбежать, да не успел — и бежал потом в обратном направлении, до Волги. Ах, если бы все было так целомудренно между «домами» на «улице», называемой Историей, а то ведь то оттуда сюда бегут (набег), то отсюда туда (ограниченный контингент федеральных сил для восстановления конституционного порядка и законности). И что самое подлое: и с той, и с этой стороны — предельно близкие друг другу люди действуют. Ну, просто из одной курсантской роты вышедшие.

Не беру уж чеченское обоюдное остервенение, — о вот «Аф-

ган», горькая точка слома от мира к войне в 1980 году. Оно, конечно, черт понес, полезли не в свой огород, оккупанты и т.д. Это — в масштабе «ситуации». А если — глянуть вперед, «через столетие»? Напор Юга, изнеможение Севера. Геополитический фронт гнется. И тогда «афганская авантюра» предстает в другом свете: как попытка упредить. Слабая попытка, неудачная. И мальчишки наши, на костылях вернувшиеся оттуда, покалечившие души и тела «ни за что», предстанут героями, которые первыми вызвали на себя удар.

Кто утолит нынешнюю безысходную печаль о них? Кто все это взвесит? Не мы, наверное. Но та самая «Рука», которая бросает нам жребий.

И мы ее, естественно, не успеем разглядеть.

Народ за слово голосует

«Суть коммунизма — совершенно за пределами человеческого понимания. По-настоящему нельзя поверить, чтобы люди так задумали — и так делают».

Однако задумали. Делают. И хотя суть «за пределами», — на семистах страницах тома своей «Публицистики» Солженицын эту суть десятки раз пытается определить.

Вот определения. Коммунизм — это то, против чего в России с 1917 года объединились все: «от кадетов до правых социалистов». Все против него объединились — а он шагает — «через горные хребты и океаны, с каждым ступом раздавливает новые народы, скоро придушит и все человечество». Зачем? «Спросите раковую опухоль — зачем она растет? Она просто не может иначе». «Это — как инфекция в мировом организме». Это — «тотальная враждебность всему человечеству...» Без лучших или худших «вариантов». Это — «мировое зло, ненавистное к человечеству». Это то, что хочет «захватить всю планету, в том числе и Америку».

Да что же это, что?

Да вот то, что шагает, давит, растет, захватывает. Перемахивает хребты. Топит баржи с пленными на Волге в 1919 году, расстреливает крымских жителей через одного в 1920-м.

Я отвлекусь немного от «Публицистики» А. Солжени-

цына и брошу взгляд на теперешнюю «постсоветскую» реальность. Советской власти нет, диктата партии нет, оболванивающей пропаганды нет. Напротив, есть яростное втаптывание в грязь всего того, что напоминает о коммунизме.

И коммунисты на всероссийских выборах в Думу собирают в этих условиях больше всех голосов.

Спрашивается: за что люди проголосовали? За возврат к казарме? Нет, к казарме (если, конечно, не война) никакой Зюганов страну не возвратит. Да он и не собирается: по трезвому разуму он, похоже, хочет нормальной социал-демократии.

Впрочем, народ в эти социальные и демократические тонкости наверное не очень вникает.

Так что же, народ... за слово голосует?

Да! За слово! За слово «коммунизм», которое стало духовным символом, определило жизнь и смерть нескольких поколений. Вы можете сколько угодно доказывать, что слово ничего не значит, что оно нерусское, нехорошее и непонятное, то есть «за пределами понимания». Но оно уже стало символом народной веры, и это не повернуть. Отказ от слова делает человека в глазах людей — предателем. Именно оскорбленность тем, с какой легкостью вчерашние «коммунисты» принялись втаптывать это слово в грязь, заставляет людей голосовать — за «слово». И Зюганов, имеющий мужество за «слово» держаться, становится избранником, хотя он мало похож на коммунистического вождя, да и вообще на вождя в старом понимании.

Это — душевный инстинкт, не знающий возрастных границ — не дать осквернить то самое «распльвчатое», находящееся «за пределами понимания» слово, с которым связалась народная идея, а лучше сказать, народная мечта.

Так что поэту Александру Межирову нечего стыдиться стихотворения «Коммунисты, вперед!» В свете нынешних событий, именно этим стихотворением он, наверное, и останется в истории русской культуры.

В своей ненависти к коммунизму советского, большевистского («большевицкого» — пишет он) образца Солженицын не учитывает «вечной» ипостаси «коммунизма».

В человеческой психологии есть некоторое «место», «ниша» для грезы о счастье и справедливости. Когда стараниями археологов истоки «коммунизма» от Мора, Кампанеллы и прочих приснопамятных предшественников Маркса отодвинулись аж к древним пражристианским общинам, — это было не более странно, чем то, что коммунистические учения в форме ересей зарождались, как правило, в религиозных кругах. Как и то, что «коммунизм» на площадке малой общины всегда может осуществиться в какой-нибудь точке реальности, в секте, в семье, в киббуце. Как и то, что у русских с этим словом слилась вечная и неосуществимая греза о справедливости.

Все остальное: марксизм, большевизм, ленинизм, сталинизм — только формы того, как корезилась мечта, соприкасаясь с русской и иной реальностью. Можно Ленина схоронить, Сталина выкинуть из гроба, большевиков выковырять из Кремлевской стены, всю историю Советской власти объявить тупиком и ошибкой, можно Маркса опровергнуть по пунктам — народ все стерпит (ибо народ, в отличие от Солженицына, «Капитала» сразу не читал), а «коммунизм» останется — именно потому, что он — «за пределами понимания».

Доктрина Монро на русский лад

Но тогда от имени Солженицына-художника и историка хочу задать вопрос Солженицыну-публицисту: так что же, эта треклятая революция, принесшая на своем хвосте «коммунизм», какими-то особыми бесами к нам занесена? Какое-то абсолютное «Зло» прискакало к нам в Россию «через хребты и океаны»? Или это сама Россия дошла до такого состояния в прежнем своем развитии, когда никто в ней не захотел либо не смог жить по-старому?

Первый том А. Солженицын венчает фундаментальной работой «Русский вопрос» к концу XX века», завершённой в Вермонте как раз перед возвращением в Россию. Это уже вам не отдельные «высказывания», это — концепция.

Концепция, кардинальная идея работы в общем виде: сейчас главное — сберечь русских как народ, прекратить растрату национальной энергии на пустые или чуждые задачи: «мировые», «европейские», «панславистские» и т.д. Вечно совалась Россия в чужие дела, втягивалась в посторонние интриги, из-за чего внутри себя никогда устроиться не могла. Пора сконцентрироваться.

Такая «доктрина Монро» на русский лад.

Отчего же, однако, вечная наша пагубная саморастрата?

Это и прослежено: от первых Романовых до последнего генсека, «самого неискреннего», искавшего «как сохранить... коммунизм», с «обычной большевицкой тупостью» гнавшего страну в гибельное «ускорение» и в результате «протоптавшегося, потерявшего семь лет».

Насчет Романовых оставим в конце концов историкам, а вот про генсека кое-что и сами помним. Неискренний? Да. Тупость? Нет, извините, что угодно, только не это. Чужая опасность, боялся развала, оттого и крутился, и хитрил, и топтался, и «лгал во спасение». За «ускорение» хватался? Лишь как за соломинку, нам привычную: и себя, и нас успокаивал. Семь лет оттягивал решение? Допустим, что это плохо. Ну, сменили нерешительного на решительного; тот рискнул: отпустил цены. И что же? Опять плохо! Кругом «зверское, преступное...»

Я повторяю: Солженицын — художник, он факты не излагает, а освещает: тут главное — аура текста. Аура такая: есть Россия, и есть бесконечная свора «правителей»: тупых, лживых, глупых, хитрых, подлых. Других не бывает.

Хочется спросить: они что, с Марса, что ли, на нас падают? Не сами ли мы «правителей» выдвигаем и терпим?

Курочат большевики страну — подлецы; собирают страну — опять подлецы. Угробили миллионы людей ради химеры.

Простите: если коммунизм — химера, то сколько можно с химерой бороться? А что, идеей панславизма или православия черносотенного другие «правители» не прикрыли бы такой же террор, который есть продолжение мировой войны? Где гарантия, что противники большевиков, приди они к власти в 1917 году, угробили бы меньше, — когда вооружены были все, и все рвались?

Да, плата за участие в мировой истории — смертельно велика. Ну, что, выйти из мировой истории? Как? Там же логика вакуума. Хотим мы этого или не хотим, нас ходом вещей «втягивает» в «европейские дела». А не втягивает нас, так «втягивает» других — против нас.

Автор «Русского вопроса» снимает шляпу перед нашими предками, что «в восьми изнурительных войнах лили кровь, пробиваясь к Черному морю». Интересно: а как бы они пробились, не «втягиваясь» в «европейские интриги»? Автор «Русского вопроса» трезво видит рубежи, замысленные для России «самой природой», и считает нормальным, что к концу XIX века Россия до этих рубежей дошла... А дошла бы — не «растрачивая» народные силы? Ведь нас иными силами сплющило бы (и плющит сейчас)? Автор «Русского вопроса» прогнозирует рост ислама: мусульманство в наступающем веке «несомненно возьмется за амбициозные задачи — и неужели нам в это мешаться?»

Да нас без спросу в это вмешают, вот в чем горе! А мы потом на правителей и навесим: зачем в «азиатские интриги» страну впутали, народ не сберегли?

«Правители», «правители»... За четыре века их сотни сменились, и одни только подлецы. Взгляда от них публицист оторвать не может. «Вожди» решают. А мы что же? А мы — пропадаем.

Ясный и точный перечень бед, от которых мы пропадаем, в «Русском вопросе» такой: ворюги воруют, мужики пьют, бабы не рожают. Я бы еще уточнил: что не рожают — не вся беда, а вот когда рожают и младенцев бросают, ладно еще на чужое крыльцо, а то и на помойку... сами же идут гулять дальше...

Ну, и что нам делать? Казалось бы: не воровать, не пить, детей — растить. Так ведь невозможно же! Почему? Что

такое над нами тысячу лет висит: не можем никуда «на микроуровне» сдвинуться?

Рискну ответить, а то самое и висит. Это не мы воруют, пьем и безобразничаем, это нас «вожди» заставляют. А мы их за это ненавидим. Все — по той самой модели, которую со свойственной ему мощью и воссоздал Александр Солженицын, но не как вольный публицист, а скорее как невольный художник, среди идей и химер обрисовавший наш с вами психологический портрет.

Религия с отрицательным Богом

Ричард Пайпс полагает, что шанс навести порядок, опираясь на народные массы, имели две силы: черносотенцы и большевики. Или — «Союз русского народа», или — союз крайне левых, сплотившихся вокруг Ленина.

Солженицын первый Союз в расчет брать отказывается: там «все дуто, ничего не существовало».

Правильно! оказалось — дуто. Потому что из двух возможных путей общество выбрало — революцию. Выбрало потому, что так решила — интеллигенция. И решила правильно. И создала, вернее, помогла оформить в лозунги и учения то всеобщее ожидание очистительной грозы, которым были охвачены все.

Тогда и возникло то магнетическое пространство, то пронизывающее влияние, то всеобщее гипнотическое состояние, которое Солженицын называет «Поле». *«Мощным либерально-радикальным (и даже социалистическим) Полем»*, которое сгущалось много лет и десятилетий, задолго до того, как призрак коммунизма принялся бродить по Европе, и тем более до того, как он стал перемахивать через хребты и океаны.

Чем же это Поле губительно? Тем, что оно — безбожно. *«Люди забыли Бога, и оттого все»*. Это для Солженицына — последняя точка в портрете эпохи и решающий ее порок.

Если привередничать в формулировках, то надо бы все-таки различить Бога и попа. То есть религию как ощущение

ние всеобщей связи и церковь как общественный институт, эту связь выстраивающий. Ненависть была не к Богу — ненависть была к попам и церкви. Но у идеологов — и к Богу, конечно. Так что Солженицын правильно пишет:

«В философской системе и в психологическом стержне Маркса и Ленина ненависть к Богу — главный движущий импульс».

И еще более прав он в следующей характеристике коммунистической идеологии:

«Вместо религии она предложила саму себя».

Так! Потому она и стала «вместо религии», потому и оказалась непреодолима для рациональных доводов. Или, как русские философы ее определили: «религия с отрицательным Богом». Там все и наложилось, слилось, спаялось: «вековая мечта человечества», «Опоясание царство», «печка для Емели», «щучье веление — мое хотение», «всенародный учет и контроль» (осуществленный, наконец, В. Ульяновым-Лениным почти по «программе» Пайпса), «всеобщая воинская повинность» (исламский элемент в системе) и: «совесть наша принадлежит партии» (тоже, между прочим, исламский элемент: вера определяет не только душевную, но и всю повседневную жизнь). Так или иначе, выплавилась в России религиозная (но — антицерковная) система, которая захватила и народную душу, и народную жизнь.

А что на «кончике пики» повисло странное словцо «коммунизм», — так это уж историческая деталь. Вокруг слова или вокруг имени тогда только и собирается энергия, когда есть... Поле. Вокруг «Будды» или «Авраама», «Мохаммеда» или «Христа». А то и вокруг «Михаила Архангела». Или вокруг «Маркса».

«Развал изнутри»

И вот сидит писатель Солженицын в Вермонте на зеленой горе и пишет, обращаясь к американцам через журнал «Foreign Affairs»:

«Коммунизма нельзя остановить никакими уловками»

детанта, никакими переговорами — его может остановить только внешняя сила или развал изнутри».

Это что, подсказка? И удачная? «Военную силу» американцы применять не стали, не такие они дураки, как Гитлер, а насчет «развала изнутри», кажется, дело удалось, и Россия, без всякой горячей войны с Западом, проиграла и отдала столько, сколько и в войнах не теряла.

Александр Исаевич Солженицын хотел другого. Он вовсе не звал американцев на нашу голову (волка — на собак). Он только хотел добра России — так, как он это добро и эту Россию понимает. Он хотел освободить Россию от коммунизма так, как освобождают лошадь от всадника.

А если это не Всадник? Если это — Кентавр?

Конечно, Кентавр — странное существо, трудно объяснимое по законам науки, а уж когда оно скачет по историческому Полю, — к Дарвину апеллировать бессмысленно.

Только к Богу: почему? почему? почему? почему?

«Почему люди, придавленные к самому дну рабства, находят в себе силу подниматься и освободиться — сперва духом, потом телом? А люди, беспрепятственно реющие на вершинах свободы, вдруг теряют вкус ее, волю ее защищать и в роковой потеренности начинают почти жаждать рабства? Или: почему общества, кого полувеками одурманивают принудительной ложью, находят в себе сердечное и душевное зрение увидеть истинную расстановку предметов и смысл событий? А общества, кому открыты все виды информации, вдруг впадают в летаргическое массовое ослепление, в добровольный самообман?»

Вопросы — явно ко Всевышнему, хотя обращены вроде к слушателям английского радио. Отвечать на такие вопросы не полагается. Но я попробую — на все четыре «почему».

Потому что люди, «придавленные к самому дну рабства», не внешней силой к тому придавлены, а прежде — своим же внутренним решением, пусть и вынужденным, своей готовностью стерпеть внешнюю гнущую силу.

Потому что в обществе никто никого не может одурманить принудительной ложью, если к такой лжи это общество не предрасположено; одурманивают-то — такие же люди, тем же обществом порожденные.

Потому что «все виды информации» — это в той же мере все виды дезинформации, ложной информации или просто лишней информации, которой люди, по верному соображению того же Солженицына, имеют право не знать.

А те, кто им наталкивает эту информацию в глаза и уши («открывают им глаза», или, как Бабель от имени большевиков доформулировал: «взрезают веки») — так эти информаторы такие же насильники, и от них впору спасаться, впадая в летаргическое оцепенение.

Солженицын против Солженицына

В Солженицыне-публицисте словно бы сидит «математик», и все никак не сведет счеты: раз Сталин коммунист, уничтожавший все русское, то как же он может оказаться вождем русского народа!?

Да вот так и может. По принципу: замахнувшись, не оглядываются.

Разумеется, в погонах Генералиссимуса Генсек ВКП(б) не делается ни лучше, ни человечнее. Самый крутой изверг именно и становится самым крутым военачальником. Войны вообще приятными людьми не выигрываются. И революции. Николай II, человек весьма приятный в личном общении, — тот и войну не выиграл, и просто «сдал» страну революционерам, не дожидаясь ультиматумов. Что Солженицын и показал с законной горечью. Да еще и приговаривал: ему бы, Николаю, пожестче быть, ему бы не жалеть и детей своих ради Державы.

Ну, так дождался такого, который не жалел. Ни своих, ни чужих. С ним и выиграла войну — смертельную. Теперь говорим: ах, эти люди жестоки, тупы, тоталитарны. «Сталинские зомби».

Правильно. С другими лежали бы мы все во рву.

Проблема — «морально неразрешимая». То есть, это

проблема для великого художника. Вот и Гроссман над нею бился.

И Солженицын бьется. Как ХУДОЖНИК. Как ПУБЛИЦИСТ — логику ищет. Куда как лучше, если бы Россию, ставшую коммунистической, освободил бы кто-нибудь от «коммунизма», но не задел бы при этом «русских». А то получается: пошел Гитлер бить коммунистов, а оказалось, что это русские.

И еще *«оказалось... что с запада на нас катится другая такая же чума»*.

Слово «оказалось» — для логически мыслящего публициста, конечно, спасительно. Должно было выйти по логике: или «добро», или «зло», а «оказалось» — черт знает что.

Сергею Булгакову легче было: тот все-таки за чистую Россию молил, и Солженицын сочувственно его цитирует:

«За что и почему Россия отвержена Богом?.. Грехи наши тяжелы, но не так... Такой судьбы Россия не заслужила».

Россия... а СССР? А за СССР вот так же взмолился поэт в то самое роковое лето 1941 года:

**Господи! Вступися за Советы,
Сохрани страну от высших рас,
Потому что все Твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас.**

Николай Глазков... Для Солженицына такое немислимо. Для него Россия и СССР — рассечены. Или — или. Категорически-импетативное мышление. И никаких «плюрализмов».

Итак, мир раскалывается, трещина идет через Россию. И вся наша история — не череда ли выживаний на границах эпох, цивилизаций, этнопотоков, систем, ареалов?

Мы должны просить себе другой судьбы? А те счастливые страны и народы, что не пали в «бездну», они что, в самом деле лучше нас? И их счастье нам сгодится?

Мучается этими вопросами великая душа, а математический разум тщетно силится измерить мучения и установить ту истину, которая — «одна». Бьется, бьется над государственными системами и национальными форма-

ми, столкнувшись с Россией в бездну, — как бы напасти избежать, а потом вдруг «оказывается»:

«...И в этом падении мира в бездну есть черты несомненно глобальные, не зависящие ни от государственных политических систем, ни от уровня экономики и культуры, ни от национальных особенностей».

Уже легче. На миру и смерть красна. Однако если имеется истина, которая «одна», то где же спасение из «бездны»?

P.S. О Жонглере Господа.

Был циркач; у него умирала дочка; он молил Бога о ее спасении. Когда она все-таки выжила, он, не зная, как отблагодарить Всевышнего, встал перед иконой Богоматери и стал делать то, что умел лучше всего, — жонглировать. И Богородица заплакала.

Эта легенда — моя любимейшая. Хотел бы я удостоиться такой чести — быть Жонглером Господа. Да хоть бы и Шутом Господа.

А вот Мечом в руке Господа — нет.

Так что правы мои критики.



В издательстве
журнала «**ВЕСТНИК**»
вышла новая книга —

Михаил ГОЛЬДЕНБЕРГ «Жизнь и судьба Соломона Михоэлса».

В книге использованы документы, стенограммы, выступления, письма Михоэлса из спецхрана бывшего Государственного архива Октябрьской революции и ЦГАЛИ. Как пишет в предисловии к книге Василий Аксенов, "документы, собранные здесь, воспроизводят жуткую атмосферу жизни артиста по со-

седству с огнедышащим драконом Кремля». Михаил Гольденберг хорошо известен читателям «Вестника». На страницах журнала публиковались отдельные главы из новой книги о Михоэлсе, живой отклик читателей вызвали его статьи о Михаиле Сулове (№25, 1993), Василии Гроссмани (№24, 25, 1994), Владимире Высоцком (№6, 1994), Владимире Набокове (№16, 1995), Исааке Бабеле (№3, 1996), Леониде Пастернаке (№8, 1996), Никите Муравьеве (№22, 1996) и др. **Цена книги — \$8.00. Стоимость пересылки внутри США — \$1.50, в другие страны — \$3.00.**

Подписывайтесь на всеамериканский двухнедельный журнал на русском языке «Вестник»! «Вестник» выписывают в 48 штатах США, в Канаде, России, Европе, Израиле, Австралии. Стоимость подписки на год (26 выпусков) в США и Канаде — **\$48**, на полгода — **\$25**. Во всех остальных странах стоимость подписки на год **\$59**, на полгода — **\$36**.

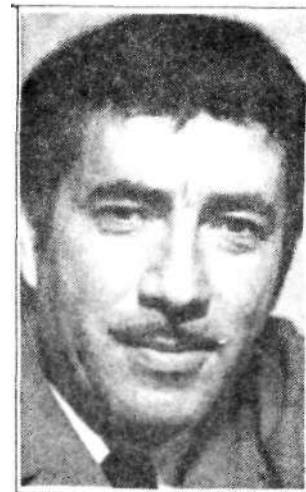
SPECIAL! С этим объявлением стоимость годовой подписки на «Вестник» для жителей США (26 выпусков) — **\$39.95***.

SPECIAL +! При подписке на год на «Вестник» по цене \$39.95 книга М. Голденберга высылается **бесплатно***.

Желающие заказать книгу или подписаться на журнал могут прислать чек или мани-ордер на адрес редакции: **Vestnik, 6100 Park Heights Ave., Baltimore, MD 21215-3624, USA.**

Принимаем основные кредитные карты.

Справки и заказы по тел. **(410) 358-0900.**



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ЛАРРИ ФЛИНТ В ПЕРЕВЕРНУТОМ МИРЕ

Что отражает художник?

Мне кажется, что американское кино уже давно тоскует по свежему взгляду. Взгляду пришельцев. Взгляду эмигрантов, не раз вливавших свежую кровь в американское общество. И уже по одной этой причине фильм Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта» не мог не привлечь к себе внимания.

Постановщик его — как раз и есть режиссер-пришелец, чех, эмигрант, хорошо известный американскому зрителю по его «Кукушкину гнезду», прогремевшему на весь мир. Показательно и то, что это первый фильм Формана об Америке, о ее острейших внутренних проблемах, к которым не так-то часто прикасаются американские режиссеры.

Фильм — необычен. Необычность — в его, так сказать, предмете — скандальный мир американского порнобиз-

неса. Во-вторых, в основу фильма положена реальная история, герой которой также не выдуман и даже сам написал книгу о перипетиях своего бизнеса, о своей судьбе и, в первую очередь, о постигшей его трагедии: от выстрела фанатика он в течение многих лет был прикован к постели, пока, наконец, перенес операцию, не вернулся к жизни.

Судя по всему, Милош Форман вряд ли считал себя связанным с книгой. Он стал автором совершенно нового произведения. Не случайно на вопрос, обращенный к реальному Ларри Флинту, каким бы он хотел видеть фильм и что, по его мнению, режиссер должен в нем сказать, Ларри в своем радиоинтервью ответил, что он настолько верит Милошу Форману, что заранее принимает все, что тот сделает.

Вопрос о том, что режиссер хотел сказать фильмом выглядит не очень корректным: от настоящего кино не требуется морализирования. Но странным образом именно этот вопрос мучительно встал передо мной, когда я вышел из зрительного зала. Как ни ломал я голову — все было безуспешно. Я воспринимал картину по частям, по эпизодам и находкам, восхищаясь игрой Вуди Харрельсона, исполняющего главную роль, но полотно так и оставалось скрытым. Это не узнанная идея Милоша Формана (кожей я ощущал ее присутствие) так и засела во мне скребущей песчинкой. Куда ни кинь, получалось типичное американское кино — секс, порнография, насилие, тюрьмы, бесконечно сменяющие друг друга суды...

Трудно было уйти от мысли, что американское кино — это супербизнес и, конечно, кассовые сборы. Ну а что же Милош Форман? Чем покорило его этот Ларри Флинт, ставший героем фильма? Почему именно он, с его отвратительным и грязным бизнесом, шокирующим всякого порядочного человека? Причем тут его драма с многолетним параличом? И какую иерархию ценностей, вообще, предлагает нам постановщик фильма?

На минуту представил я, что задаю эти вопросы самому Милошу Форману, как бы от лица публики, или как говорили в той жизни, от лица «зрительской общественности».

И почти точно представил его ответ: «Ах, вы от меня слишком много хотите! Я же ничего не выдумывал, я ведь только зеркало, отражающее жизнь. А во всем остальном, господа, разбирайтесь сами».

Так бы, думаю, ответил любой настоящий художник, не любящий комментировать сделанное. И только слова насчет зеркала, отражающего жизнь, всякий раз, когда я с ними сталкиваюсь, задевают меня.

Хорошо, пусть все это «штучки марксизма». Пусть злополучный соцреализм. Но из чего-то художник рождается? Что-то и как-то отражает? Пусть не окружающую жизнь, пусть она, вообще, ни при чем? Но что тогда? Дай Бог памяти, у кого я это вычитал — то ли афоризм, то ли нонсенс: «Если художник что-то и отражает, то разве лишь самого себя!» Я бы добавил: и «свой взгляд на жизнь», чтобы создать нечто совсем новое. И пускается во все тяжкие, чтобы выстроить «вторую действительность». В этом смысле фильм Милоша Формана — не о Ларри Флинте и не о каком его порнобизнесе, все это лишь материал режиссера, щепень, необходимый, чтобы построить здание, в котором выразить и себя и свое отношение к миру — больше ничего. Американские реалии, американские типажи, американская юстиция, но увидено все это со стороны, тем свежим взглядом, который я бы сравнил со взглядом ребенка и которого, на мой взгляд, так не достает американскому кино.

Мы можем не соглашаться с подобной оценкой (американская критика ее, вообще, не замечает). А Милош Форман никому свой подход и не навязывает, а как бы говорит: «Я взялся показать американскую жизнь. Именно ее вы и видите».

Итак, все идет своим чередом, и американская глубинка предстает с экрана в совершенно будничной своей ипостаси. Но режиссер все время незримо присутствует, «пульсирует» в фильме, он как бы в живом мясе фильма.

В какой-то момент и зритель начинает чувствовать то, что давно известно постановщику. Что же именно? А прежде всего то, что мир совсем не такой, каким он нам представляется — не та юстиция, не та справедливость, не

те отношения между людьми — все то и не то! Так много вокруг нас несуразного, бесчестного и нелепого, что это, в сущности, уже другой мир (назовем его «перевернутым»), так сказать, «королевство кривых зеркал».

А что же зрители!

Мне кажется, именно в этом и состоит подход Милоша Формана, суть его философии, предлагаемой зрителю. И потому его фильм об Америке (несмотря на наличие всех атрибутов) не есть американский фильм, в котором как раз ничего перевернутого — все прямо и логично: если порно — так порно, если стрельба — так стрельба, если герой так герой, а главное оптимизм! А не какой-то там прикованный к коляске инвалид, юродствующий на суде, каким мы видим Ларри Флинта в конце драмы — то ли нормальный, то ли, вообще, сошел с ума... Да еще плюющий на суд и заодно на все ценности американской жизни. Вот и приходится продираться зрителю ко «второй действительности» режиссера, да еще без всякой перспективы укрепить свой оптимистический настрой и с хорошим настроением запарковать у дома машину.

Что ж, у людей, которые живут в этой стране, есть своя правда. А у создателя фильма — своя. Первые воспитаны на одной эстетике, Форман предлагает другую. И не так-то просто высечь искру из столкновения этих двух правд. Именно поэтому, думаю, придя на фильм Милоша Формана, я и оказался в полупустом зале. Такие залы, откровенно говоря, милы моему сердцу, — если бы на этот раз, рядом со мной не расположилась юная поросль штата Нью-Джерси, непрестанно «факающая» и шумно изничтожающая из гигантских пакетов попкорн.

Судя по ее поведению, в ней не проснулось ни искорки интереса к происходящему на экране. Ни блеска в глазах, ни бурной овации, вспыхивающей всякий раз, например, при появлении героев кинофильма «Рамбо».

Все это, как ни странно, напомнило мне годы молодости и такую же бескомплексную, как жевавшая подле меня попкорн, юную поросль, только не из штата Нью-Джерси,

а из знаменитого своими удоями молока Бронницкого колхоза «Заветы Ильича». (Воистину жизнь прекрасна в своей повторяемости: там через каждые два слова: «Ай фак ю» и здесь — сплошное «факание», там «факание» — на русском, здесь «факание» — на английском. Однако ж, разные, что ни говорите, эпохи: там жареные семечки, а здесь уже залитый маслом попкорн: цивилизация есть цивилизация!)

На этот раз все происходило в Ричфилде, в гигантском, на двенадцать залов киноцентре «Сони», администрация которого, обеспокоенная кассовым сбором от фильма Милоша Формана и, дабы на будущее компенсировать потери, почти на час затеяла показ кадров из истинно американских фильмов: с грохотом перестрелок, со взрывами бомб, с оскаленными челюстями вампиров (кумиров упомянутой поросли!), с бесконечными потоками крови. И вот проявив уважение ко вкусам зрителей, эдак элегантно перешли к фильму Милоша Формана, начавшегося, впрочем, также с выстрелов и с великолепно отснятой долларовой купюры, которую некто за кадром смачно засовывал в бикини к обнаженной «сирене».

Первый акт кинодрамы

Итак, темноватый и грязный ночной клуб, скорее даже притон, в которых никогда не испытывала недостатка американская глубинка. Все тут, как полагается, в таких заведениях. На сцене голые и не первой свежести девочки. А в зале, в окружении таких же бездельников, как он, совсем еще молодой и не лишенный обаяния Ларри Флинт, жуликоватый босс, не без интереса наблюдающий за выкрутасами нанятых им за гроши девочек.

Из пьяных откровений хозяина с дружками и собутыльниками мы узнаем, что дела у Ларри куда как не блестящи. Дружкам-то он признается, что из-за непомерных расходов заведения он разорен. Есть, правда, мысль, которая ему не дает покоя: как бы с большей выгодой использовать девочек? Например, заставить их в интересных позах

сниматься перед камерой и напечатав это, прилично заработать.

Порножурнал, который молниеносно состряпали и, дабы развеселить читателей, не без намека озаглавили «Хастлер», потерпел фиаско: 250 тысяч экземпляров вернулись непроданными.

Счастье привалило неожиданно, когда Ларри однажды вечером пригласили к телефону — то был воистину знак судьбы! — человек на другом конце провода предложил журналу фото первой леди страны в голом виде. «Первая» пуси Америки!» — в восторге потирает руки Ларри.

И вот за считанные дни продано 1 миллион 250 тысяч экземпляров «Хастлера». Рука судьбы делает простого парня из Охайо известным на весь штат издателем-миллионером, с личной резиденцией в 46 комнат, которые он с восторгом демонстрирует родителям.

Из фильма остается неясным, откуда у Ларри появились враги. Где-то в верхах происходят заседания, участники которых мечут громы и молнии. Взбешен сам генеральный прокурор штата. Но как буднично развиваются события! Безо всяких угроз, без слез и мелодрам. Стертая абсолютно сцена. В один прекрасный день в доме Ларри появляются два стража закона, и ему объявляется, что по приказу прокурора он арестован. За участие в организованной преступности. При этом никаких доказательств. Последние в создавшейся ситуации, вообще, не имеют значения. Доказательством является сам род деятельности арестованного, чрезвычайно опасный для общества.

Перед началом суда нашему герою предлагает свои услуги 27-летний адвокат Алан Айзикман.

— Вы что, специалист по порно? — иронизирует Ларри, не подозревая, что может получить от 7 до 25 лет тюрьмы.

А пока что суд в Охайо. Очень странный суд, на котором масса гнева и эмоций, но организованная преступность не упоминается почти ни словом — ни судьей, ни прокурором, ни даже адвокатом подсудимого. Прокурор говорит об опасности преступления Ларри Флинта: нравы общества, молодое поколение! Присяжные, как и положено, с отсутствующими лицами. А судья, чтобы прикончить под-

судимого, просит открыть журнал «Хастлер» на странице 77. И с победным видом демонстрирует присяжным картинку: «Санта Клаус преподносит на Рождество миссис Клаус свой изумительно мощный член!»

Напрасно адвокат распинается перед присяжными о Свободе печати и первой поправке к Конституции. С теми же сонными лицами, с какими заседали на процессе, представители народа вручают судье вынесенное ими решение.

— Мадам клерк, прошу зачитать вердикт высокочтимого жюри!

И мадам клерк торжественно зачитывает, что «высокочтимое жюри», тщательно взвесив все обстоятельства дела, признает подсудимого Ларри Флинта виновным в предъявленном обвинении.

Судья, явно недовольный поведением подсудимого в зале суда, определяет ему срок наказания — 25 лет тюрьмы.

На этом заканчивается первый акт кинодрамы «Народ против Ларри Флинта». Нет, не на этом, а, пожалуй, чуть позже, когда спустя пять месяцев, снова свободный и счастливый Ларри возвращается к любимому бизнесу. Он, как никогда, популярен. Его дружбы ищет известная в стране религиозная деятельница и сестра президента Картера. Чтобы быть ближе к Богу, Ларри торжественно принимает обряд крещения. Он на коне и в королевском одеянии. Он воистину могущественен. Вокруг нескончаемый праздник, его восторженные поклонницы, обернувши свои тела в американские флаги, торжественно поют кумиру аллилуйю.

Вторая действительность

О нет, уважаемый читатель, это не сатира! Все совершенно серьезно. И я так скрупулезно подробен, чтобы показать, как походя мимоходом, режиссер выстраивает свою «вторую действительность», как «королевство кривых зеркал» исподволь наполняется живым мясом жизни.

Милош Форман — не моралист, он художник, говорящий языком образов. И потому на экране все подлинное — от лошади, на которой по-королевски торжественно восседает Ларри, до звонко и мелодично распеваемой поклонницами Ларри аллилуйи. Все воспринимается как само собой разумеющееся. Просто Америка страна чудес! Не случайно ведь на первой леди страны, угодившей в голом виде в объектив, наш герой заработал миллион (и в придачу 25 лет тюрьмы). И за этот же миллион (внесенный в качестве залога) играючи выкупил себе свободу, став снова богатым и знаменитым. И вдобавок получил поддержку от Бога. Бог создал мужчину и женщину, чтобы нести им радость. Секс — это божий промысел, и он, Ларри Флинт, своим бизнесом делает людей счастливыми. Он — тот человек, через которого Бог осуществляет свой промысел. Воистину чудесны дела Господа в «волшебном мире», в котором действует Ларри Флинт и весь окружающий его мир, не видящий, чем он, этот мир, является на самом деле.

Чистота, рожденная в притоне

Как это часто случается, герой наш не предчувствует притаившегося за углом несчастья. Еще немного, и в него угодит пуля некоего неизвестного фанатика. На первый взгляд, Ларри — жертва случая. Ничего более. Случай подстерегает каждого из нас. Можно сказать и так. Но ведь через случай прокладывает себе дорогу необходимость (не так уж бессмысленна эта то ли Гегелева, то ли Марксова диалектика!)

Ведь неизвестный фанатик, стреляющий в Ларри (то ли из зависти, то ли от собственной никчемности, то ли завербованный Эф-би-ай), так вот, этот сумасшедший убийца — тоже частица мира, из которого давно изгнана логика, жалость и справедливость.

Теперь Ларри, на собственной шкуре, ощущает его жестокость. Не этот ли мир сделал из него полубога, а теперь он же приковал его к постели?

Какая бы тут не сработала диалектика — случайность,

необходимость или уродства этого лучшего из миров, — Ларри глубоко несчастен. Зрителю бесконечно жаль его. Но это так, на экране, а в жизни все с этим уже давно смирились (пристрелят ли какого-то Флинта, или президента страны!), а на экране — все же ужасно жаль, как сильный и молодой человек превращается в искореженный полутруп — что-то этим хотел сказать режиссер? Что именно?

Наверное, это не главная его задача. Но для настоящего художника нет главного и не главного. Может быть, через все это, через трагедию, среди бела дня настигшую ни в чем неповинного человека, Милош Форман пытается по-своему докричаться, разбудить, растолкать всех равнодушных и смирившихся.

«Я не смогу ходить, я не смогу заниматься любовью, я не смогу иметь детей», — слышим мы из уст героя. От нескончаемых болей его избавляют наркотики, он — наркоман поневоле. И рядом с ним, нет даже не рядом, а в одной с ним постели — другая наркоманка, тоже поневоле. Переспав с ним, в первые минуты знакомства, — помните тот ночной клуб! — она прошла с Ларри весь его путь. Единственно близкий его душе и телу интимный друг. Она называет его не иначе, как «бэби» и однажды сказала: «Ты — вся моя жизнь Ларри!»

Эта странная любовь, родившаяся в притоне (если для этой связи вообще пригодно слово «любовь»), удивительно чистым светом фосфорисцирует изнутри этой драмы, хотя она, его любовь, конечно тоже часть этого мира, который так пристально исследует режиссер.

Выйдя из грязи, любимая Ларри возносится до неба, она идет с ним под венец. И все затем, чтобы из красивой и здоровой женщины превратиться в жалкую и уродливую калеку, погибающую от *эйдса**. Но парадоксальным образом она, эта калека и урод, противостоит окружающей грязи и поражает своей чистотой. Ее чистота в одном — в преданности Ларри. Эта ее преданность — род сумасшествия: прав он, не прав он, добр, жесток, на коне или прикованный к постели жалкий паралитик, она всегда с ним. Прикованному к постели, она подает ему шприц,

*СПИД (в бумажной версии было написано *эйц* - Д.Т.)

чтобы облегчить страдания, зная, как опасна для него эта сверхдоза, и в ужасе от происходящего колется сама, и заболевает эйцем, но так и остается, даже в момент смерти, единственно чистым и незамутненным пятном в жизни героя.

Образ ее, с какой-то своей стороны, тоже отражает философию фильма, столь мощно заостренного против разлагающегося общества. Своей преданностью и чистотой она противостоит его лицемерию, от которого, кажется, нет спасения.

Никакими общественными установлениями не предусмотрено, чтобы чистота и преданность могли рождаться в притоне. В «грязи» рождается «грязь». А с ней, как раз все наоборот! Но это исключение лишь подтверждает безумные правила, действующие в «королевстве кривых зеркал». Отчего бы не поразбивать эти кривые зеркала? Не распрямить этот уродливый мир, сделав его честным, прямым и справедливым? (Нет, это не «моралите» автора, а моя детская патетика!) Ах, отчего бы? Отчего бы? Как будто неизвестно, как трудно съезжать с наезженной дороги? Куда легче жить готовыми клише, сколь бы дурными они ни были. Жить во имя чего хотите. Хотите во имя Бога! Хотите — Конституции, хотите демократии и братства всех людей на земле.

Но время перейти мне к заключительной части фильма, когда перенесший операцию и погрузившийся в инвалидную коляску Ларри возвращается из небытия. Мир за время его отсутствия сильно изменился. Возмущенный делами в своем бизнесе, где многое пришло в упадок, он увольняет нерадивых помощников. Но это уже не тот жуликоватый и по-своему симпатичный Ларри Флинт, а совсем другой человек, образ которого не так-то просто расшифровать. А сделать это надо, ибо без этого не найти нам ключа к самому фильму Милоша Формана. И еще для того, чтобы откреститься от некоторых ревью и рецензий в американской печати. Например от той, что появилась в журнале «Нью-Йоркер» под заголовком «Сплошная плоть». Никакого разлагающегося общества. Никаких сомнений. Все

ясно, как на блюдечке. Ларри Флинт — простой ординарный мошенник, объятый страстью к наживе, и в один прекрасный день появившийся в «нашей Америке». Напрасно постановщики лезут из кожи вон, чтобы его возвысить. (Он и его возлюбленная так и останутся вылезшими из притона опустившимися людьми.) Напрасны попытки постановщика выжать из себя сентиментальный конец и идеализировать героя, сделав из него борца за свободу печати и за Первую поправку к Конституции. Так примерно пишет о фильме американский кинокритик, выразитель той самой эстетики, на которой зиждется неугасимый оптимизм американского кино.

Бунт юродствующего Дон Кихота

...Итак порнобизнес Ларри Флинта (как он заявляет, прибыв в офис на своей инвалидной коляске) идет вниз. Но если он маньяк этого бизнеса, если этот бизнес — как ни крути — его родное детище, то по логике вещей он должен ринуться его спасать. Не просто уволить стрелочника, а отдать ему всего себя, с той же одержимостью, с какой он развивал его всю жизнь.

Но странно дело — его детище, его «Лари Флинт паблишере» вдруг отходит на задний план. А маниакальный издатель все на той же инвалидной коляске бросается в водоворот совсем других дел. Он рвется разобраться со своими врагами, из-за которых ему пришлось столько пережить, да вот хоть с теми же эф-би-айщиками! Он-то знает цену их честности. И начинает с того, что предает огласке где-то добытый им видеотейп, показывающий, сколь глубоко погрязло в связях с наркобизнесом это учреждение, призванное стоять на страже государственных интересов.

Не сразу, но мало-помалу начинает он понимать, что все его потуги обречены. Никакой борьбы. Никакой реакции. Вместо того, чтобы скрестить с Дон Кихотом шпаги, Дон Кихота вызывают в суд. Не за тем, чтобы получить доказательства преступления, а затем, чтобы выудить,

кто осмелился передать ему видеотейп, разоблачающий Эф-би-ай. Наш герой вне себя, но что прикажете делать, если перед ним стена? Биться о нее головой?

В бессилии корчась в своем вилчере, он не знает, как, вообще, реагировать. Зато он хорошо знает (куда лучше даже, чем когда схлопотал за свои делишки 25 лет), истинную цену юстиции — пока только ей, а позже всему, что его окружает. А судья требует своего, чтобы Ларри Флинт, эта грязная порноличность в инвалидной коляске, назвала источник видеотейпа. Перед этим (как это предусматривает процедура) судья просит Ларри присягнуть на Библии: что будет он говорить суду правду, одну только правду и ничего кроме правды.

Но в ответ из его груди вырывается сумасшедший крик: «Нет!» (Какая еще в этом зале правда?) Судья снова требует источник.

— Источник видеотейпа? — с искаженным от боли лицом юродствует Ларри. — Что ж, пожалуй, можно называть. Так вот, к сведению уважаемого суда, он достал этот тейп у самурая!

— Это еще что за личность? — недоумевает судья и, услышав в ответ совсем уже невнятный бред, предупреждает, что если завтра же не будет назван источник, то Ларри Флинт будет оштрафован на 10 тысяч долларов.

Судья выполняет угрозу и наутро торжественно приговаривает Ларри к штрафу в 10 тысяч долларов. В ответ на что в зале суда появляются его двое подручных и вываливают на пол два огромных мешка купюр.

Судья в ярости, он требует уважения к институту, который он представляет, а Ларри кидает ему в лицо гнилой и искромсанный мандарин.

Но что все это значит? Если бунт, то, согласимся, что бунт особого рода, бунт от бессилия, бунт несчастного и юродствующего Дон Кихота, прикованного ко всему прочему к инвалидной коляске. И чем дальше, тем сильнее этот бунт юродивого, бунт против мира, в котором он сам же процветал, пока не превратился в жалкого калеку, бунт шута с исчезающей гримасой страдания. Таким, собственно, мы и видим Ларри Флинта в конце фильма.

Впрочем, перед концом еще одна клоунада — Ларри бросает откровенный вызов Реверенду Джерри Фалвэллу. В журнале «Хастлер» появляется заметка о том, что Фалвэлл сожительствовал с собственной матерью. Когда-то была прекрасная Жаклин О.К., а теперь — ведущий церковный лидер спит с собственной мамашей!

На Жаклин он заработал миллион, а Фалвэлл требует с него четыре. За оскорбление личности — иск в четыре миллиона долларов! И снова Ларри, оседлав свой инвалидный тарантас, въезжает в зал суда, где разыгрывается знакомая нам комедия. Обезумевший инвалид-ответчик снова кривляется и юродствует пред ликом правосудия, шут и психопат, который, кажется, и мечется на экране для того, чтобы оскорбить всю эту ненавистную ему юстицию.

О шутах, говорящих правду королям

Но самое странное, что режиссер, а за ним и зрители симпатизируют ему. Не потому ли, что юродствует он на языке, который под стать миру, во всей красе представленному на экране? Что с того, что он шут и мошенник? Были времена, когда одни лишь шуты говорили правду в лицо королям!

И дело не меняется от того, что Верховный суд поддерживает Ларри. Нет, не во имя справедливости, а во имя Первой поправки Конституции, предусматривающей свободу слова.

— Значит мы победили? — переспрашивает адвоката Ларри.

— Да, победили! — отвечает адвокат, демонстрируя миру жизнеутверждающий конец. Так что нормы соблюдены. И нормы жизни, и нормы кино.

Но какая это странная победа, не приносящая ни герою, ни сочувствующим ему зрителям ни малейшей радости. Этим, собственно, и заканчивается фильм.

Впрочем, нет, не этим, а авторскими титрами — что Ларри Флинт нынче живет в Лос-Анджелесе и в своем издательстве «Ларри Флинт Паблишерс» издает 28 жур-

налов, и Алан Айзикман по-прежнему его адвокат и Реверенд Джерри Фалвэлл продолжает свою важную и полезную деятельность на церковной ниве.

Теперь я, кажется, понимаю, почему невозможно извлечь мораль из фильма Милоша Формана. Никакую. Какая может быть мораль у мира, увиденного нами на экране? Режиссер молчит, сделав свое дело, за что скажем ему спасибо. Но, увы, мир, показанный им, продолжает существовать. Вслед за Форманом промолчим и мы. Мораль оставим моралистам, которых так много в этой стране. Они-то знают, кто есть кто и что есть что. К тому же, мы ведь условились, дабы не впасть в пессимизм, считать показанный Форманом мир не настоящим, а перевернутым, «королевством кривых зеркал», про которое так легко слагать притчи, но в котором не так-то просто найти самого себя.

ИЗ ПРОШЛОГО
И НАСТОЯЩЕГО



Алла ТУМАНОВА

ПРИГОВОР

Арест

Арест — как ожог: неожиданная отчаянная боль — и шрам навсегда. Пришли ночью, честь по чести, как заведено. Который был час? Где-то около двенадцати, точно не помню. Звонок. Голоса в передней. Открыла дверь мама. Были мы дома только втроем, отец уехал в командировку. Одиннадцатилетний брат крепко спал на тахте напротив моей кровати, в нашей общей спальне. Он продолжал спать, когда на пороге комнаты появились растерянная мама в длинном халате, а за нею несколько мужчин в штатском. Спросонья мне показалось, что в комнате целая толпа чужих людей. Я поднялась на локте — что им надо? Никакой мысли, что это пришли за мной.

— Предъявите документы всех членов семьи! — резко командует один из пришедших. Он вплотную подходит к моей кровати. — Ваше имя, фамилия? Одевайтесь! — он остается около постели, и я не двигаюсь.

Из книги «Шаг вправо, шаг влево».

Так не хочется оставлять мою теплую постель, еще бы поспать! Зачем я им понадобилась?

Мы входим в столовую. Мама уже переделалась в свою обычную юбку с блузкой. В столовой на стуле почему-то сидит дворничиха Фима. Поминутно хлопает входная дверь, кто-то уходит, кто-то появляется. Лиц не разберу — все на одно. Этот — лающий, видно, главный, он всеми командует. Мне он протягивает маленький листок бумаги:

— Прочтите и распишитесь.

Черные печатные буквы: «Ордер на арест», дальше моя фамилия. Мама расписывается на другом листе — «Ордере на обыск». Глаза мамы устремлены на меня, в них ужас и накапающие слезы.

На столе горкой лежат мои школьные сочинения — «Люблю отчизну я, но странною любовью!..», «Пушкин — солнце русской поэзии», «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет!». Каждое из них главный внимательно перелистывает и откладывает в сторону.

— Это вы писали? — передо мной те самые злополучные листы. Свершилось! Стало как-то легче — больше не будет у них сюрпризов.

— Да, переписала текст я, хотела сохранить на память.

— Меня не интересует, зачем вы писали, об этом вы расскажете в другом месте, — обрывает меня главный.

Я сижу в оцепенении, одна мысль владеет мною, сейчас доберутся до рукописей в моем письменном столе — моей рукой переписанный «манифест» организации и два протокола наших «сходок», где присутствовали только мы трое, Женя, Владик и я. Если бы незаметно проскользнуть в мою комнату! Но что я с ними буду делать?! Разорвать, съесть?

Но вот я уже в передней. Надеваю свое старое зимнее пальто, из которого уже давно выросла, еще более древние, подшитые черные валенки (какую добрую службу сослужили они мне в холодной одиночке!).

— Можете проститься, — разрешает мой сопровождающий.

Я обнимаю маму и брата. Запомнила прощальные мамины слова, сказанные скорее самой себе:

— Бедная девочка, еще никуда без мамы не ездила.

Последний взгляд на оставляемый отчий дом — две двери из трех, выходящих в переднюю, закрыты, на них большие черные печати. Боже, еще и этой напастью оборачивается мой арест для бедных моих домочадцев.

Прошли долгие годы со времени этой ужасной ночи — я никогда ее не забывала. Даже слова «забывать», «помнить» не подходят в этом случае, просто все пережитое остается со мной, во мне, как больная часть моего тела, как напоминающая о себе тупая боль. Мне часто снится один и тот же кошмар — арест. Он не всегда соответствует тому, что действительно было, что-то в нем видоизменяется. Иногда во сне забирают не меня, а моих близких. Но просыпаюсь я всегда измученная, опустошенная, и весь день гнетет меня что-то, чему нет названия.

Наш дом

Мы переселились из коммунальной квартиры на Никитском бульваре в новенькую, отдельную квартиру в только что отстроенном доме на Малой Никитской. Это было необыкновенно радостное событие.

Дети в нашем доме, как и сам дом, были необыкновенные! У моей подружки и соседки по подъезду все было заграничное — и шикарный велосипед, и замысловатый самокат — предмет моей зависти. Мне тоже купили самокат, но у Люки был лучше, с тормозом и низким седлом. Я уже знала, что все красивые и необычные вещи семья привезла из Германии, где несколько лет работал отец Люки.

Маленькие дворовые сплетницы, мы знали все, что происходило в доме, и рассказывали на ушко друг другу секреты. Весть, что в нашем подъезде на восьмом этаже поселился сын Сталина, облетела весь двор. Яков Джугашвили, старший сын Сталина, почему-то носил старую фамилию отца. И почему он живет не в Кремле? Все вожди и их дети, конечно, должны жить в Кремле, за высокой стеной, и охраняться не сторожем в тулупе и валенках, а красноармейцами с винтовками — это всем ясно! А этот забрался на восьмой этаж, и всего у него три комнаты, как у нас. Все это было очень странно... И хоть мы с подружками знали все, тайна отношений старшего сына Сталина с отцом нам была неизвестна.

В наш подъезд на четвертый этаж въехал с семьей сын Калинина. Дедушка Калинин иногда навещал сына, и тогда на лестничных площадках стояли одинаково одетые, безмолвные и безликие дяди в шляпах. По их присутствию мы точно знали, какой высокий гость пожаловал к соседям. В другом подъезде обосновалась семья родственников Молотова. В течение двух лет наш дом наполнялся знаменитостями. Почти также знамениты, как и родственники вождей, были артисты. На первом этаже в седьмом подъезде жила народная артистка Половикова. Неподалеку получила квартиру ее дочь, артистка кино Валентина Серова, слава которой была связана со многими обстоятельствами — и с гибелью ее первого мужа, летчика, героя Испании Серова, и с посвященными ей стихами поэта Симонова, ее второго мужа, и с известными всем запоями, рано сведшими ее в могилу.

Детство мое не было омрачено ни одной бедой. Особую обстановку тепла и уюта создавала в нашей семье мама. Она всю себя посвятила семье — отцу, мне и брату, родившемуся в августе 38-го года. Похоронив все свои таланты — художницы, поэтессы, — она жила только для нас, самоотверженно, терпеливо, иногда героически. Я была баловнем всех моих многочисленных родственников. Меня захваливали, восхищались талантами (я пела, танцевала, декламировала стихи), забрасывали подарками, водили в театры, в цирк, на елки. Мама шила мне наряды, переделывая свои и теткин платья. Я могла часами крутиться перед зеркалом, зачарованная своим отражением. Говорят, детство формирует человека — маленький «нарцисс», кем же я должна была вырасти?!

Я мечтала стать актрисой или балериной. У меня имелись все основания надеяться на осуществление моей мечты: во-первых, я с выражением умела декламировать стихи, во-вторых, я грациозно танцевала в районной балетной школе, и все родные восхищались моими талантами. А самое главное, мой дядя, Любимов-Ланской, народный артист РСФСР, был директором театра МГСПС, а значит, у меня был блат, открывавший дорогу в искусство. «Блат — выше Совнаркома», — гласила новая поговорка.

В общих чертах я правильно предвидела свою судьбу. Я действительно стала артисткой, правда, на короткий период. И была я очень знаменита, хотя не на весь Советский Союз, а только на все лагпункты Инты — одного из много-

численных островов архипелага Гулаг. Правда, блат тут был ни при чем, и дядя «народный» тоже, просто вывела «великая кривая» — на короткое время спасла от тяжелых общих работ благодаря тем небольшим способностям, которые лелеяли мою гордыню в детстве.

Один день в Лефортовской одиночке

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованной Рейф Аллы Евгеньевны

от 20 февраля 1951 года
Рейф А.Е., 1931 года рождения,
уроженка гор. Киева, еврейка,
гражданка СССР, чл. ВЛКСМ.
До ареста — студентка заочного
отделения Государственного
педагогического института
им. Ленина. Проживала в
гор. Москве.
Допрос начат в 23 час.

Вопрос: Вам предъявлено обвинение пост. 58-1 «а», 19-58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР, т. е. в том, что вы являлись участницей троцкистской террористической организации и по ее заданию проводили активную враждебную работу против Советского правительства. Вам понятно обвинение?

Ответ: Да, понятно. Я обвиняюсь в принадлежности к молодежной троцкистской организации и в проведении активной анти-советской работы.

Вопрос: Признаете себя виновной в этом?

Ответ: Да, признаю. Я виновна в том, что, будучи антисоветски настроенной, до дня ареста состояла в молодежной троцкистской организации, именованной «Союзом борьбы за дело революции», и по ее заданию проводила активную враждебную работу против Советского государства.

Вопрос: Какую преступную работу вели вы в троцкистской организации?

Ответ: Являясь членом троцкистской организации «СДР», я переписала «манифест» организации, в котором возводилась злобная клевета на советскую власть и излагались методы борьбы против существующего государственного строя. Другой работы в «СДР» я не проводила.

Вопрос: Когда вы примкнули к троцкистской организации?

От в е т: В сентябре 1950 года.

Вопрос: Под влиянием кого?

Ответ: В троцкистскую организацию меня вовлек Гуревич.

Вопрос: Покажите подробнее, кто такой Гуревич?

Ответ: Гуревич Евгений Зиновьевич являлся студентом Московского института пищевой промышленности, познакомилась с ним осенью 1949 года через одну девочку по имени Мила (фамилии не знаю). Из бесед с Гуревичем я узнала, что он так же, как и я, увлекается гуманитарными науками, и это обстоятельство нас сближало. Впоследствии между нами установились хорошие, дружеские взаимоотношения. Он заходил ко мне на квартиру, где мы часто беседовали о литературе, искусстве и естествознании. Кроме того, Гуревич особенно увлекался философией и много мне рассказывал о предмете и что изучает эта наука.

В дальнейшем, встречаясь с Гуревичем, мне почему-то бросилась в глаза резкая перемена в его взглядах на окружающую жизнь.

Вопрос: А именно?

От в е т: В беседах со мной он стал касаться главным образом вопросов внутренней и внешней политики Советского Союза и высказывал мне антисоветские троцкистские настроения.

Вначале я к этому относилась безразлично, а затем спросила, почему он быстро изменился в своих взглядах. На это он ответил, что я его мало знаю, и рассказал, что антисоветские взгляды у него появились еще в 1947 — 1948 гг., когда он учился в 9-м классе, но тогда эти нездоровые настроения своего развития не получили. За последнее же время, продолжал Гуревич, когда он познакомился с неким Борисом (как я узнала впоследствии, это был Слуцкий), у него вновь ожили антисоветские настроения.

Вопрос: Вы были знакомы с Борисом Слуцким?

От в е т: Нет, лично со Слуцким я знакома не была, о нем мне рассказывал Гуревич.

Вопрос: Что вам говорил о нем Гуревич?

Ответ: Летом 1950 г. я вместе с Гуревичем ходила в кино. В фойе кинотеатра Гуревич рассказал мне, что с Борисом Слуцким он познакомился на консультации в университете, куда они оба хотели поступить учиться. Слуцкого он охарактеризовал как антисоветски настроенную личность и сообщил, что его отец в прошлом являлся убежденным троцкистом, а в период войны якобы погиб на фронте.

Вскоре после этого Гуревич позвонил мне на квартиру, и мы по телефону договорились встретиться на улице. Прогуливаясь по Москве, Гуревич мне сообщил, что он продолжает со Слуцким встречаться и что в результате неоднократных бесед с ним на антисоветские темы он, Гуревич, окончательно попал под влияние Слуцкого и полностью разделяет его антисоветские взгляды.

По словам Гуревича, Слуцкий якобы ему «доказал», что Троцкий будто бы был выдающейся личностью в истории и что он много делал полезного для победы революции в России. В процессе дальнейшей беседы Гуревич, изливая гнусную клевету на советскую действительность и руководителей ВКП(б), прямо заявил, что свою жизнь он теперь посвятит борьбе с существующим в СССР государственным строем и восстановлению исторической правды о Троцком, пострадавшим якобы за дело «мировой революции».

В заключении нашей беседы Гуревич мне заявил: «Ты должна быть или со мной, или мы больше никогда не увидимся».

Вопрос: И вы, конечно, согласились с предложением Гуревича о проведении вражеской работы?

Ответ: Хотя я и разделяла антисоветские взгляды Гуревича, но его предложением о проведении организованной антисоветской работы я была ошеломлена и просто растерялась. Поэтому я тогда положительного ответа ему не дала, а заявила, что этот вопрос нужно сначала изучить, а затем уже высказать по нему свое мнение. За такой ответ Гуревич меня похвалил и сказал, что я правильно поступила, не дав ему сразу положительного ответа, так как этот вопрос очень серьезный и сразу его решать нельзя. После этого Гуревич посоветовал мне как следует продумать его предложение, а затем свое решение сообщить ему.

Через некоторое время я вновь встретилась с Гуревичем и сообщила ему о своем согласии вести борьбу с советской властью. Гуревич, одоблив мой поступок, заявил, что антисоветская организация уже создана и с этого момента я являюсь ее членом.

Вопрос: Что вам сообщил Гуревич об антисоветской организации, в которую вы вступили?

Отв е т: Я интересовалась у него, много ли участников состоит в организации, на это Гуревич ответил, что о личном составе антисоветской организации он говорить не имеет права, но в ней, по его словам, состоит несколько десятков человек и что они уже создали так называемый «организационный комитет» («ОК»), в который вошли Слуцкий, он — Гуревич и Мельников.

Впоследствии антисоветская организация была названа «Союзом борьбы за дело революции» («СДР»).

Вопрос: Какую преступную работу вы вели в троцкистской организации?

Ответ: Являясь членом троцкистской организации «СДР», я переписала «манифест» организации, в котором возводилась злобная клевета на советскую власть и излагались методы борьбы против существующего в СССР государственного строя. Другой работы в «СДР» я не проводила.

Вопрос: Вы неоткровенны. Показывайте правду до конца!

Отв е т: О своем участии в троцкистской организации «СДР» я показываю правду. В ноябре 1950 года в нашей организации

произошли разногласия, и из нее я вместе с Гуревичем и Мельниковым вышла.

Вопрос: Почему?

Ответ: В организации возникли разногласия между членами «ОК» Слуцким и Гуревичем. В частности, Слуцкий предлагал вражескую работу организации строить путем проведения антисоветской агитации, а Гуревич отстаивал метод пропаганды. В результате произошел раскол в «СДР».

В ноябре 1950 года на нелегальном сборище у меня в квартире, где присутствовали Гуревич, Мельников и я, мы создали другую молодежную троцкистскую организацию, именованную «Группа освобождения рабочего класса», в которой я и состояла до дня ареста.

Допрос окончен в 3 ч. 30 мин.

Протокол допроса мною прочитан.

Записано с моих слов правильно

(Рейф)

Допросил: следователь следчасти по особо важным делам МГБ СССР

Подполковник

(Евдокимов)

Утро в тюрьме начинается ночью. Стук открываемой кормушки, резкий окрик: «Подъем!»

— Не может быть! Мне почудилось, ведь я совсем не успела поспать. Кажется, что только что привели от следователя.

Сознание снова погружается в сон, но не полностью. Где-то вдали грохочут кормушки в других камерах, глухо раздается повторяемое монотонно: «Подъем», «Подъем», «Подъем». — Я не шевелюсь, но меня гложет страх, что снова прозвучит ненавистный окрик — окрик, как удар. Лучше встать, не дожидаясь приказа.

В окне ночь, подсвеченная тюремными прожекторами. Сейчас особенно уныло и холодно в камере. Движения мои замедлены, скованы неотступающим сном. Надо умыться, надо заправить койку, надо сделать зарядку. Механически подчиняюсь этому «надо». Несколько вялых упражнений не освобождают от сонливости. Бесплезная борьба: я измучена многими ночными допросами. Кутаясь в пальто, я сажусь на койку — хоть немного подремать сидя. Но это можно делать только с открытыми глазами,

лицо должно быть повернуто так, чтобы надзорка всегда видела глаза, и глаза должны быть открыты. Любой поворот головы в сторону от глазка, и снова окрик в кормушку: «Повернуть голову!»

Можно ли полюбить место своего заключения, одиночку, холодную каменную каморку?! Возвращаясь от следователя, из страшного мира обвинений, угроз, унижений, я оказываюсь как бы под защитой стен моей камеры. Это было мое убежище, хоть на короткий срок, на несколько часов, на день.

Цвет стен моей одиночки был удивительный! Я никогда не думала, что какой-либо цвет может так угнетать. Цвет трудно передаваемый, темно-зеленый с примесью коричневого. Этой отвратительной краской было окрашено все вокруг — и раковина, и унитаз в углу, и миска с кружкой.

...Прошло шесть бесконечных месяцев с момента моего вселения в эту одиночную камеру. Первые дни я почти не вставала с койки, сидела в неподвижной позе с подъема до отбоя. Всякое активное движение приносило мучительную боль. Больному органу — покой, оцепенеть, не шевелиться, не думать. Последнее оказалось невозможным.

Так проходили часы. Грохот открываемой кормушки или скрежет замка в двери током пронизывали тело, возвращая к действительности. Вначале я не притрагивалась к еде, возвращала ее назад. Спала не раздеваясь. Даже пыталась лечь в валенках, но надзорка, заметив, требовала, чтобы я их сняла. Сырой холод мучил и днем и ночью. На мне было старое зимнее пальто, из которого я уже выросла, и подшитые черные валенки времен моего детства. Эта одежда не согревала, да и грубое солдатское одеяло мало чем могло помочь. Пытка холодом была первой тюремной пыткой.

* * *

Я совсем не знаю настоящего времени — отмечаю час по своей догадке. Подъем в шесть, завтрак в восемь. Между двенадцатью и двумя выводят на пятнадцатиминутную прогулку. В отверстие кормушки заглядывает

надзорка, одна из немногих, лицо которой мне приятно.

— На прогулку пойдете? — Мне кажется, в глубине ее глаз прячется сочувствие. У нее доброе лицо простой русской женщины, и это выражение доброты отличает ее от других — мрачных, злых, безликих.

Однажды ночью мне приснился сон, собственно, это была скорее галлюцинация: к моей железной койке подошел отец, и я почувствовала его теплую руку на своей голове. Это ощущение было так явственно, что я вскочила и, поняв, что мне все почудилось, разрыдалась.

Особенно долго и мучительно тянулось время вечером. Окно начинало темнеть и превращалось в черный квадрат. Тусклый электрический свет и коричнево-зеленые стены создавали мрачный колорит. Подкрадывалось уже знакомое чувство страха: если не вызывали к следователю днем, могут вызывать ночью. Пытаюсь читать, но книга не отвлекает от тяжелых мыслей.

Не первый раз за эти месяцы мною вдруг обуревают ярость. Я еле сдерживаю крик, кусаю пальцы. В голове больно стучит одна мысль: случайность, ошибка, дурацкое стечение обстоятельств. Поверни я за другой угол, откажись от встречи, не скажи вот именно это слово — и все было бы хорошо, по-прежнему. Я была бы с людьми, с простыми советскими гражданами — как они, как все, как миллионы! Так ли уж я отличалась от окружавших меня людей? В полном отчаянии я начинаю метаться по камере — шесть шагов к двери, шесть к окну. Как маятник, из угла в угол, пока не начинает кружиться голова. Сколько прошло времени?

В это время жизнь замирает, не слышно стука дверей, скрежета замков, к следователю не вызывают. Мерно шаркают по коридору шаги надзирателей.

Но вот дважды щелкает электрический выключатель за дверью, лампочка под потолком гаснет и зажигается вновь. Это и есть долгожданный «отбой», можно наконец лечь и уснуть. Заставляю себя умыться. Механически повторяю обычный ритуал, поворачиваю кружку ручкой к двери, проверяю, видна ли ложка, развешиваю на спинке кровати чулки, полотенце. Да от такой жизни лучше отказаться —

умереть легче. Но эта мысль приходит, видимо, потому, что ей полагается прийти, предписано режимом. А жить-то мне ужасно хочется, и надежда никогда меня не покидает: все как-то образуется.

Сворачиваюсь калачиком под холодным, колючим одеялом, ноги почти у подбородка, руками обнимаю плечи. Но ничего не помогает — коченею от холода. Последнее ухищрение: вдыхаю воздух снаружи, а выдыхаю под одеялом. В этот момент надзорка заметила нарушение правил. Гремит открывающаяся кормушка: «Руки положите поверх одеяла!» Я ненавижу ее тусклый голос, ненавижу ее саму! Мне становится жарко от приступа обиды и ненависти. Выпрямляю руки и лежу, уставившись в потолок. Если бы хоть немного можно было отдохнуть от света! Голая тусклая лампа, окруженная проволочной сеткой, сейчас кажется утомительно яркой. Через много лет меня поразило описание тюремной камеры в романе Набокова «Приглашение на казнь». Он, никогда не переживавший одиночного заключения, видел каждую деталь моими глазами. Даже зарешеченная лампа была, как и у Набокова, несимметрична и вызывала раздражение именно своей асимметрией, которую глаз постоянно подмечал.

Из правого угла над скрытой батареей на меня всегда смотрела странная маска. Она сложилась однажды из каких-то выпуклостей на стене. И теперь стоит мне остановиться взгляд на этом месте, как я тотчас встречаюсь глазами с этим изображением. Благодаря глубоким теням лицо кажется живым. Угол рта искривлен в недоброй гримасе. Мне страшно видеть это лицо, и я закрываю глаза. Вот еще один день позади — бесконечный тюремный день. На один день я ближе к свободе.

Конец следствия

Чувство вины давило меня постоянно, оно возникло, как я позже узнала, почти у всех членов нашей группы сразу после ареста и не покидало нас весь период следствия, вплоть до вынесения приговора. Я не думаю, чтобы у следователей было хоть малейшее намерение перевоспитывать нас, но во время многочисленных допросов, изо дня в день общаясь только с ними, мы, конечно, попадали под их влияние. На свободе догматические, штампован-

ные доводы, наверное, не произвели бы на меня ни малейшего впечатления. Но тут, угнетенная одиночеством, терзаемая виной перед близкими, я была податлива, как глина.

— Как ты могла поднять руку на свою Родину, которая тебя растила и воспитывала?! — патетически восклицал мой первый следователь, Евдокимов. — Где ты видела несправедливость? В том, что люди еще плохо живут? Так ведь война какая была! Страна еще не оправилась. Тоже мне революционеры сопливые! — заключал он мирно. Такие беседы следователь вел только подвыпивши. Вид у него в это время был расстроенный, осоловелые глаза смотрели на меня с жалостью. Однажды, расчувствовавшись, он погладил меня по голове и как-то очень горячо сказал: — Была бы моя воля, отодрал бы тебя за косы и отпустил бы домой! — Видно, вырвалось это признание помимо его воли, в подпитии. Никогда больше он не совершал подобной опасной для него оплошности.

В камере я плакала, читая «Молодую гвардию» Фадеева, — вот это настоящие герои, они отдали жизнь за Родину, а ее предала! Еще больше терзал и меня мысли о моей вине перед семьей — что теперь с ними со всеми будет?!

Однажды я долго не хотела подписывать очередной протокол допроса. Речь шла о моем отношении к восхвалению Сталина. Набор возражений был очень примитивный: Ленин не одобрял такого отношения к кому бы то ни было, славословия выглядят как подхалимаж, настоящие коммунисты аскетичны и скромны и так далее. Но, конечно, я ни минуты не сомневалась, что самому Сталину это неприятно, все делается помимо его воли карьеристами и подхалимами.

Евдокимов долго слушал меня, не перебивая. Потом сел за стол и стал писать. Когда он положил передо мной написанный крупным, школьным почерком протокол, я с удивлением увидела, что ни одного моего слова там не было. Вместо моего длинного монолога написана короткая фраза: «Клеветала на члена правительства». Я возмутилась и попросила записать мою «клевету», в чем она выражалась. Но Евдокимов заявил, что не может повторять преступные слова. Изумленная бесплодным спором, я подписала и этот протокол.

Когда всплыл вопрос о терроре, я сказать не могу. Во

всяком случае, я ни разу не упомянула о разговорах с Женей Гуревичем на эту тему. Я и тогда считала их глупым мальчишеством. Только оказавшись у нового «хозяина», полковника Шиловского, я поняла, что террористические настроения Жени или кого-то другого из участников группы известны следствию.

Через некоторое время Шиловский устроил мне две очные ставки — с Владиком Мельниковым и Женей Гуревичем. Оба мне показались ужасно изменившимися. Я так волновалась во время этих коротких встреч, что почти ничего не запомнила. Обычно на допросах, кроме следователя, никого не было. В этот день в кабинете Шиловского, недалеко от него, сидела молодая женщина. Она не подняла головы, когда меня ввели. Я села за свой привычный шаткий столик в углу кабинета.

— Сейчас у вас будет очная ставка с вашим сообщником Гуревичем. Порядок такой: ни одного лишнего слова, только ответы на мои вопросы. Понятно?

Я кивнула и замерла. Сейчас введут Женю. Мы не виделись много месяцев. Последняя наша встреча была в другой жизни. Как он выглядит? Наверное, бритый. А как я сама выгляжу? Мне казалось, что я ужасно постарела, стала совсем некрасивая. Вошел конвоир и доложил о прибытии заключенного.

— Введите! — сказал Шиловский.

В комнату вошел Женя. Он показался мне еще меньше прежнего, на вид ему можно было дать лет шестнадцать. От природы невысокий и щуплый, он выглядел сейчас совсем ребенком. На желтом, осунувшемся лице остались одни глаза. Мы поздоровались кивком головы, и он сел на стул, поставленный посреди комнаты. Что было дальше — я не помню. Наверное, ничего серьезного на этой очной ставке не происходило, следствие шло к концу, следователь выполнял установленную проформу. Всего несколько раз я встретила глазами с Женей. На его лице застыла виноватая улыбка. Мы не сказали друг другу ни одного лишнего слова, да и сказать нам было нечего. Через несколько минут его увели.

Хорошо помню свое удивление и обиду, когда на очной ставке Владик Мельников категорически оспаривал мое утверждение, что переписала я «манифест», сочиненный Женей, по собственной инициативе (именно так и было). Владик с металлическими

нотками в голосе утверждал, что переписала я по заданию организации. Как оказалось, для решения наших судеб такие детали не имели ни малейшего значения. Но тогда я ужасно переживала, так как выглядела обманщицей, и мой товарищ, не задумываясь, усугублял мою вину. Во имя чего? Такое поведение для многих из нас очень характерно.

Почти все члены нашей группы тем или иным образом скомпрометировали и свои семьи, и многих друзей и знакомых. К многотомному делу был приложен список двухсот скомпрометированных. Эту цифру я хорошо запомнила, так она меня поразила. Некоторые из этих людей были арестованы и осуждены, другие — высланы, а большая часть продолжала жить, не ведая, что на них заведено досье, пополняемое установленной за ними слежкой.

Перед Новым, 1952 годом вызовы к следователю вовсе прекратились. Однажды мне принесли подписать обвинительное заключение. Как ни странно, я не помню, как оно выглядело. Потом изо дня в день меня стали водить в кабинет следователя для ознакомления с материалами следствия. Это было увлекательное чтение. Конечно, я не предполагала, в какое грандиозное дело все было оформлено следствием. 32 томов синих тома перелистала я за эти дни. В результате знакомства со всеми материалами у меня впервые возникла связная картина.

Много позднее я поняла, какую радость мы доставили органам. Какая ни есть, а ведь настоящая организация! Со всеми атрибутами тайных обществ, с конспирацией, с «манифестом» и «программой», с гектографом и даже с маленьким, правда, немного испорченным, но настоящим пистолетом.

Перелистывая том за томом, я читала детективный роман, повесть о революционном подполье, рассказанную каждым из шестнадцати участников и записанную с их слов (хоть и недобросовестно) следователями.

Моя судьба оказалась просто соединенной с незнакомыми мне юношами и девушками, фотографии которых я с любопытством рассматривала в начале каждого тома. Все выглядели испуганными, несчастными, с совершенно детским выражением лиц. Сняты мы были с номерами на груди, в фас и в профиль, по всем правилам тюремной канцелярии. Только трое «главарей», как их называли следователи, удостоились больших кабинетных фотографий и выглядели вполне пристойно. Я тут же решила, что

с ними захотел познакомиться Сталин и именно поэтому Бориса Слуцкого, Владлена Фурмана и Евгения Гуревича сфотографировали особым образом.

Как это было

...Все началось для меня с незначительного эпизода — моя подруга Галя Чиркова познакомила меня с двумя молодыми людьми. Мы все учились в то время в различных школах, мужских и женских, так что дружба с мальчиками представлялась чем-то из ряда вон выходящим, окруженным романтическим ореолом. Поначалу Галя держала от меня в тайне своих новых знакомых, пока не выяснилось однажды, что им с ней скучно и что они требуют, чтобы она познакомила их с кем-нибудь из своих подруг. Осенью 1949 года и произошла моя роковая встреча с двумя десятиклассниками — Владимиром Мельниковым и Евгением Гуревичем.

Щуплые, невысокого роста мальчишки вовсе не походили на героев романов, о которых мечтали мои подруги. Не умели он ни ухаживать, ни танцевать, да и провинциальность их мне, «аристократке» из дома Верховного Совета, не могла не броситься в глаза. Моя принадлежность к элите уже четко ощущалась мною в ту пору. Мало жить в Москве, надо еще жить в центре, в особом доме, учиться в школе, где каждая ученица из так называемой интеллигентной семьи, да еще чтобы отец работал не ниже, чем в министерстве. Вот он, эталон!

Под все эти критерии новые знакомые подходили слабо, так что дружба с ними меня поначалу не привлекала. Но мальчики обнаружили активность, звонили почти каждый день, по вечерам появлялись в моем доме. Оба они были неразлучны и чем-то походили на братьев. Вскоре, однако, я стала замечать, что в их дружбе нет равенства: главным был явно Женя. Яркий, темпераментный, он был большой любитель пофлиртовать, мечтал о философском факультете МГУ. Я смутно представляла, чем может заниматься философ. Превосходство Жени надо мной здесь было явным, и это не отталкивало, а, наоборот, оказалось притягательным. Особенно покоряла страстность, с какой

он говорил о социальных проблемах. Карие лучистые глаза его светились, лицо становилось вдохновенным и мужественным. Он буквально вырастал передо мной в прямом и переносном смысле. Я стала с нетерпением ждать наших встреч.

Мы шатались по вечернему городу, по шумной улице Горького и говорили, говорили. Я заметила, что наши излюбленные темы все больше связаны с критикой советской жизни. Все, что рассказывал Женя, было интересно, а кое о чем я слышала впервые. Оказывается, например, существует завещание Ленина, где тот предостерегает своих сподвижников от Сталина, характер которого уяснил еще тогда. Я узнала о конфликте Сталина с Крупской, об инсценировке процессов 37-го года, о бесчисленных лагерях с миллионами заключенных, разбросанных по всей стране. Пожалуй, впервые я слышала стройную систему обвинений в адрес власти, в адрес режима. У нас вовсе не социализм, а просто государственный капитализм, где вся власть принадлежит партийной бюрократии. Но что же делать? На этот вопрос у Жени, оказывается, был готов ответ. Надо бороться! Как? Об этом пока не говорилось. Исподволь меня готовили к принятию очень важного решения, хотя я этого и не замечала. Меня покоряли Женина смелость, эрудиция. Он читал Ленина, Плеханова, Маркса, Гегеля. Я ждала встреч с Женей, и только с ним мне было интересно. Мне уже стало казаться, что я к нему равнодушна, и, когда он попросил подарить ему мою фотографию, я уже не сомневалась, что наши отношения переходят в новое качество. Правда, мы почти никогда не встречались с ним без его вечной тени — Владика, но это обстоятельство не мешало обсуждать политические вопросы, интересно было и втроем.

...Пробежала зима, мы заканчивали школу, уже все мысли наши были о вступительных экзаменах в университет. И я, и Женя стремились туда, несмотря на то, что поступить даже в обыкновенный институт молодежи еврейской национальности становилось все труднее и труднее. К тому же конкурс в университет был до двадцати человек на место. Шансов при такой ситуации было, конечно, мало, но все же я решила попытать счастья на биофаке МГУ, а Женя — на философском факультете.

В университет, я конечно, не попала и оказалась на вечернем факультете педагогического института. Женя тоже не прошел по конкурсу и с горя пошел туда, где принимали с уже набранными баллами, — это был пищевой институт. И только Владик оказался на шите: он стал студентом Менделеевского института, куда и стремился.

У каждого началась своя студенческая жизнь, и теперь мы редко виделись друг с другом, лишь иногда общались по телефону.

Но вот в один из дождливых осенних дней Женя вдруг позвонил мне и предложил встретиться. Он был чем-то взволнован. Мы бродили с ним под зонтом, и я с холодком в сердце слушала его рассказ о недавно созданной подпольной организации. Ее цель — готовить кадры к грядущей мировой революции. Но революция — дело будущего. Пока же надо раскрывать людям глаза на несправедливость существующего строя, вести пропаганду и агитацию среди самых разных слоев населения. Я была настолько ошеломлена всем услышанным, что, кажется, не задала ему ни одного вопроса.

— Ты ведь тоже будешь с нами, — уверенно сказал Женя, и я не осмелилась возразить.

Дело принимало неожиданный и опасный оборот, к которому я совершенно не была готова. Но, увлеченный своим рассказом, Женя не заметил моей растерянности и все говорил и говорил без конца. Как сквозь туман вставали передо мной контуры организации, разделенной на группы, которыми руководят связанные.

Связные знают руководителей организации, а члены групп общаются только между собой. Наша ячейка возглавляется Женей, а мы с Владиком рядовые ее члены. Вот, собственно, и все, что осталось в памяти с того вечера.

Стяжелым сердцем вернулась я домой. С кем посоветоваться, кому открыть душу? Пожалуй, ближе всех мне была тетка, сестра мамы. После нескольких дней колебаний я решила обратиться к ней за советом. Теперь я понимаю, что была более зрелой, чем мои товарищи, и, конечно, более трусливой. Я видела в них детей, увлеченных игрой в подпольных революционеров. Хорошо помню побелевшее лицо тети Нади и ее закушенные губы, когда она все повторяла и повторяла мне одно и то же: «Немедленно порви с этими безумцами!»

Я и сама к этому склонялась. Беседа с теткой лишь утвердила

меня в моем намерении. Да, но чем объяснить свою внезапную перемену? Значит, признаться в трусости, а на это ой как нелегко было решиться. И наши встречи продолжались, все более укрепляя меня в моих сомнениях. Порою меня поражала в Жене какая-то иступленность, отчаянная готовность на дикие с точки зрения здравого смысла поступки. Надо во что бы то ни стало дать понять миру, что не все в порядке в Датском королевстве, а для этого совершить нечто необыкновенное. Например, взорвать метро.

— В пять часов утра, когда рабочий класс выходит из дома, перед открытием метро устроить взрыв на какой-нибудь из центральных станций. Будет паника, о взрыве узнают, поползут слухи, достигнут границы, — Женя так ярко живописал эту картину, что у меня озноб прошел по спине.

— А если будут жертвы? — спросила я в отчаянии.

— Едва ли, ведь взрыв произойдет в пустом метро. Ну, а если кто-то пострадает, что ж, борьба без жертв не бывает!

В другой раз Женя посвятил нас, меня и Владика, в еще один свой отчаянный план.

— Хорошо бы совершить покушение на кого-нибудь из членов правительства, например, на Маленкова. Ведь до Сталина не доберешься. Да и народ его обожает, так что никто не одобрит этого акта.

А однажды у меня в комнате Женя объявил, что намерен провести собрание. Все чин по чину — председатель, секретарь, массы, и все в трех лицах. Он познакомил нас с «программой» организации и с «манифестом». Я решила тогда, что оба документа составлены им самим. Оба они странным образом напоминали некоторые этапы из истории большевистской партии, историю которой мы изучали в школе. Организация, как уже было сказано, называлась «СДР» — Союз борьбы за дело революции. Я покорно вела протокол собрания, хотя эта формальная сторона, на которой Женя так настаивал, вызывала во мне протест. Все напоминало игру, но опасную игру. И я дала себе слово, что это наша последняя встреча.

Как-то незадолго до этого собрания, гуляя с ним по городу, я спросила Женю, не думает ли он, что может полатиться жизнью за свою деятельность. И меня поразил его ответ: «Я знаю, что погибну. Но если я принесу этим какую-нибудь пользу, мне не жалко умереть».

Предвидел ли Женя Гуревич свою судьбу или это были слова, которые полагалось произнести истинному революционеру-подпольщику?

Оставалось решиться на последнее объяснение и распрощаться навсегда с юными подпольщиками. Отдавая должное их смелости и благородству, я решила оставить на память о нашей дружбе «манифест» и «программу», подлинники которых я долж-

на была отдать Жене при прощании. Аккуратно переписав их в тетрадь, я спрятала все в свой архив. Но последняя встреча все откладывалась.

Наступила экзаменационная сессия в институте. Я была очень занята и о своих приятелях не вспоминала. Каждый день я шла в институт, возвращалась домой и не замечала, что за мной уже была установлена слежка, а в соседнем подъезде ведется постоянное дежурство и наблюдение. В январе Женя и Владик уже были арестованы, а мне дали «догулять» студенческие каникулы. Седьмого февраля 1951 года пришли и за мной.

* * *

Подходило к концу увлекательное чтение. Номера си-них папок-томов нашего дела перевалили за тридцать. Уже я заочно познакомилась со всеми членами организации. Довольно однотипная подобралась компания: совсем юные, из интеллигентных семей, почти все евреи, кроме двух девочек.

В последних нескольких томах следственных материалов содержались все вещественные доказательства преступной деятельности организации, в том числе и фотографии с экспертизой маленького пистолета, хранившегося, кажется у Мельникова со времен войны — кто из мальчишек не был бы счастлив обладать настоящим оружием. Судебная экспертиза гласила: если пистолет починить, то на расстоянии трех шагов им можно нанести смертельное ранение. Вывод этот мне хорошо запомнился.

Наконец я закрыла последний, кажется, 32-й том. Подписала бумагу о том, что ознакомилась со всеми материалами дела. Еще один этап пройден. Мне думалось, что худшее позади. Опять я поселилась в камере «безвыездно». Сколько времени ждать суда? У меня было ощущение, что познакомилась я с историей, не имеющей ко мне никакого отношения. Незнакомые мне молодые люди, неизвестные мне события. Название организации, данное в процессе следствия, звучало громоздко, неправдоподобно и страшно — «Еврейская антисоветская молодежная террористическая организация». Это выражалось следующими пунктами 58-й статьи уголовного кодекса: 1-а,

11, 10 и 8 (измена Родине, организация, антисоветская агитация и террор, причем восьмой пункт означал уже совершенный террористический акт). У меня не было ни малейшего представления, какое наказание ожидало нас по такому ужасному обвинению. Что нам дадут разные сроки, не было сомнения — вина у каждого разная. Я думала, что мне дадут небольшой срок, ведь я ничего не делала и говорила-то мало, больше слушала. В общем, я почему-то рассчитывала на три-пять лет лагерей. Какие существуют максимальные сроки наказания, я не знала. Оставалось ждать заключительного аккорда в нашей эпопее — суда.

Суд

Не надеясь, что меня предупредят заранее (годовой опыт тюрьмы меня кое-чему научил), я ждала суда каждый день. Засыпала со страхом и надеждой, что суд будет завтра, просыпалась с уверенностью — сегодня! До полудня с замирающим сердцем прислушивалась к приближающимся шагам за дверью. После обеда наступало облегчение — не сегодня. Заметила я незначительные перемены в рационе питания, стали немного лучше кормить. Крошечный кусочек мяса появился в обед. Прогулки не доставляли удовольствия — я и в камере не могла согреться, так что часто отказывалась выйти на мороз (единственное волеизъявление, уважаемое тюрьмой). Стали путаться не только дни недели, но и месяцы — то ли январь идет, то ли февраль.

Но чему быть — того не миновать, мучительное ожидание наконец кончилось.

— Собирайтесь на суд! — рявкнула кормушка и с треском захлопнулась. Сердце оборвалось, а ноги стали ватными.

Что значило «собирайтесь», было непонятно. Вещей брать не надо, бумаг никаких не было. Видимо, надо было собрать себя, к чему я судорожно и приступила. Главное — хорошо выглядеть, ведь я увижу всех моих незнакомых знакомцев и Женю с Владимиром. Тщательно мокрой ладонью я почистила платье. Как оно не истлело на мне за год, не могу понять. Одно объяснение, что

платье переделано было из дореволюционного бабушкиного наряда. Туфли намазала сливочным маслом и натерла до блеска. Потом я красиво уложила волосы и заплела косы. Посмотреться можно было только в кружку с остатками кофейной бурды. Все готово. Открылась дверь, на пороге стоял конвой: «Фамилия, имя, отчество? Пройдите!» Я вышла из камеры. Куда поведут? Видимо, суд будет в том же здании, ведут без пальто.

Конвоир остановил меня перед широкой дверью и распахнул ее. Я вошла в огромную комнату, заставленную рядами стульев. Людей в комнате не было, кроме двух девушек, сидящих у задней стены. Конвоир довел меня до последнего ряда и указал на место рядом с ними. Мы поздоровались, но нас тут же предупредили, что разговаривать друг с другом запрещается. Рядом со мной оказались Тамара Ринович и Галя Смирнова. Мы с интересом разглядывали друг друга, пока не ввели следующую девушку — это была Ида Винникова. Она села рядом со мной, четвертой в нашем ряду. Один за другим приходили и рассаживались все мои однодельцы. Каждого я узнавала по фотографии, но по сравнению с ужасными тюремными изображениями выглядели все значительно лучше. Ребята показались мне симпатичными — вот мои друзья по несчастью, так мало похожие на борцов-подпольщиков.

Несмотря на строгий запрет, мы перекидывались отдельными словами, в комнате стоял гул от приглушенных голосов. Не помогали и окрики военного, пытавшегося навести порядок. Вдоль стен выстроились конвоиры и с любопытством пялили глаза на странное собрание. Нами овладело нервное возбуждение, что-то похожее на эйфорию. Почти все сидели в одиночках, и наше свидание казалось концом заточения. Большая комната, ряды стульев, молодые лица сверстников — все походило на обычное комсомольское собрание. Сейчас выберут президиум, объявят повестку дня и... дальше можно не слушать, играть в «морской бой». Почему-то все время хотелось смеяться, мы с трудом сдерживались, но смех то и дело прорывался. Чему мы смеялись? Сейчас я уже не могу вспомнить. К сожалению, память не сохранила подробностей процесса, остались какие-то отдельные яркие впечатления.

Смутно помню появление в комнате суда трех военных — генерала и двух полковников. Их лица не запомнились, голосов их я как будто бы и не слышала в течение суда. То, что у нас нет ни защитника, ни обвинителя, меня не удивило, я просто об этом не задумывалась. Мы виноваты, значит, все, что с нами происходит, законно. Трое военных похожи были на трех толстяков из сказки Олеши — толстоватые, розоватые и, казалось, мирные. Их роль в эти дни была второстепенной, первые роли принадлежали нам. Но в этом зловещем спектакле, где роли были четко распределены, действительно играли все, кроме нас.

Мы же пришли в эту комнату на исповедь, и исповедовались мы друг другу. Каждому давалась возможность объяснить, а значит, понять, как мы оказались на скамье подсудимых. Я не могу ручаться за всех, но и тогда (как и сейчас) я была убеждена, что большинство говорило абсолютно искренне. Нас не прерывали, и каждый говорил сколько хотел. Иногда рассказ был короткий и незапоминающийся. Иногда — мучительно длинный, с повторяющимися объяснениями, из которых говорящий сам не мог выпутаться.

Сусанна Печуро рассказывала своим подругам о тайных складах оружия, оказавшихся на деле потайным ящиком письменного стола, где лежал кинжал для разрезания бумаги. Фантазировала, что в организации сотни участников, и в подтверждение своих слов читала стихи Маяковского «Нас миллионы». Раскрасневшаяся и необыкновенно красивая, она прочла это стихотворение всем нам, вполоборота повернувшись к судьям. Чистота помыслов была в каждом рассказе. О терроре почти не говорили. Ясно было, что никто ни о чем серьезном не думал, кроме Жени, которого никто не поддерживал.

Трагическая ситуация была у Феликса Воина. В валенках и серой одежде он сидел, сгорбившись и опустив голову. И хотя мы знакомы были с его историей из протоколов следствия, все же было тяжело слушать исповедь этого юноши.

Родители его были репрессированы, и он испытал всю горечь отчужденности. Феликс познакомился с Фурманом в Рязани, где они оба учились в медицинском институте. Владлен предложил Феликсу стать членом организации, и Воин с радостью согласился. Он рассказал о вступлении в организацию своей приятельнице, которой доверял. Их

разговор подслушала другая студентка и пригрозила донести, если этого не сделает сам Воин. Он был в полном отчаянии, но другого выхода не было, пришлось идти в КГБ. Там ему предложили оставаться в организации и доносить обо всем, что происходит. Терзаясь муками совести, Феликс общался с Фурманом, ничего не доносил в органы, но чувствовал себя предателем. Когда всю группу арестовали, забрали и Воина, предъявив ему обвинение вместе с остальными.

Особенное впечатление на меня произвел рассказ Майи Улановской. О ее строптивости мне говорил наш общий следователь, и я представляла ее совсем другой. Передо мной была большеглазая девочка с белозубой доброй улыбкой на смуглом лице. Мы сидели недалеко и смогли сказать несколько слов друг другу.

Майя была одной из пяти ребят, которым выпало с ранних лет быть меченой, быть среди прокаженных, от которых отворачивались друзья, которых сторонились соседи, о ком шептались сверстники. Это были дети «врагов народа», дети репрессированных. Тогда, на суде, я слушала Майю с ужасом и болью. Что она говорит? Как не понимает, что усугубляет свою вину?! И сейчас звучат в ушах слова, которые она бросала в лицо всесильному суду: «Я вас ненавижу! Никогда не поверю, что мои родители — враги. Если они и сделали что-то, то сделали правильно. Мне нет места на воле. Меня отсюда можно выпустить только в наморднике!»

Рассказы всех остальных в чем-то были похожи между собой, всеми руководили самые добрые порывы молодости. Мы были хорошими воспитанниками советской власти — вся демагогия, все идеалы восприняты были нами, как и полагалось в юности, всерьез. Но жизнь была совсем не похожа на эти идеалы — значит, надо все изменить, переделать, чтобы все были счастливы. День за днем мы приходили в эту большую комнату и по очереди рассказывали истории своих коротких жизней. Но в результате шестнадцати исповедей картина деятельности каждого из нас и всех вместе вырисовывалась совсем другая, чем в исполнении следователей. В действительности все сводилось к одному — к поискам единомышленников. И в этом мы, видимо, хорошо преуспели.

Ирена Аргинская поехала с Борисом Слуцким в Ленинград для привлечения новых членов организации. С ними вместе ездил и таинственный парень, которого почти никто не знал. Был он старше нас всех. В процессе следствия стало ясно, что он являлся подосланным провокатором, фамилия его не упоминалась в деле, но она не раз произносилась в суде — Беркенблит. Ирена познакомилась с ним в Ленинграде. Там же Ирена и Борис пытались завербовать некую Ариадну Жукову, которая как будто бы согласилась стать членом организации, потом передумала и донесла в органы. Но такой случай был редким, большинство наших сверстников были готовы если не к борьбе с системой, то к критике ее. Сусанна Печуро объясняла, почему она назвала так много имен на следствии, не задумываясь, какой вред она приносит этим людям, — она хотела показать распространенность наших взглядов среди молодежи. Но тогда мы об этом не знали. На этом фоне наши раскаяния выглядели довольно странно — все вокруг были согласны с нами, наши сверстники, да и многие взрослые, думали, как мы. В чем же мы были виноваты?! В том, что были безрассуднее и смелее других?! Но мы не замечали этого противоречия и продолжали считать себя преступниками хотя бы потому, что члены комсомола по уставу не имеют права создавать или входить в какую-либо другую организацию.

Последними рассказывали о себе организаторы нашей группы — Борис Слуцкий, Владлен Фурман и Евгений Гуревич. Я смутно помню их выступления, наверное, мысли их были более зрелые, чем у остальных. Хорошо запомнила, как Борис, говоривший последним, обернулся ко всем нам, сидящим позади него, и сказал каким-то упавшим голосом:

— Только сейчас я понял, какой детский сад привел за собой.

Помнится, он рассказывал, как, чувствуя свою беспомощность, пытался найти поддержку у взрослых. Но все, с кем он заводил разговоры, шарахались от него, как от прокаженного. Никто не пытался разубедить его, люди меняли тему, отводили глаза. У Бориса возникла мысль связаться с каким-нибудь иностранным посольством, но сделать он ничего не успел.

Борис Слуцкий выглядел солиднее нас всех — высокий, плотный, одет он был в синий френч военного

образца и сапоги. А Женя Гуревич, как всегда, выглядел мальчишкой — невысокий, худой, в неподпоясанной гимнастерке. Из рассказа Бориса Слуцкого я помню еще несколько деталей. Ребенком, побывав в какой-то нищей деревне, написал письмо Сталину, в котором сообщал любимому вождю о том, как плохо живут колхозники. Уже тогда его взяли на заметку. Позже его нелояльность заметили во Дворце пионеров, где Борис занимался в литературном кружке и писал неподходящие стихи. О семье его я ничего толком не знаю, но, видимо, отец в юности был горячим поклонником Троцкого. Родители рассказывали, что все имущество отца перед женитьбой состояло из старых штанов и портрета Троцкого. Эта деталь была расценена Борисом в одном плане: отец был троцкистом и скрывал свои взгляды. Возможно, это было вовсе не так — отца своего Борис знал мало, тот ушел на фронт добровольцем и погиб.

*ИЗ ПОКАЗАНИЙ ПОДСУДИМОГО ГУРЕВИЧА
НА СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 11 ФЕВРАЛЯ 1952 ГОДА**

*** Показания Евгения Гуревича приводятся в сокращенном виде.**

Появление моих антисоветских взглядов относится к 1948 году. Первый раз меня больно задела разговоры с Заславским и Коснельсоном, о которых я был очень высокого мнения. Коснельсон хотел поступить в МАИ на спецфакультет, но в конце лета выяснилось, что его туда не приняли. Секретарь приемной комиссии ему грубо ответила, что он не прошел по анкетным данным. Заславский также не прошел по анкетным данным в 1-й медицинский институт. Коснельсон мне рассказывал еще несколько фактов отказа в приеме в институт евреям. Для того чтобы выяснить волновавшие нас вопросы, мы с Мельниковым создали группу и стали заниматься философией и марксизмом.

В 1949 году я познакомился с Шлемерзоном, который окончил экономический институт с оценкой «отлично» и хотел поступить в аспирантуру, но не смог, так как был евреем. Если мне много приходилось слышать националистических высказываний вне

семьи, то не меньшее впечатление на меня производили националистические настроения родственников. Мне говорили, что нет дороги евреям в гуманитарные науки. В то время, когда я не представлял себя без философии и философию без меня, и меня это очень волновало.

Это первая группа фактов, которая повлияла на формирование моих антисоветских настроений.

Ко второй группе относится мещанство. Это, пожалуй, оказало решающее влияние на формирование моих антисоветских взглядов. Я воспитывался в мещанской обывательской семье, где обыватель на обывателе сидел и обывателя погонял. Ни один родственник не проявлял себя как советский человек. Все — индивидуалисты и стремились только к своему личному благополучию. Я постоянно ссорился со своими родителями, т.к. они смотрели на меня, как на мальчика, и каждый раз хлопотали обо мне, чтобы я не простудился, чтобы в местах перехода переходил улицу и т.д. Они были мещанами из мещан, они не интересовались моей внутренней жизнью, а только беспокоились о том, чтобы я был сыт, здоров. Отец, хотя и был членом партии и имел высшее образование, но мне приходилось его часто консультировать по истории партии. Озлобленность против отца дошла до того, что я заявил ему, что не считаю его членом партии, что в партию он поступил из корыстных побуждений. Отец был страшно возмущен этим, и мы долгое время не разговаривали. В школе из 26 ребят не членами комсомола было двое, а я считал, чтобы быть достойным звания человека, надо знать философию, но из всех учеников один Кирюшин занимался философией, причем он не комсомолец. Меня очень поражала эта полная пассивность к философии... Все мои знакомые девушки очень увлекались литературой, но наряду с этим совершенно не знали политику. Меня это также очень поражало.

Единственно, с кем я поддерживал дружеские отношения из своих родственников, был дядя, Толчинский Самуил Абрамович. Толчинский был разносторонне образованным человеком, но никогда не учился и заявлял, что он мещанин. Это мне нравилось, и я считал его честным человеком. Он относился ко мне лучше, чем к своим детям. С Толчинским у меня очень часто были беседы на антисоветские темы. Так, например, мы беседовали относительно карательной политики в 1937 году, о завещании Ленина и по другим вопросам...

С таким багажом я пришел к августу 1950 года. В августе 1950 года я пытался поступить в МГУ на философский факультет. В 20-

числах июля 1950 года я зашел в МГУ на консультацию по иностранному языку и там встретился со Слуцким. Там мы решили совместно готовиться к сдаче экзаменов по географии. Во время следующей встречи со Слуцким мы беседовали о том, куда можно пойти после окончания философского факультета. Я сказал, что после окончания философского факультета ожидает аспирантура, или партийная работа, или преподавательская работа, и заявил, что хочу поступить в аспирантуру. Слуцкий заявил, что пойдет лучше на партийную работу.

В октябре 1950 года, когда вместе с Печуро я шел к Слуцкому на сборище, в разговоре со мной Печуро заявила, что члены ее группы горят желанием работать, а работы нет. Во время сборища у Слуцкого я предложил перейти к террору. Против моего предложения выступили Слуцкий и Печуро, и оно было отклонено. На следующем сборище при обсуждении программы я вновь заявил о переходе к террору... Кроме того, я предложил создать тщательно законспирированную террористическую группу, руководство которой брал на себя.

После первого антисоветского сборища, как я уже говорил, организационный комитет приступил к вербовке в «СДР» Печуро и Мельникова. Мельникову было поручено возгласить техническую группу. Слуцкий рассказал, что в «СДР» уже есть течения, что есть большевики и меньшевики, есть также и террористы. Мельников заявил тогда, что у него есть оружие. Я знал, что Мельникову дали родственники револьвер, который попросили выбросить. Мельников мне также говорил, что этот револьвер он выбросил, и поэтому я спросил у Мельникова, откуда он взял оружие? Мельников улыбнулся и сказал, что револьвер он не выбрасывал и мне об этом не сказал, потому что детям такие вещи не рассказывают.

В конце августа 1950 года Слуцкий, Фурман и я приехали к Печуро, и затем мы все пошли гулять в Петровский парк. Цель этого визита была такова, что Слуцкий и Фурман уехали из Москвы и нужно было обсудить кое-какие вопросы по антисоветской деятельности, в частности, вся работа в Москве была возложена на меня и Печуро...

В антисоветскую организацию я завербовал Мельникова, Рейфа и Улановскую, но этим я не собирался ограничиваться...

В октябре 1950 года на очередном сборище мы обсуждали и утверждали программу Слуцкого. Сборище проходило очень бурно, чуть ли не до драки, но было прервано в самом разгаре приходом Мельникова, который принес стенографический отчет

о 14-м Съезде ВКП(б), и мы стали читать выступления на съезде отдельных оппозиционеров. Я и Мельников считали программу неутвержденной, и было решено утвердить ее на следующем сборище у Слуцкого.

...26 ноября 1950 года на сборище я зачитал свои тезисы и заявил, после того как тезисы были отклонены, что программа «СДР» не утверждена, и предложил утвердить.

Первый же пункт программы вызвал ожесточенный спор, и мы были вынуждены отбросить утверждения программы и стали читать тезисы по пунктам. Тезисы, как я уже говорил, были отклонены. Затем Слуцкий зачитал резолюцию, в которой отметил наличие в «СДР» двух течений — террористического и теоретического. Слуцкий был против террора и заявил, что террор может привести в лагерь политических убийц, авантюристов и шпионов. Сборище было бурно до дикости. В конце сборища было предложено подчиниться партийной дисциплине.

На следующий день я заявил Слуцкому, что мы с Мельниковым и Рейф не подчиняемся партийной дисциплине и выходим из антисоветской организации «СДР». Заявил также, что у нас 20 человек. Затем на сборище у Рейф мы формально оформили нашу организацию и создали свой организационный комитет, в который вошли я, Мельников, Рейф, членом организации — Улановская. Было также создано три сектора, это — теоретический, организационный и технический. Мне было поручено вести теоретический сектор, подготавливать антисоветские пасквилы и другое. Организацию стали именовать «Союзом освобождения рабочего класса». Затем у нас завязался спор относительно выпуска своей газеты. Мы предполагали выпускать газету в 20 экземплярах и посылать ее в письмах членам организации. Газета в основном предназначалась для кружковцев.

Во время моего участия в антисоветской организации я написал антисоветские документы — «манифест», тезисы «о тактике «СДР» и несколько статей для газеты. «Манифест» я положил между ученическими тетрадями, и однажды отец случайно его обнаружил и стал читать. Увидев это, я вырвал у отца из рук «манифест» и прочел ему сам, выдав текст за бухаринский, и объяснил, что это мне нужно было в качестве учебного материала.

...С Мельниковым я собирался написать книгу «Госкапитализм», но потом от этой затеи отказались и решили написать «Государство», а затем «30 лет». В этих книгах мы хотели с троцкистских позиций осветить историю партии...

Наконец все было рассказано. Даже последнее слово нам предоставили! Законность процедуры соблюдена. Какая важность, что не было ни свидетелей, ни защиты, ни гласности — мы приравнены к военным преступникам, нас судит Военная коллегия Верховного Суда СССР. Звучало это все очень страшно, но вся обстановка суда не предвещала ничего особенно плохого. Собственно, общее настроение создавали мы сами, и, как нам казалось, серьезность следственных протоколов испарялась по мере того, как мы рассказывали обо всем сами. Взрослые мудрые «дяди-генералы», конечно, понимают благородные мотивы наших действий и не накажут нас строго. Все мы были в приподнятом настроении, часто смеялись, перекидывались репликами, не обращая внимания на угрозы вывести из зала заседания.

В наших исповедях было столько наивности, что, повзрослев на года, мы без смеха не могли слушать о прежних поступках и рассуждениях. Еще год назад мы были детьми, и этого не могли не понимать судьи. Я видела, как стоявшие у стен конвоиры с трудом сдерживали смех, когда кто-то из нас рассказывал что-то смешное или наивное. Мне кажется, что настроение почти у всех было бодрое — самое плохое позади.

Насколько я помню, в день, когда нам дали последнее слово, был вынесен и приговор. Нас увели на обед и снова привели в зал суда. Последний раз прозвучало: «Встать! Суд идет!» Судьи вошли как-то особенно стремительно и остались стоять перед столом. Лица их были краснее обычного, а может быть, это мне только показалось. Главный начал читать приговор. Он прозвучал невероятно:

— Борис Слуцкий, Владлен Фурман, Евгений Гуревич приговариваются к высшей мере наказания — расстрелу!

Прошло несколько секунд, прежде чем я осознала смысл сказанного. Уши как-то сразу заложило, голос читавшего доносился издалека. Я с трудом понимала остальное — 25, 10, 5, — что это, годы заточения в тюрьме, лагерь? Что такое «поражение в правах»? Невозможно сосредото-

читься. Глаза уперлись в спины трех юношей. Я видела, как Женя покачнулся. Сусанна бросилась к Борису, но ее оттащили. Последние слова приговора я услышала отчетливо:

— Слуцкий, Фурман и Гуревич имеют право просить помилования.

Генерал с полковниками как-то незаметно для меня исчезли, а к трем осужденным на расстрел почти подбежали конвоиры. Начался какой-то невообразимый шум, все что-то говорили друг другу и, уже не опасаясь охраны, кричали вслед уводимым:

— Ребята, просите помилования!

Комната опустела очень быстро, меня увели, как всегда, одной из последних. Когда за спиной захлопнулась дверь камеры, я в изнеможении опустилась на койку. Жуткое оцепение овладело мною. Я не могла думать о происшедшем. Пустота — ни страха, ни боли, никаких чувств.



Фото Марианны Волковой

Александр АЛЕЙНИК

КРАСНЫЙ ТРАМВАЙ № 1

Картинки из жизни моего отца

23 августа 1990 года утром, не приходя в сознание, в реанимационном отделении больницы, где он проработал 35 лет хирургом, умер мой отец.

Мама написала через три недели после его похорон со станции Бологое, по дороге в Старую Русу. Ее поезд опоздал на час к уже отчалившему туда поезду. До следующего поезда ей оставалось сидеть в медпункте за железнодорожным чаем и домашними бутербродами.

Она коротала время письмом ко мне, из которого следовало, что отца схоронили в пятницу 25-ого (в субботу евреям хоронить нельзя), что он страшно мучился перед смертью, что его отпевал раввин, а брат мой заказал по нему кадиш.

Лучшее из воспоминаний — это кислые яблоки в Канавинской бане, газетка под ноги, чтоб не заболеть и не

запачкать. Я натягиваю чулки, застегиваю резинки. Чулки и пояс, как у девочки, и он дает мне прохладное яблоко.

* * *

Детские воспоминания о нем физиологичны. Он казался мне огромным, чудовищно сильным. С годами он уменьшался, скукоживался, старел, сделался суетлив. Надулся круглый живот, и оттопырил его затасканный пиджак. В лице укрепилось постоянное выражение безадресной обиды и вопроса. Волосы побелели, и жена брата однажды, когда он приехал в Москву, пошутила: «Вы стали прямо совсем серебристый, как хек». И мы засмеялись.

* * *

Моя восьмилетняя дочка Ася заметила его диковинную желтизну вскоре после моего отъезда.

Уже предполагая, он пошел в свою больницу делать анализы. Его обследовали и нашли рак крови.

Он, как доктор, прекрасно знал, что у него еще есть два года.

Боль он переносил очень терпеливо, не стонал. Боли было много.

Он был в сознании почти до момента смерти. Мама его о чем-то спросила, он не расслышал, или не захотел ответить. Последнее произнесенное им слово — «жить».

* * *

Рассказывать о нем, — это рассказывать о себе. Я знаю, что я не в маму, а в него. Ее черт предостаточно, и одна из них — терпеливость — и осложняет и помогает существовать. Но все мои: наивность, мечтательность, растерянность, дурашливость — от него.

С какого-то возраста я простил ему его самоё, как простил себе себя. Я стал принимать его таким, каким он был.

* * *

В нем прятался смешливый чертик. Он запросто мог что-нибудь неожиданное отмочить и принародно ляпнуть.

В компаниях он иногда читал с МХАТовскими интонациями «Не образумлюсь, виноват...» Руку он прикладывал ко лбу и начинал знаменитый монолог. Где-то в этих словах был угол «оскорбленному чувству» и обличительному пафосу.

Я догадываюсь, что он был очень равнодушен к женщинам и вполне допускаю, что он был тайный гуляка. Говорю о нем, как о себе, опуская дурное. Не мне судить его.

* * *

Он был хирург Божьей милостью и собственной волей. У него было бешеное упрямство, может быть хорошее качество для врача, и он был очень живой, очень приятный человек для посторонних. Пациенты, сестры, врачи говорили о нем с восхищением и даже с нежностью. Иногда он очень хорошо шутил, грубовато, с большим сарказмом.

* * *

В начале шестидесятых он первый в Союзе пришел отрезанную руку. Молодой рабочий попал под электричку. Дежурил ночью в больнице отец, и «Юлька Березов», потом профессорствовавший в Москве.

Они сказали санитарам съездить за рукой, может быть валявшейся еще на насыпи. Руку нашли. Откромсана она была выше локтя.

Через сорок пять минут они начали операцию: вбили металлический штырь и соединили кости, шили сосуды, нервы, мышцы. Подобные вещи делали только в Америке, не вдвоем, и там уже был определенный опыт и инструменты.

Через месяц, парень этот почувствовал укол иглой в палец, а через полгода он мог сжимать кулак и орудовать пришивной рукой на сколько-то там процентов. Отец возил его на хирургическое общество. Там удивлялись и аплодировали.

* * *

Мне мешает писать о нем то, что он мой отец, и то что он умер. Ни то, ни другое, к сожалению не изменить.

Если б у меня был другой отец, возможно, я — другой, был бы счастливее.

* * *

Он гордился своей профессией. Она возвышала его над вполне мещанским кругом знакомых и родственников. Он мог поглядывать на них свысока и не отказывал себе в этом домашнем удовольствии. Профессия давала ему ощущение собственной важности и независимости в мире, ценности для тех, кого «прижало». Эта его незаменяемость в определенных обстоятельствах болезни, мучений, усталости давала ему значительно больше, чем накопление имущества или, например, любовное отношение к своему посту.

Поста никакого не было. Он был «рядовой хирург». К теоретикам он относился весьма скептически. Всех знал и оценивал коллег не по степени и занимаемому положению, а по тому «откуда у них росли руки». У него росли откуда надо. Ему хватало профессионального признания, уважения медперсонала и больных, отдельных его статей в хирургических журналах и публикаций о нем в городских газетах.

* * *

Он зарабатывал деньги, отбивая у смерти больных, часто обреченных людей. А деньги он прятал от матери, вернее пускал их на ветер. К концу жизни он стал отдавать их на общее хозяйство. Он сильно менялся к смерти. Рос?

* * *

Он накопил всякую дурацкую всячину сериями: шахматные доски с фигурами, мужские побрякушки, лупы, микроскопы, горы книг, которые не читал, кроме, разумеется, медицинских. Старался покупать по дешевке, где-нибудь в комиссионках, и естественно, получал дрянь, полуприемимую к его вожделению обладать тем или иным блазнящим его предметом. Скажем два магнитофона, один другого хуже, на которых он слушал всяческих ресторанных монстров. Однажды я ему дал Галича, он расплакался, скопировал катушку, да еще в неделю перекатал в тетрадь

тексты песен со слуха. Голос его подводил и начинал дрожать, когда он говорил о Галиче.

* * *

Я никогда его не увижу. А мне бы надо было с ним поговорить. Нам всё и все мешали, и мы себе страшно мешали разговаривать: наши роли по отношению друг к другу, обоюдная нечуткость и, боюсь, генетическое неумение слушать через все напластования взаимных обид и претензий.

Мы, встречаясь, вообще, часто перегибали палку. Партитура разговора друг с другом, неудержимо влекла нас к скандалу, и нам не дано было сфальшивить, исполняя партии отец-сын. У нас были счеты. Ни я, ни он не желали их забыть. Он умер. Мы их свели и не поговорили на этом свете.

* * *

Однажды зимой в сильный снегопад он провожал меня на поезд в Москву. Мать его уломала. Без него я бы не дотащил гору книг и университетских учебников.

На прощанье он поцеловал меня в губы. Я почувствовал дикое омерзение. Этот его поцелуй мокрой, теплой, слюнявой медузой прилепился ко рту. Я отплевывался и оттирал губы рукавом в тамбуре. Это было что-то органически-запредельно-отвратительное.

Может быть, этим прощальным лобзанием он хотел изъяснить мне отцовскую любовь и свое стариковское одиночество? Помню, что я всегда с омерзением выносил его поцелуи, но тот был просто рекордно отвратителен.

* * *

Наверняка, тут несет Фрейдом и, вообще, моим физиологическим неприятием отца. Помню в бане я, маленький, со страхом смотрел на его детородный орган. Мой собственный, как бы и не существовал в его присутствии. Своей исполинской фигурой, на которую было навёрчено столько мяса буграми, он запросто перечеркивал меня. Мой масштаб не учитывался этой горой волосатой плоти,

этим гигантом, который по неосторожности мог бы и растоптать меня, и я не хотел себя сознавать ничтожным, почти не существующим рядом с ним в этом мужском аду, где все мы были голыми и утопали в холодноватом тумане и адском шуме помывок. Там был жуткий сводчатый потолок, и когда туман по какой-нибудь причине рассеивался, я видел набухшие жирные капли, виснувшие над нашими головами.

* * *

Я уверен в том, что он так и остался мальчиком, бесчувственным мальчишкой, с приступами слез умиления по очень странным поводам. Например, однажды, он всплакнул, когда наш дорогой товарищ Брежнев, уже в старческом маразме, провожал высокого иностранного гостя из Внукова в полет. Микрофоны не отключили, а телевизор вещал на предельной громкости. Леонид Ильич остроумно пошутил с товарищами, что мол «товарищ Хромыко у нас усе урэмя пишет».

У отца очень увлажнились глаза и он, борясь с начинающимся рыданием, восхитился на тему, что мол «и он — человек!», т.е. наш уважаемый Генеральный секретарь.

Эта слеза умиления меня подлинно растрогала и не забылась. За ней стояло: «будьте вы хоть на понюшку людьми и — я вам все прощу! Даже ту оскорбительную пропасть, что зияет меж вами — лицами протокола, и мной — человеком толпы».

* * *

Он себя чувствовал большим на работе и очень маленьким в истории и государстве, вот и прослезился, когда был «допущен» до вполне человеческой фразы, сказанной без бумажки. Акакий Акакиевич тоже б расплакался.

Это ж было сталинское поколение. Из них воспитывали маленьких людей и уродов. И надо признать, многого в этом направлении добились. Павлики Морозовы — в детстве. Ягоды-Ежовы-Берии — во младости даром не проходят. «Пламенный мотор» вместо сердца, и Сталин вместе с Ждановым вместо собственных мозгов должны были

сформировать из них зомби поголовно. Комсомол, военкоматы, стукачи тщательно их обработали. Их крепко почистили бдительные органы, голодуха и война. Страх и унижения сформировали их подавленную человечность.

Как же не заплакать, когда ОН говорит что-то кухонно-узнаваемое. Без бумажки! При нем! Ведь ОН не подлый идиот, а оказывается человек!

* * *

Чувствовать глубоко было ему недоступно. Внутри него прочно гнездились две однойцовые птички: черствость и инфантилизм. Нежность, любовь, щедрость как бы взрывали время от времени изнутри его оболочку. Он выходил в буквальном смысле из себя и... его не принимали.

Нежный, любящий, щедрый он не увязывался с собой. Как нельзя поменять группу крови, так не мог он перемениться надолго, на дольше чем часик-другой. Он был не глубок, трогателен и смешон в этих порывах-рывках из тюрьмы своего «я», из переживаемой им внутренней жизни, видимо несчастной, обиженной, ищущей одобрения и поддержки, неуверенной в себе, в мире и в людях.

* * *

Он никогда не мог с людьми по-человечески соединиться. Может быть скальпель соединял его с их вспоротыми телами, и только таким вот образом он творил свою жестокую, спасительную, докторскую любовь. А все остальное и не было ему по-человечески важно.

Он был угрюм и доверчив, озлоблен и добр, скуп и щедр. Он был не простой орешек, и сейчас его разгрызает смерть.

* * *

Ему было лет пять, когда у него появился третий младший братик, и его мать, как ему показалось, совершенно его забыла. Он ее ревновал. Она ушла в лавку за продуктами, и он приступил к исполнению давно выношенного плана. Он подставил табуретку к окну, вытащил визжащего, спеленутого братика из люльки, и положил этот живой

сверток в посылочный ящик. Может быть братик и не визжал, а помалкивал, почмокивая своей соской, или спал.

Жили они на третьем этаже. Ящик маленький Аркаша начал было подталкивать по подоконнику в растворенное окно, и быть беде, да в комнату вошла его мать — моя добрейшая бабушка Софа. Таким образом мой будущий дядя был спасен и братоубийства не совершилось.

* * *

Это самое окно выходило на прямоугольную, очень уютную площадь, со сквериком. В скверике росла чахлая, вытапываемая трава, рахитичные березки и ясени.

За углом дома, справа от окна, находилась зеленная лавка в полуподвале. Напротив — аптека. Налево печалил глаза то ли совет, то ли управление, в общем, что-то очень краснокирпичное в нижегородском купеческом стиле.

Удивительно, что памятника Ленину или Сталину или, скажем, статуи пионерки с горном, почему-то не наблюдалось. То есть площадь ничем идейным украшена не была, разве что трепещущие березки шевелили на ветру листочками, воплощая что-то трогательно-патриотически-российское. Если вы смотрели на них из скверика, они стояли, как хрупкие русские девушки, которым некуда пойти. В окно комнаты была слышна их шелестящая жалоба.

Маленькая, уютная, много вместившая городская площадь, очень похожая на комнату, примыкавшую через окно к квартире. Даже деревья иногда казались комнатными растениями, которые выставили отдышаться на волю под небо, и они стояли и боялись.

* * *

Правым торцом дом выходил на улицу Ошара. Название звучало темновато. Улица в давние времена была опасной, на ней *ошаривали* карманы прохожим. Начиналась она от бывшего кладбища, обведенного кольцом «первого» трамвая. Кладбище сначала заровняли, снесли осевшую его крестом часовню, а потом превратили в скуч-

ный сквер. Называлось это место «Черный пруд» и там гужевались пьяницы и одяшки.

* * *

Я не любил принимать его подарки. Все равно через пару дней он их неизменно требовал назад «за плохое поведение». А купить подарком «хорошее поведение», увы, не выходило. Так что от подарков я стал отказываться. Зачем? Ведь он дарил мне на время, как бы поиграть. У меня же, неминуемо, он все отбирает назад. Нет. Уж лучше не привыкать и не расстраиваться потом. Это я довольно рано усвоил.

Видимо, чувство потрясенной справедливости, а не жмотство, заставляло его отбирать подаренные ножички, блокнотики и прочую дрянь за, так сказать, «неуважение». Суважением дома было туго. Когда родители скандалили, мама довольно изобретательно выкрикивала ему «турист», «квартирант», «херург» и, многие утраченные памятью за давностью, бытовые эпитеты.

* * *

Я, по детскому любопытству, подобрал ключ, однажды залез к нему в ящики письменного стола. Там были десятки неначатых блокнотиков, наборы трофейных хирургических инструментов со свастиками на крышках, таинственные ампулы (тоже со свастикой), оптические приборы и лупы, иностранные монеты, перочинные ножички различных конструкций, большей частью поломанные, но жалко выбросить, карманные шахматницы с фигурками, офицерские золотые погоны и офицерские полевые медали и два его боевых ордена, фотографии, письма, краснознаменные грамоты с колосьями, статьи о нем в газетах, брелоки, часы ручные и карманные, и тому подобные мужские побрякушки и причиндалы.

Я был неприятно поражен, не обнаружив пистолета, который мне навязчиво мерещился. Я мечтал, выдвинув ящички, что вот когда вырасту — разживусь такими же ножичками (только не сломанными), лупами, биноклями и тусклыми иностранными монетами.

Его сокровищами, судя по содержимому ящиков, были сокровища мальчика, вдруг ставшего офицером, что было вполне типично для мальчиков его поколения, стремглав становившихся калекуми, трупами, орденосносцами, зеками, офицерами.

В младшие лейтенанты был произведен в сорок втором году, когда ушел со второго курса медицинского института на фронт. Мальчишкой взялся за скальпель и начал выковыривать пули или осколки в прифронтовых госпиталях, за войну он успел сделать около двадцати тысяч операций. Цифра от него, насколько точна — Бог весть. Был ранен пулей в голову. В подбородок! Три с половиной года он практически не спал. Закончил войну капитаном в Восточной Пруссии. Год еще продержали в армии после войны.

В шифоньере висел побитый молью парадный китель и галифе с красными галунами. Я иногда красовался в кителе перед зеркалом, в его отсутствие. Галифе с меня спадали.

Капитанские же погоны, найденные в ящике, мало того что были расшиты золотом, но на каждом было аж по четыре острых звездочки, все в гусиной золотой коже — в пупырышках, как от продолжительного купания в этой немислимой роскоши. На остром конце погон были золотые пуговицы с гербом и золотые же змейки, обвивающие кубки и клонящие над ними головку с высунутым жалом. Погоны эти — я не выдержал и нагло спер. Он этого и не заметил, на мое счастье.

* * *

Мне лет шесть. Три летних месяца мы живем в Бутурлине, райцентре Горьковской области. Там быстрая прозрачная речка. Я лежу животом на досчатых мостках и слежу в тени своей головы подводный ход рыб и гадов. На горке белая больница. Отец согласился заменить отсутствующего местного хирурга.

Жизнь безумно интересная: купания, слежение попрыгивающего поплавка, лес с грибами и малиной, густой

запах земли, когда тянешь из нее извивающихся, скользких червей.

* * *

Отец за руку тащит меня наверх — в операционную. Мы с ним решили, что я как он буду хирургом. Я в белом халате до полу. Входит отец, руки в белых перчаточках задраны вверх, пальцы враспырку. На голове шапочка, под глазами повязка.

Посреди операционной стол. На нем усыпленная баба. Она вся под простыню. У нее огромный, желтый живот — горой. В простыне дырища, чтобы этот живот торчал голый.

Отец берет из рук хирургической сестры маленький, сверкающий ножичек и одним движением распахивает живот на две половины. Живот выворачивается наружу. Это — как распоротый диван. Под серой кожей желтоватые, плотные облака жира, переложенные красными сосудиками. Мне страшно на это смотреть. А он еще режет и изнутри показывается темнокоричневый, влажно-блестящий орган. Я на подгибающихся ногах отхожу к окну. В ушах у меня свистит. Сейчас я упаду от ужаса. Мир куда-то целиком отваливается.

Мне суют под нос что-то щиплюще пахнущее. Свист в ушах затихает, и темнота, навалившаяся на меня, проясняется.

Я вижу склонившуюся надо мной молоденькую медсестру, которая мне что-то говорит и целует мне лоб. Марлевая маска у нее сейчас под подбородком. Меня тошнит. Я смотрю вниз на худенькую березку, простоволосую, трепещущую резными листочками. Медсестра, приобняв меня, сводит вниз по лестнице к березке.

* * *

Отца часто вызывают для срочной помощи. Иногда он меня берет с собой. Мы ездим с ним на «козлике» по району. Он работает, а я гуляю вокруг медпунктов, или изб. Ему чуть не в пояс кланяются и смотрят на него самым восхищенным образом. В «козлика» напихивают мед в

бочечках, воблу в мешках, яйца, домашнюю колбасу, бутылки вин и коньяков и т.д. Отец, горячась, протестует. Напихивают когда его нет, через шофера. Шофер божится, что не знает, кто мол это принес, и не выбрасывать же!

Несколько раз он берет меня полетать на «кукурузнике». Меня сажают рядом с летчиком и я безотрывно гляжу на речки, рощи, деревеньки, поля, крошечных коровок. Самолетик падает в воздушные ямы, и во мне падает сердце каждый раз. Летать восхитительно!

Раз на самолетике мы летим к занемогшему батюшке. Церковь. Монахи. Батюшка в бороде, в черной, подпоясанной рясе. Отец удаляется с ним ненадолго «щупать живот». Меня монахи сажают за стол и начинают кормить. Возвращаются отец и батюшка. На прощанье в самолетик напихивают всякой снеди и мед, который я не выношу.

* * *

Отец в деревне хвалится перед медсестричками, какой он спортивный ездок на велосипеде. На нем синие китайские штаны «Дружба». Он показывает девушкам, как надо запрыгивать на велосипед сбоку, когда трогаяешься с места. Очень ловко, с треском запрыгивает. Трещит порванная углом ткань на штанах. Он бедром задел за седло. Отец смущен. Медсестрички корчатся от хохота.

* * *

Еще одно лето. На этот раз на Пьянском Перевозе. Стремительная, кристальная речка Пьяна. Когда в нее опускаешь ладонь — рыбки задевают пальцы чешуей. Деревенские мальчишки умеют ловить рыбу руками. Я научился плавать на спине. Ложился на песочек спиной в воду и потихоньку сползал в речку совсем. Оказалось — вода держит.

Живем у браконьера дяди Капы. Колхоз разводит жирнущих зеркальных карпов, исключительно для Кремля и министерств. Дядя Капа на плоскодонке браконьерит по ночам. Лодка почти тонет от тяжести рыбы. Карп дурной. Мечет икру, выпрыгивает из воды в воздух на полметра. Бьется боками о дно и борта лодки. Иногда дядя Капа

ловит в Пьяно щук. Ботая боталом производит гулкий, лопающийся звук, завораживающий щуку и, кажется, сома. Ловит громадные экземпляры. Несколько раз вылавливал щук толщиной в полено, заросших от старости волосней.

Пасть их усеяна крючковатыми зубами. Есть их нельзя, невкусные. Их жрет с мурканьем кот дяди Капы — Васька.

* * *

Отец отпускает меня в ночное. Меня сажают впереди пастуха на смирную лошадку. Пастух одной рукой меня держит, другой — правит лошадкой. Когда ложимся спать в пахучее, клеверное сено, кто-то из баб у костра истошно визжит. К костру подползла пара сверкающих змеек-медянок. Пастух быстренько засекает их косой.

* * *

Через неделю после нашего возвращения в город, приезжает груженный грузовик. Все отторгнутые отцом дары в кузове. Это бочки с мочеными яблоками и кислой капустой, бочки меда, два(!) мотоцикла, два велосипеда, баян и балалайка, патефон, мешки с гречкой, пшеном и т.д. Дедушка с шофером таскают все это в сарай. Отец на работе, дежурит. Мама в ужасе: «Ну зачем нам еще эти мотоциклы!» Шофер ухмыляется и говорит, что мол веле-но разгрузить и все. «Пригодятся, хозяйка».

Один мотоцикл отец подарил младшему брату (тому, которого чуть не скинул во младенчестве с подоконника), второй, кажется, продал. Мотоциклы и мотоциклистов он люто ненавидит: мотоциклисты разбиваются и попадают к нему на операционный стол. Спасать их жуткая проблема. Бьются вусмерть.

Обычный его обеденный разговор состоит из описания маме дежурств и операций. «Оперировать» произносится особенным образом: «опеировать». Слова «помер», «померла» употребляются чаще, чем «соль» и «перец».

* * *

Он проработал тридцать пять лет в одной и той же больнице, в травматологию которой свозили всех разбив-

шихся, вешающихся, травящихся, стреляющихся, раненых и почти убитых. На работе он по локти погружал руки в кровавую плоть.

Приходя домой, специальной щеточкой, тщательно мыл перед ужином руки. Ногти были выстрижены выше бороздок над подушечками пальцев. Он умел пользоваться левой рукой почти как правой, что меня поражало. Мама говорит, что он разделявал купленную рыбу или курицу мгновенно и чисто, какими-то списанными на работе кривыми ланцетами.

* * *

Он любил кататься на лыжах. Место катания — замерзшая, завьюженная Ока. Там было полно лыжников, и во все стороны разбегалась накатанная, сверкающая лыжня. На Оке почти всегда дул ледяной ветер, и одеваться для лыж нужно было очень тепло. Ботинки надевались на несколько шерстяных носков, обмотанных сверху газетой.

Была у него особенная, никогда не встречавшаяся мне нигде, деталь лыжного туалета. Это был какой-то застиранный бандаж, надеваемый им под лыжные штаны. Называл я эту вещь придуманным мною словом: «наяйцовник».

* * *

Он, очевидно, стыдился своего еврейства. Отчество Зельманович он сменил на звучащее благородно-русским «Зиновьевич».

Когда к нам заходил какой-нибудь по-волжски «окающий», русский его знакомый, он принимался вслед за ним усиленно «окать». Разумеется, тут же появлялся ехидствующий в меру юных сил я и начинал Обильно, нажимая на «О» «окать» тоже. Он, разумеется, этих передразниваний не выносил. Когда знакомый удалялся, я обращался к отцу крайне непочтительно, клича его «Оркаша» и «во всю ивановскую Окая». Любопытно, что этими непотребными шуточками я Отучил его От этого его жалкого Обыкновения, От самоуничтожительной игры в «русского человека Оркашу».

* * *

После восьмого класса он взял нас с братцем в Севастополь, на море. Мы разбили палатку в палаточном лагере на Учкеевке, где был чистый желтый песок на пляжах, а на столовой горе — миндальные рощи. В этих рощах горький миндаль соседствовал со сладким. Обнаружил эти замечательные рощи мой пытливый братец.

Мы отправились туда с фанерным чемоданом и парой половинок кирпича, чтобы раскалывать пробный орех, и если попадался сладкий — дерево годилось. Я залезал на дерево и драл орехи. Братец собирал их внизу. Мы приволокли полный чемодан к палатке.

Отец сидел перед костерочком. Станным образом его носки сушились у него на предплечье. Может им так было теплее.

Братец с невинным видом осведомился: не любит ли папа миндаль? Папа, оказывается, миндаль любит. Братец отгрузил ему орешков, и папа приступил к пробе. Он взял в рот орех, покрытый черноватой жесткой шкуркой с серенькими волосиками, обглодал и, не сморщившись, выплюнул. Взят второй — выплюнул, и сказал, что ему не нравится миндаль. Мы со смехом, разобъяснили ему, каким образом миндаль употребляют. Таковы были жестокие наши проказы.

* * *

Когда бабушка умерла, он переселился в ее комнату. Впервые, на старости лет, он обзавелся «кабинетом». Врезал замок, прикупил велик, аккордеон, пару магнитофонов и т.д. Он там блаженствовал.

Комнатка была крошечной, и с коечки можно было ступить только боком, минуя задиравший велосипед, сразу — к письменному столу.

До потолка все вдруг забилося газетками, научно-популярными брошюрками и журналами, шахматной и медицинской литературой, фотоувеличителем и фотопринадлеленностями, инструментами и черт-те чем.

Газеты он почему-то копил. Мама иногда туда проникала и выкидывала. Начинались крики и обиды.

На велосипеде, с привешенной на руль авоськой и нагруженным багажником, он объезжал район в поисках продуктов. Мама говорила, что без этих поездок они бы кукиш сосали. Таков был уклад горьковской их жизни без нас.

* * *

Мы с братцем давным-давно отчалили в Москву и навещали город Горький наездами. Когда я приезжал, отец уступал мне свой крошечный кабинетик и меня, как человека молодого и очень пылкого, начинали навещать мои девушки. Разумеется они ночевали в моей кровати.

От отца очень помогала задвижка на двери. Но он сопел под дверью и тихо неистовствовал. Девушек моих, по их уходу, он называл «блядьми», с чем я и по сию пору не согласен. Они были мои подружки и студентки.

Если бы я в юности не уехал в Москву, боюсь, у нас были бы дома кулачные бои. А так — я приезжал на месяцок на сессию в университет, и он твердо знал, что через сколько-то дней или недель я слиняю на полгода в столицу, и «возмущению» его был положен временной предел.

Маму мои девушки смущали куда в меньшей степени. Она их даже кормила на кухне обедами. Он же затравленно зыркал глазами и клонил лысину долу, пряча «возмущенные» взоры.

* * *

Отчий дом, то есть то место, где он родился и вырос, находился от нас в сорока пяти минутах езды первым трамваем. Мы доезжали до кольца и шли по Ошаре еще минут пять. Там жила моя вторая бабушка и второй дед — его родители.

Трамваи ужасно нравились мне. Внутри был какой-то каторжный уют и унылое, убаюкивающее тепло. Отец сидел рядом и читал серые свои газеты, я глядел на город сквозь окна.

Зимой, продышав розу на замерзшем стекле или продавив молочный нарост нагретой ладонью монетой, я тер пальцем проясняющееся место до тех пор, пока не начи-

нали за ним во всех отчетливых подробностях отлетать назад дома и пешеходы.

Снаружи трамваи казались мне неприкаянными красными бродягами, которые никак не найдут себе места на свете и вечно подсматривают в желтые тусклые окна домов чью-то чужую жизнь.

* * *

Я не изменился. По вечерам, где бы я ни был, я вижу тусклые желтые окна и ощущаю себя бродягой. Я вижу себя пассажиром красного трамвая — бродяги. Я — такой же. Нам всегда по пути. Окна мимоезжих домов освещены теплой и недостижимой чужой жизнью, мало похожей на мою.

Несколько лет назад какой-нибудь московский прохожий или проезжий человек, может быть, поднимая взгляд, видел в верхнем этаже, в переулке, освещенные три окна, бордовые гардины или наши тени.

Год назад я испарился из этих мест навсегда и... снова оказался в красном трамвае ребенком. Рядом сидит мой бессмертный отец, и мы едем с ним к моей бабушке на «Черный пруд», к кольцу первого трамвая.

16 окт. 90. Нью-Йорк



РАЗГОВОРЫ С НАБОКОВЫМ

**Впервые публикуемые на русском языке
интервью с В.В. Набоковым**

Исполнилось 98 лет со дня рождения В.В. Набокова. Нет нужды распространяться о его влиянии на родине. Но вряд ли мы хорошо представляем, какова его литературная репутация на Западе и особенно в Америке. Например, после выхода в свет его знаменитой «Ады» критик «Нью-Йорк Таймс» писал: «Набоков в настоящее время является нашим единственным литературным гением...» Этой оценке вторит рецензент журнала «Тайм»: «Набоков является величайшим американским новеллистом, наиболее оригинальным автором и стилистом со времен Джойса...» В самом деле, начиная с 1939 года, им написано более 10 романов, сб. стихов и эссе на английском языке.

Владимир Набоков оставил огромное литературное наследство, в том числе более 30 интервью. В них ярко проявились особенности его характера, стиля и мышления и потому они представляют огромный интерес для

любителей русской литературы. Бесконечно требовательный к слову он соглашался отвечать на вопросы только письменно. Вот как он объясняет это сам:

— Я думаю как гений, пишу как известный писатель, а говорю как ребенок. В течение всей моей академической карьеры в Америке, начиная с лектора и кончая полным профессором, я никогда не предоставлял моей аудитории чего-то заранее не напечатанного, лежащего перед моими глазами на лекторской кафедре. Мои запинания и бормотания по телефону заставляли звонивших мне переходить с родного английского на патетический французский. На вечеринках, если я пробовал развлечь публику какой-либо историей, я должен был через каждое предложение возвращаться назад, опуская одни слова и вставляя другие... В подобных обстоятельствах никто не должен требовать от меня подчинения обычной процедуре интервью, если под интервью понимать разговор между нормальными человеческими особями. Теперь я принимаю все меры предосторожности, чтобы быть уверенным в том, что я говорю. Вопросы интервьюера должны быть представлены в письменном виде. Я отвечаю на них в письменном виде, и мои ответы печатаются без изменений. Таковы три моих абсолютных условия...

Итак, ознакомившись с условиями, на которых Владимир Набоков соглашался отвечать на вопросы заинтересованных корреспондентов, перейдем к его тезисам.

Анонимное интервью, 1962 год (Нью-Йорк)

«— Журналисты, задающие вам вопросы, не находят в вас особенно вдохновляющей личности. Почему бы это?

— Я горжусь тем, что являюсь личностью, не вдохновляющей толпу. Я никогда не был пьян, никогда не пользовался словом из трех букв, никогда не работал в конторе или на шахте. Никогда не принадлежал ни к какому клубу или группе. Никакое вероучение или направление не имело хоть какого-то влияния на меня. И ничто не заставляет меня так скучать, как политический роман или литература социального направления.

— И все-таки существуют вещи, которые вас как-то затрагивают, то что вы любите и не любите?

— Моя ненависть проста. Я ненавижу глупость, угнетение, злодеяния, жестокость и легкую музыку. Мои удовольствия — наиболее интенсивные из известных человеку: писательство и охота за бабочками.

— Я замечаю у вас множество «эээ» и «ааа». Не является ли это признаком приближающегося старческого слабоумия?

— Вовсе нет. Я всегда был никудышным оратором. Мой запас слов пребывает глубоко в недрах моего разума и нуждается в бумаге, чтобы пробраться в зону физического воплощения. Произвольное красноречие кажется мне чудом. Я переписывал, притом часто по многу раз, каждое когда-либо опубликованное слово.

— Тем не менее, вы сплошь и рядом читали лекции?

— В 1940 году, до моей академической карьеры в Америке, я к счастью позаботился о том, чтобы заранее написать сотню лекций — около 2000 стр. по русской литературе, а позднее написал еще 100 лекций — о великих романистах — от Джейн Остин до Джеймса Джойса. Это обстоятельство непрерывно поддерживало меня в Уэллсли и Корнеле целых двадцать лет. Хотя, стоя за кафедрой, я время от времени поднимал глаза на аудиторию, ни у кого не было сомнения, что я читаю текст.

— Когда вы начали писать по-английски?

— Я свободно говорил по-русски и по-английски, прибавьте к этому и французский, с пяти лет. В раннем отрочестве все мои записи, касающиеся бабочек, я писал по-английски, заимствуя специальную терминологию из наиболее престижного журнала «Энтомологист». Он опубликовал мою первую статью (о бабочках Крыма) в 1920 году. В том же году я отдал поэму на английском в журнал «Тринити», в то время я был еще студентом. После этого в Берлине и Париже я писал мои русские книги: поэмы, рассказы, восемь романов. Значительный процент трехмиллионной русской эмиграции читал их и, конечно, они полностью запрещались и замалчивались в Советской России.

В середине тридцатых годов я перевел на английский два моих романа: «Отчаяние» и «Камера-обскура». Первый роман, который я написал по-английски, был «The Real Life of Sebastian Knight», написанный в 1939 году в Париже. После моего переезда в Америку в 1940 году, я писал поэмы и рассказы для журналов «Атлантик» и «Нью-Йоркер» и сочинил еще четыре романа: «Bend Sinister» (1947), «Лолита» (1955), «Пнин» (1957) и «Бледный огонь» (1962). Я также опубликовал автобиографию «Другие берега» и несколько научных статей по классификации бабочек.

— Вам хотелось бы обсудить «Лолиту»?

— Да нет, пожалуй. Я сказал все что хотел сказать в предисловии к американскому и английскому изданиям.

— Над чем вы сейчас работаете?

— В настоящее время я выверяю мой перевод «Евгения Онегина», пушкинского романа в стихах, который с обширными комментариями публикует фонд Боллингена в четырех томах по пятисот страниц каждый,

— Могли бы вы описать эту работу?

— В течение моей преподавательской работы в Корнеле и других местах я требовал от моих студентов научной страстности и поэтической настойчивости. Как писатель и ученый я предпочитаю точную деталь банальному обобщению, воображение — идеям, призрачность фактов — прозрачным символам и кислый, но натуральный плод — искусственной патоке.

— И, стало быть, вы сохранили этот натуральный плод?

— Да. Мои предпочтения и отвращения руководили мной в десятилетней работе над «Евгением Онегиным». Переводя его 5500 строк на английский, я должен был выбирать между сохранением рифм и точной передачей смысла — я выбирал смысл.

Би-би-си, 1962 год

« — Хотели бы вы когда-нибудь вернуться в Россию?

— Я никогда не вернусь в Россию по той простой причине, что моя Россия всегда со мной: русская литература, язык и мое детство. Я никогда не вернусь. Я никогда

не сдамся. И в любом случае зловещая тень полицейского государства не рассеется на протяжении моей жизни. Я не думаю, что они знают мои работы. Возможно у меня и существуют читатели, в специальном отделе секретной полиции. И потом не забывайте, что Россия за эти годы стала необыкновенно провинциальна, не упоминая того, что людям предписывают, что читать и думать. В Америке я счастливее, чем в любой другой стране. Это в Америке я нашел своих лучших читателей и наиболее близкие мне умы. Это — моя вторая родина в полном смысле этого слова.

— В вашем новом романе, «Бледный огонь», один из героев утверждает, что реальность не является ни темой, ни предметом настоящего искусства, которое создает свой собственный мир. Что такое реальность?

— Реальность весьма субъективна. Я могу определить ее только, как постепенное накопление информации... Если мы возьмем лилию, например, или любой другой предмет природы, то лилия гораздо более реальна для натуралиста, чем для простого человека, но еще более реальна для ботаника. И еще большая степень реальности возникает, если ботаник к тому же специалист по лилиям. Вы, как говорится, продвигаетесь все ближе и ближе к реальности, но никогда достаточно близко. Реальность — бесконечная вереница шагов, уровней понимания ложно достигнутого дна, и, следовательно, она неутолима и недостижима. Вы можете узнавать все больше и больше о чем-либо, но никогда не узнаете всего, это безнадежно. Поэтому мы живем, окруженные более или менее таинственными предметами. Машина, например, абсолютный призрак для меня. Я ничего в ней не понимаю, для меня она тайна, такая же тайна, как была бы, скажем, для лорда Байрона.

— Вы говорите, что реальность невероятно субъективна, но в ваших книгах, мне кажется, вы испытываете почти порочное наслаждение, вводя читателя в заблуждение.

— ...Я люблю простые трюки-превращения: воды в вино и тому подобное. Я думаю, однако, что я в хорошей

компании, потому что все искусство — это обман, не исключая природы. Вы знаете, как началась поэзия? Я всегда полагал, что она началась, когда пещерный мальчишка сквозь высокую траву прорвался в пещеру, крича на бегу: волк! волк! хотя никакого волка и не было. Его обезьяноподобные родители, ярые поборники правды, конечно же укрыли его и родилась поэзия...

— Почему вы так страстно заинтересованы в Пушкине?

— Это началось с перевода, с подстрочного перевода. Я думаю, это было очень трудно. И чем труднее, тем казалось все более захватывающим. Это не столько касается самого Пушкина (которого я конечно очень люблю, он — величайший русский поэт, никаких сомнений на этот счет), сколько волнующей комбинации скрупулезного перевода и определенного взгляда на реальность, реальность Пушкина через призму моего сознания. Дело в том, что для меня чрезвычайно важны вещи и обстоятельства, связанные с «русскостью». Я только что закончил исправления довольно хорошего перевода моего романа «Дар», написанного около 30 лет тому назад. Это наиболее длинный и, я думаю, лучший и самый ностальгический из моих русских романов. В «Даре» описываются литературные и романтические приключения молодого русского беженца в Берлине в 20-х годах, но он не является моим автопортретом. Я всегда очень осторожен в отношении моих героев... Лишь общий фон романа содержит некоторые автобиографические черты. И существует еще одно обстоятельство, почему он мне так нравится: возможно мое любимое русское стихотворение является одним из стихотворений, которые «сочинил» мой главный герой.

— На каком языке вы думаете?

— Я не думаю на языке. Я думаю образами. И я не верю, что люди думают, употребляя язык. Они не двигают губами, когда они думают. Это только определенный сорт необразованных людей двигает губами во время чтения или размышления. Нет, я думаю образами и затем русская или английская фраза формируется на гребне волны воображения, и это все.

— Вы начинали писать по-русски, а затем перешли на английский. Не так ли?

— Да, и это был весьма трудный переход. Моя личная трагедия, которая не может и, в сущности, не должна затрагивать кого-то, кроме меня, состояла в том, что я должен был отказаться от родного языка, от родных идиом, от бесконечно богатого и послушного русского наречия, ради второсортной версии английского наречия.

— Вы написали целую полку книг на английском, также как и на русском, и из всех этих книг только «Лолита» широко известна. Не раздражает ли вас то, что вас рассматривают только как автора «Лолиты»?

— Нет, я бы этого не сказал. Просто «Лолита» была книга, на которую я затратил наибольшие усилия, книга, в которой рассматривалась тема, столь далекая от моего эмоционального опыта. И я испытываю особое удовольствие, что с помощью моего таланта я превратил ее в реальность.

— Почему вы написали «Лолиту»?

— Потому что мне это было интересно. Почему, в конце концов, я написал все мои книги? Исключительно из-за удовольствия, доставляемого этим занятием, из-за трудностей с ним связанных. Я не ставлю себе никаких социальных задач, не решаю никаких моральных проблем; я не разрабатываю никаких общих идей, я просто люблю сочинять загадки, требующие изящных решений.

— Для кого вы пишете? Для какой аудитории?

— Я не думаю, что автор должен заботиться об аудитории. Его лучшей аудиторией является человек, которого в процессе бритья каждое утро автор видит в зеркале. Я думаю, что аудитория в воображении создателя. И если он воображает такого рода вещи, то это комната, наполненная людьми, носящими его собственную маску.

— Правда ли, что ни Джон Шэйд (герой романа «Бледный огонь»), ни его создатель не являются любителями клубной жизни.

— Я не принадлежу ни к какому клубу, ни к какой группе. Я не ужу рыбу, не готовлю, не танцую, не рекомендую

каких-либо книг, не подписываю книг, не присоединяюсь к декларациям, не ем устриц, не бываю пьяным, не хожу в церковь, не хожу к психоаналитикам и не участвую в демонстрациях».

Интервью для «Плейбоя», 1963 г.

«— Чувствуете ли вы, что двойной успех «Лолиты» (книги и экранизации) повлиял на вашу жизнь в лучшую или худшую сторону?

— Я оставил преподавание, и это единственное изменение в моей жизни. Между прочим, мне нравилось преподавать, мне нравился Корнел, и мне нравилось составлять и читать мои лекции о русских писателях и великих европейских произведениях. Но когда вам около шестидесяти, то, особенно в зимнее время, вы начинаете сознавать физическую тяжесть преподавания: вставать к определенному часу каждое утро, бороться со снегом, чтобы откопать машину, маршировать длинными коридорами к лекционному залу, чертить на доске карту Джеймс Джойсовского Дублина, или устройство полуспального вагона экспресса «Санкт-Петербург-Москва» в начале 1870-х годов (без понимания этого чтение «Улисса» или «Анны Карениной» не имеет смысла). По каким-то причинам мои наиболее яркие воспоминания связаны с экзаменами. Большой амфитеатр в Goldwin Smith. Экзамены с 8 до 10:30. Около 150 студентов: неумытых, небритых молодых мужчин и относительно ухоженных девиц. Преобладающее настроение — скука и катастрофа. Полдевятого. Легкое покашливание, желание очистить гортань от нервного спазма, переходящее в согласный шум переворачиваемых страниц. Некоторые мученики погружены в глубокое созерцание, руки их подпирают головы. Я встречаюсь с пасмурными взглядами, ищущими во мне, с надеждой и ненавистью, источник запретного знания. Девушка в очках подходит к моему столу: «Профессор Кафка, вы хотите чтобы мы сказали, что... Или «вы хотите, чтобы мы ответили только на первую половину вопроса?» Великое братство троечников, становой хребет нации начинает чертить

свои каракули. Шорох возникает одновременно, когда большинство переворачивает страницы синих учебников, прекрасно слаженный коллектив. Судорожное дрожание запястья, пролитые чернила, уже ни от чего не предохраняющий деодорант... Когда я ловлю взгляды, направленные на меня, они в благочестивом размышлении поднимаются к потолку.

...Оконные стекла запотевают. Юноши стаскивают свитера, девицы стремительно жуют чуингам. 10, 5, 3 минуты, — время вышло.

— Многочисленные критики рассматривают «Лолиту» как мастерскую сатиру на американскую действительность. Правы ли они?

— Что ж, я только могу повторить, что не обладаю ни темпераментом, ни желанием быть социальным сатириком. Думают или нет критики, что в «Лолите» я высмеял человеческую глупость, оставляет меня абсолютно равнодушным. Но все же я устал от самодовольных слухов, что я высмеиваю Америку.

— Вы когда-нибудь подвергались психоанализу?

— Подвергался чему?

— Психоаналитическому исследованию.

— Ради Бога, почему?

— Чтобы понять, как это делается. Некоторые критики полагают, что ваши колючие комментарии относительно фрейдизма, практикуемого американскими психоаналитиками, имеют своим основанием презрение, основанное на знакомстве с предметом.

— Чисто теоретическое знакомство. Это тяжелое испытание слишком глупо и отвратительно само по себе, чтобы рассматривать его даже в виде шутки. Фрейдизм и все, что он запятнал с его нелепыми идеями и методами, является в моих глазах одним из самых отвратительных обманов, практикуемых людьми на себе и на других. Я отвергаю его полностью вместе с многими другими средневековыми штучками, все еще обожаемыми невеждами, обывателями или очень больными людьми.

— Какая из ваших книг была наиболее трудна психологически?

— Разумеется «Лолита». У меня не было необходимой информации — это была изначальная трудность. Я не знал никакой 12-летней американки и я не знал Америки. Я должен был выдумать и Америку и Лолиту. Мне потребовалось почти сорок лет, чтобы выдумать Россию и Западную Европу, и вот я стоял перед аналогичной задачей с гораздо меньшим временем в моем распоряжении. Собрать все необходимые ингредиенты, которые бы позволили вдохнуть «усредненную» реальность в произведение моей индивидуальной фантазии, оказалось гораздо более трудной задачей в пятьдесят, чем водни моей юности.

— Хотя вы родились в России, вы жили и писали многие годы в Европе и в Америке. Каким писателем вы себя ощущаете?

— Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии (где изучал французскую литературу) и проживший после этого 15 лет в Германии. Я приехал в Америку в 1940-м году и решил стать американским гражданином, сделал Америку своим домом. И так случилось, что почти немедленно я обнаружил наиболее в ней ценное: ее богатейшую интеллектуальную жизнь и легкую благожелательную атмосферу. И немедленно погрузился в ее великолепные библиотеки и красоты Гранд-каньона. Я работал в лабораториях ее зоологических музеев. У меня появилось больше друзей, чем когда бы то ни было в Европе. Мои книги, прежние и новые, нашли благодарного читателя. Я стал таким же дородным, как Кортес, главным образом потому, что бросил курить и начал жевать конфеты. В результате мой вес подскочил с обычных 70-ти до монументальных и бодрящих 90 килограммов. В результате я стал на одну треть американцем. Отличная американская плоть тепла и надежна.

— Вы прожили целых 20 лет в Америке и тем не менее у вас никогда не было ни дома, ни определенного места обитания. Ваши друзья говорили, что местом вашего пребывания являлись мотели, дачки, меблированные комнаты или дома профессоров, по тем или иным причинам находящихся в отъезде. Что это — неусидчивость, или

сама идея постоянного местообитания, где бы то ни было, вам враждебна?

— Основная причина, полагаю, состоит в том, что никакое окружение, хоть сколько-нибудь отличающееся от мест моего детства, не может мне нравиться. Я никогда не сумею полностью удовлетворить свою память и посему стоит ли возиться с безнадежно приблизительными решениями? Имеются также и другие соображения, например, вопрос стимула, привычки к стремительности. Я вырвал себя из России с такой невероятной силой, что она до сих пор продолжает нести меня по свету. Правда, моя жизнь в конце концов обернулась такой аппетитной вещью, как полное профессорство, но в глубине души я всегда оставался всего лишь приглашенным лектором. Несколько раз я говорил себе: «Вот приятное местечко, где мне хотелось бы жить». И тут же слышался гром обвала, увлекающего за собой сотни мест, память о которых я бы разрушил навсегда самым фактом своего постоянного устройства в этом уголке земли. Да и потом меня не особенно интересует вся эта мебель, столы, стулья, лампы и ковры и т.п., возможно потому, что в моем роскошном детстве меня научили относиться с насмешливым неодобрением к желанию обладать материальным богатством. Именно поэтому я не испытывал ни сожаления, ни злости, когда революция его отобрала.

— Вы прожили в России 20 лет, в Западной Европе 20 лет и те же 20 лет в Америке, но в 60-м году после успеха «Лолиты», вы уехали во Францию, Швейцарию и с тех пор проживаете там. Означает ли это, что несмотря на ваше заявление, что вы американский писатель, вы полагаете ваш американский период законченным?

— Я живу в Швейцарии исключительно по личным причинам, связанным с моей семьей и профессией... Я надеюсь скоро вернуться в Америку, назад, к ее библиотекам и горным тропам. Идеальным местообитанием явилась бы абсолютно звуконепроницаемая квартира в Нью-Йорке, на верхнем этаже, никаких шагов над головой, никакой легкой музыки, и — дача на юго-западе. Иногда я думаю,

что было бы неплохо вновь украсить собой какой-нибудь университет, не преподавая, по крайней мере регулярно, а просто живя и работая там.

— Тем не менее вы живете в уединении в своем отеле и ведете, отчасти, сидячий образ жизни. Как вы проводите свое время?

— Зимой я просыпаюсь около семи: мой будильник — альпийская клушица, большое блестящее черное существо с большим желтым клювом, которая прилетает на балкон и издает мелодичный смешок. Некоторое время я лежу в постели, мысленно планируя свой день. Около восьми я бреюсь, завтракаю, медитирую и принимаю ванну — в этой последовательности. Затем я работаю до обеда в своем кабинете, делая перерыв для короткой прогулки с женой вокруг нашего озера. Практически все знаменитые русские писатели 19-го века бродили в его окрестностях: Жуковский, Гоголь, Достоевский, Толстой, волочившийся за горничными в ущерб своему здоровью, и многие русские поэты. Но почти то же самое можно сказать о Ницце или Риме. Мы второй раз завтракаем около часа, и я возвращаюсь к своему столу около половины второго и работаю без перерыва до половины седьмого. Затем я иду покупать газеты, и мы садимся за обед около семи. После обеда я не работаю и снова в постели около девяти. Там я читаю до половины двенадцатого, а затем борюсь с бессонницей. Приблизительно дважды в неделю мне снятся долгие кошмары, с неприятными персонажами, заимствованными из более ранних снов, появляющиеся в более или менее повторяющихся картинах: фрагменты дневных впечатлений и мыслей, безответственные механические образы, совершенно не поддающиеся любым фрейдистским интерпретациям...

— ...Правда ли, что вы пишете стоя и пользуетесь ручкой, а не пишущей машинкой?

— Да. Я никогда не умел печатать. Я, как правило, начинаю день, стоя за старомодной кафедрой в моем кабинете. Позже, когда я чувствую тяжесть в икрах, я сажусь в удобное кресло за мой стол, а когда наконец

начинаю ощущать тяжесть в позвоночнике, ложусь на кушетку. Но когда я был молод, в 20—30 лет, я часто проводил целый день в кровати, куря и сочиняя. Теперь времена изменились. Горизонтальная проза, вертикальная поэзия и сидячий комментарий...

— Можете вы рассказать более подробно о вашем творческом процессе, в конечном счете порождающем книгу, возможно ли прочесть несколько отрывков из работы, которую вы сейчас пишете?

— Безусловно нет. Ничто зарождающееся не должно подвергаться исследовательской хирургии. Но кое-что я могу показать. Вот эта коробочка содержит карточки с записями, которые я делал во время работы над романом «Бледный огонь». Это небольшая часть того, что я отверг...

«Мы думаем не словами, а тенью слов. Ошибка Джеймса Джойса, во всех прочих отношениях замечательного разговора с самим собой, состоит в том, что он наделяет свои мысли слишком тяжелым вербальным тоном»...

«Пародия вежливости. Это непревзойденное «пожалуйста» («Пожалуйста, пошлите мне ваш прекрасный...»), которое фирмы идиотски адресуют сами себе в печатном виде, имея намерение помочь людям заказывающим их продукцию»...

«Студент объясняет, что когда он читает роман, он любит пропускать целые параграфы «для того, чтобы иметь собственное мнение о книге и не подпасть под влияние автора»...

— Что заставляет вас записывать и коллекционировать такие не связанные друг с другом цитаты и впечатления?

— Все, что я знаю, заключается в том, что на очень ранней стадии написания романа у меня появляется необоримое желание собирать клочки соломы, пух и глотать камешки. Никто никогда не узнает, насколько ясно птица представляет, если она вообще это делает, будущее гнездо и отложенные в него яйца. Когда я впоследствии вспоминаю силу, позволившую мне на йоту правильнее описать вещь или на оттенок точнее ее

изобразить даже до того, как я практически нуждался в соответствующей информации, я склоняюсь к мнению, что необходимое мне знание уже работало, глухо указывая на то или это, заставляя меня собирать определенный материал для неопределенной еще структуры. После первого шока узнавания: неожиданного ощущения — да это ж именно то, о чем я хочу писать! — роман начинает двигаться сам собой. Весь этот процесс происходит исключительно в моем воображении, не на бумаге. Мне не нужно сознавать каждую отдельную фразу, чтобы узнать, на какой стадии развития находится мой роман. Я чувствую, что он развивается, и знаю, что все детали уже здесь, и я могу совершенно четко разглядеть их, если взгляну ближе, если я остановлю машину и открою ее внутреннее отделение. Но я предпочитаю ждать, пока то, что неопределенно зовется вдохновением, не закончит за меня весь этот процесс. Затем наступает момент когда я ощущаю, что вся структура романа определена. Все, что я должен теперь сделать, — это перенести ее на бумагу. Поскольку вся эта структура, слабо светящаяся в мозгу, напоминает картину, и нет необходимости методично писать ее слева направо для того, чтобы получить законченное впечатление, я могу выбрать для подробного рассмотрения любую часть или деталь этой картины. Поэтому я не начинаю свои романы с начала. Я не должен непременно написать главу третью, до того как закончил четвертую, я не обязан писать страницу за страницей, последовательно. Нет, я пишу кое-что об этом, кое-что о том, пока не заполню всю картину. Именно поэтому мне удобно записывать рассказы и романы на отдельных карточках, нумеруя их позже, когда вся история закончена. Каждая карточка переписывается по многу раз. Три карточки приблизительно соответствуют странице. И когда наконец я чувствую, что задуманная картина закреплена на бумаге, настолько верно, насколько это физически возможно (кое-что, увы, всегда остается незавершенным), я диктую роман жене, которая в трех экземплярах отпечатывает его на машинке.

— Что вы понимаете, когда говорите о копировании «задуманной картины»?

— Творческий писатель должен тщательно изучать работы своих конкурентов, включая Господа Бога. Он должен владеть врожденной способностью не только создавать новые сочетания существующих образов, но пересоздавать самый мир. И для того, чтобы сделать это должным образом, избегая повторений, писатель обязан знать то, о чем он пишет. Воображение без знания приведет не далее, чем на задний двор примитивного искусства, к детским каракулям на заборе, к причудливым вывертам рекламы. Искусство никогда не бывает простым. Возвращаясь к моим лекционным дням: я автоматически ставил низкие оценки, если студент употреблял это ужасное «искренне и просто». — «Стиль Флобера искренен и прост» — полагая, что это самый большой комплимент, адресуемый прозе или поэзии. Когда я вычеркивал подобную фразу, я делал это с таким возмущением, что мой карандаш рвал бумагу. Студент возражал, де учителя всегда учили его: «Искусство — просто, искусство — искренне». Когда-нибудь я должен был установить источник этого вульгарного абсурда: учительница из Охайо? Прогрессивный осел из Нью-Йорка? Потому что, конечно, искусство в его величайших образцах фантастически обманчиво и сложно.

— В отношении современного искусства критики имеют противоположное мнение об искренности и обманчивости, простоте или сложности абстрактной живописи. Каково ваше мнение?

— Я не вижу существенной разницы между абстрактным и примитивным искусством. И то и другое просто и искренне. Конечно мы не должны обобщать: имеет смысл рассматривать только конкретного художника. Но если мы примем для данного обсуждения определение «современного искусства», тогда мы также должны согласиться, что основная проблема этого искусства — его банальность, вторичность и академичность. Просто пятна и кляксы заменили толпу хорошеньких итальянских

девочек, живописных нищих и романтические руины 19-го века. Но так же, как среди массовой продукции прошлого века, можно найти работу настоящего художника, с богатой игрой света и тени, с оригинальными чертами силы и мягкости, так и среди примитивистов и абстракционистов можно вдруг увидеть вспышку большого таланта. Только талант! Будь то книга или картина, интересует меня, — не общие идеи, а личный вклад.

— Вклад на пользу общества?

— Искусство не является ни в малейшей степени важным для общества. Оно важно только для отдельной, конкретной личности, и только индивидуальный читатель важен для меня. Меня совершенно не заботит никакая группа, сообщество, толпа и т.п. Хотя я и равнодушен к лозунгу «Искусство для искусства» (потому что такие его глашатаи, как Оскар Уайльд и различные утонченные поэты, были в сущности убежденными моралистами), не может быть сомнения, что единственное спасение прозы от червей и забвения — искусство ее написания и только оно, а не социальная значимость.

— Чего бы вы хотели достигнуть или оставить как память о себе? Или писатель не должен об этом заботиться?

— Ну, в отношении достижений у меня конечно нет 35-летнего плана, но я имею довольно определенные подозрения относительно моей посмертной литературной судьбы... Я уже почувствовал ветерок неких обещаний. Без сомнения там будут взлеты и падения, долгие периоды забвения. Пользуясь попустительством Дьявола, я открываю газету за 2063 год и в какой-то статье, посвященной литературе, нахожу: «Никто не читает сегодня Набокова и Фалмерфорда». Ужасный вопрос: кто этот несчастный Фалмерфорд?

— Раз уже мы рассматриваем самооценку, что является вашей принципиальной слабостью как писателя?

— Недостаток спонтанности, надоедливость параллельных соображений, вторичных соображений, третичных соображений, неспособность выразить себя так, как следует на любом языке, пока я не составлю каждое

проклятое предложение в моей голове, в ванне, за моим письменным столом. Я думаю, что в заслугу себе могу поставить, во-первых, что никогда не боялся желчи и ерунды критического рассмотрения, никогда, во всю мою жизнь не просил или благодарил за благожелательную рецензию. Во-вторых... — или достаточно об этом?

— Нет, пожалуйста продолжайте.

— ...Тот факт, что со времен моей юности (мне было 19 лет, когда я покинул Россию), мои политические взгляды остаются такими же неизменными и суровыми, как серая древняя скала. Они классически банальны: Свобода слова, Свобода мысли, Свобода искусства. Социальная или экономическая структура идеального государства почти не имеет для меня значения. Мои желания скромны: портреты главы государства не должны превышать в размере почтовой марки, не должно быть истязаний и казней и никакой музыки, за исключением театров или слушаемой через наушники.

— Почему никакой музыки?

— Я не воспринимаю музыку — недостаток, о котором я горько сожалею. Когда я посещаю концерты, что случается не чаще одного раза в пять лет, я стараюсь следить за последовательностью и связью звуков, но не могу делать это более пяти минут подряд. Очень скоро мне становится невообразимо скучно...

— Как один из немногих авторов, пишущих более чем на одном языке, как бы вы охарактеризовали различия между русским и английским?

— В смысле абсолютного количества слов английский гораздо богаче русского. Это особенно заметно с существительными и прилагательными. Весьма унылой чертой русского языка является недостаток, туманность и неуклюжесть технических терминов. Например, простая фраза: «to park a car», если переводить ее с русского, будет выглядеть как: «оставить автомобиль стоящим на длительное время». Русский, по крайней мере вежливый русский, более формален, чем вежливый английский. Например, «sexual» — слегка неприличен в русском кон-

тексте. То же самое можно сказать о русской терминологии, описывающей различные анатомические и биологические понятия, которые весьма часто употребляемы в разговоре по-английски. С другой стороны существуют слова, передающие определенные оттенки движения, жестикуляции и эмоции, в которых русский язык является превосходным... Английский синтаксически невероятно гибок, но на русском можно выразить еще более неуловимые изгибы и повороты. Перевод с русского на английский несколько легче перевода с английского на русский и в десять раз легче, чем перевод с английского на французский.

— Вы как-то заявили, что никогда более не напишете романа по-русски. Почему?

— В течение великой и все еще не воспетой эры русского интеллектуального переселения, приблизительно между 20-ми и 40-ми годами, книги, написанные по-русски русскими писателями в эмиграции и опубликованные русскими издателями за рубежом, с большим желанием покупались или одалживались эмигрантским читателем, но были абсолютно запрещены в Советской России (исключая нескольких умерших авторов, таких как Куприн и Бунин)... Эмигрантский роман, опубликованный, скажем, в Париже и поступивший в продажу по всей Европе, распродавался в те годы в количестве 1000—2000 экземпляров, если был бестселлером. Но каждая книга, путешествуя по рукам, прочитывалась по крайней мере еще 20-ю читателями и не менее, чем 50-ю, если попадала в русскую библиотеку, которых было больше сотни только в Европе. Эра изгнания, можно сказать, закончилась вместе со Второй мировой войной. Старые писатели умерли, русские издатели тоже исчезли, но хуже всего, что атмосфера эмигрантской культуры, с ее блеском, энергией, чистотой и гремящей силой резко изменилась. Издания сократились до едва заметных журналов, анемичных и провинциальных по тону. Рассмотрим мой собственный случай, оставив в стороне финансовую сторону. Я не думаю, чтобы мои

русские романы приносили мне больше, чем несколько сот долларов в год, и я всегда писал как бы в башне из слоновой кости, для удовольствия только одного читателя: меня самого. Но писатель также нуждается в некотором влиянии на окружающих, не говоря о сколько-нибудь заметной реакции, в скромном распространении своих трудов, и если не существует ничего кроме пустоты вокруг его письменного стола, он вправе ожидать по крайней мере звучащей пустоты, а не ограниченной в пространстве, абсолютно глухой стены. С годами я интересовался Россией все меньше и становился все более равнодушным к когда-то ужасной для меня мысли, что мои книги будут запрещены там до тех пор, пока мое презрение к полицейскому государству и его насилию не позволит мне, хотя бы в самой туманной форме, подумать о возвращении. Нет, я никогда не напишу еще одного романа по-русски, хотя разрешал и разрешаю себе писать по-русски стихи. Я написал свой последний русский роман четверть века назад.

— Собираетесь ли вы прочесть критические статьи о вашем переводе «Онегина»?

— Я не читаю критических разборов на свой счет, с особым удовольствием или вниманием за исключением (что время от времени случается) — действительно шедевров пронизательности и ума. И я никогда не перечитываю их, хотя моя жена собрала целую коллекцию, и, может быть, я использую наиболее злобные и шумные отклики на «Лолиту», когда соберусь написать краткую историю несчастий моей нимфетки. Я помню, однако, весьма живо, атаки русской эмигрантской критики, писавшей о моих первых романах 30 лет тому назад. Не то, чтобы я был более чувствителен в то время, но моя память определенно была более живой и изобретательной, да и сам я писал тогда критические статьи. В 20-х годах меня задирал некий Мочульский, который не мог перенести мое совершенное равнодушие к организованному мистицизму, религии и церкви, любой церкви. Были критики, которые не могли мне простить отстранение ото

всяких «литературных движений», от принадлежности ко всем этим группам поэтов, которые совместно искали вдохновения в задних комнатах парижских кафе. Был смешной случай с Георгием Ивановым, хорошим поэтом, но совершенно непристойным критиком. Я никогда не встречался ни с ним, ни с его тяготеющей к литературе женой Ириной Одоевцевой. Но однажды, где-то в 20-30-х, когда я постоянно делал литературные обзоры для эмигрантской газеты в Берлине, Одоевцева прислала мне из Парижа свой роман с коварной надписью «Спасибо за «Короля, даму, валета», которую я был волен понимать как «Спасибо за то, что вы написали такую книгу». Она как бы понуждала меня, в свою очередь, поблагодарить ее за присылку ее книги. Между тем, я никогда и ничего ей не посылал. Ее книга оказалась жалкой банальщиной и именно это я и высказал в короткой и колючей заметке. Иванов отплатил мне огромной статьей, в которой подверг меня и мои писания соответствующей критике. Возможность отвести душу (используя литературную критику, дружески или враждебно) делает этот вид искусства весьма ненадежным.

— Какого рода чувства, приятные чувства вы испытываете, создавая книгу?

— Эти чувства в точности соответствуют чувствам, возникающим в процессе чтения: счастье, наслаждение фразой, разделяемое писателем и читателем, удовлетворенным писателем и благодарным читателем, или, что то же самое, писателем, благодарным той неведомой силе в его разуме, которая предположила определенную комбинацию образов, и читателем, которого эта комбинация полностью удовлетворила. Каждый истинный читатель знает удовольствие, получаемое от чтения немногих по-настоящему хороших книг. Зачем анализировать наслаждение, обеим сторонам хорошо известное? Я пишу, главным образом, для художников, моих собратьев-художников и моих последователей-художников.

— Какова ваша реакция на замечание одного из кри-

тиков, что вы «типичный писатель, не доверяющий идеям»?

— ...Я полагаю, что такого рода отношение является следствием умственного темперамента. Заурядный или верховный представитель этого племени не могут избавиться от тайного чувства, что книга является великой только в случае, если рассматривает великие идеи. О, я знаю этот тип критика, смертельно унылый тип. Он любит нравоучительные истории, нашпигованные социальными комментариями. Он в муках творчества любит узнавать свои собственные мысли в мыслях автора. Ему нравится, чтобы, по крайней мере, один из героев автора являлся глашатаем авторской мысли. Если это американец, в нем есть примесь марксистской крови, если англичанин — он чрезвычайно и до смешного чувствителен к оценке социального слоя. Он полагает, что гораздо легче писать об идеях, чем о словах. Он не понимает, что возможной причиной, по которой он не может найти общих идей у данного автора, является то обстоятельство, что идеи данного автора пока еще не стали общими.

— Достоевский считается одним из великих писателей и, тем не менее, вы оцениваете его как любителя дешевых сенсаций, неуклюжего и вульгарного. Почему?

— Читатель, не являющийся русским, не может понять двух вещей: далеко не всем русским Достоевский нравится в такой же степени, как американцам. Те же русские, которые благоговеют перед ним, рассматривают его скорее как мистика, а не как писателя. Это был пророк, трескучий журналист, потерявший голову комедиянт. Я признаю, что некоторые его описания, комедийные сцены бывают невероятно смешны, но его чувствительных убийц и сентиментальных проституток невозможно выдержать ни минуты. По крайней мере, такому читателю, каким являюсь я.

— Это правда, что вы называли Хемингуэя и Конрада «детскими писателями»?

— Это в точности соответствует тому, чем они являют-

ся. Хемингуэй определенно лучше другого: у него, по крайней мере, чувствуется собственный голос, и он является виновником этого восхитительного, необыкновенно мастерски написанного рассказа «Убийцы», а его описания радужной рыбы и ритмического мочеиспускания в этой знаменитой его истории — выше всяких похвал. Что касается Конрада, то я не выношу его сувенирно-магазинный стиль, корабли с вином и романтические клише, вроде ракушечных ожерелий. Ни в одном из этих писателей я не нашел ничего, что хотел бы написать сам. Эмоционально и психологически они безнадежно незрелы. То же самое можно сказать о других «любимых» авторах, любимцев коммунальных сборищ, утешителях в поддержке недавних студентов, таких как... Но некоторые еще живы, а я не любитель причинять боль живущим пожилым мальчикам, в то время как мертвые еще не похоронены.

Перевел с английского В. Агафонов



ЧЕЛОВЕК СЛУШАЕТ ЗЕМЛЮ

«Человек слушает землю», «Человек в красных ботинках», «Человек с молнией», «Человек с рыбой», «Арлекин», «Ночной полет». Это названия работ Владимира Каневского. Вначале появляется название вещи. Рождение поэмы. И масса полуподатливой глины. Необитаемый остров, который заселяется странными существами. Человеческими фигурами, часто лишенными рук или ног. «Уродство» этих фигур освобождает художника от принятых критериев красивого. Всмотритесь внимательно в почти человеческие существа: они понятны, им прощаешь их «некрасивость», неуверенность. Вглядитесь в собственные души: слаб человек, некрасив, хватается то за рыбу, то за молнию, то слушает немую землю, а то пытается понять, на что похожа собственная спина. Не судите... Вот о чем говорит скульптор.

...Просыпается художник. Ночью встает в студии-квартире в Джерси-сити. Полицейская сирена орет за окном. Ирландский бар еще открыт, кто-то безуспешно терзает мотор автомобиля за углом. Художник начинает работать. Рождается жизнь. Он пытался лепить женщин, думал, что знает их. А потом — ничего не

получилось. А кто знает женщин? Пытался лепить животных — коня, собак. Говорит, что нужно знать объект досконально, чтобы он ожил и получился не просто немой слепок.

Где-то на горизонте брезжит башня, дома. Все-таки, он архитектор. Может быть, башня получится в конце концов на следующем этапе работы. Почти целая жизнь прошла со времени проектирования жилых микрорайонов в городе Лозовая выпускником Архитектурного факультета Харьковского строительного института до скульптора, чьи работы — в Музее искусств знаменитого Дюкского университета и до персональной выставки на Пятой Авеню в Манхэттене.

Скульптор живет изготовлением изделий из фарфора, мотается на машине по Нью-Йорку, звонит в другие города по сотовому телефону, общается с «дилерами» в Европе. В принципе, и «фарфоровое» дело, в котором он стал признанным мастером, могло бы удовлетворить творческий и коммерческий аппетит многих художников. Но живет скульптор ради тех моментов, когда начинается страстный диалог с глиной. Это вторая, наиболее истинная жизнь.

Каневский родился и до двадцати восьми лет жил в Харькове. Родился он 22 февраля, то есть, под знаком рыбы. Одна из основных скульптур называется «Человек с рыбой». Утверждает, что никакого отношения к знаку зодиака это не имеет, он не испытывает к этому никакого интереса. Из Харькова переехал к родителям в Ленинград. Отец Арон Каневский — режиссер кино-документалист, поэт в своем деле, который начал кинокарьеру в 52 года! В этой семье видна какая-то гармония таланта. Это создает странное ощущение мета-искусства, когда главное — это оригинальность, поэзия, а какими конкретными способами художественная истина достигается — как бы вторично.

Каневский, — скорее, одиночка, маргинал, не принадлежащий к какому-либо направлению. Учителей, менторов, в общем, у него не было. Любимые скульпторы: Марино Марини («Всадник»), Джакомо Манцу, современный японский скульптор Судзюки, Микеланджело, пожалуй.

Как же все-таки начинается скульптура? Основное — это возникновение пластического ощущения внутри себя, которое позволяет распознать пластичность и внутри бесформенной массы, хмуру лежащей в углу мастерской. Появляется ощущение эмоционального напряжения формы. Кем бы это существо-глыба могло быть? Что может хотеться такой глыбе? А глыбе многое хочется! В процессе создания скульптуры форма всегда опережает содержание. В этом также отражается поэтичность подхода скульптора, как в стихах: вначале приходит неосознанная эмо-

ция-звук, а потом неоформленное (вновь сформированное) существо выходит на поверхность и обретает (скульптурно) принятые формы.

Как архитектор, Каневский придерживается мнения, что настоящий дом, тот, который не навязывает жильцам образ жизни, а позволяет жить кому угодно как угодно.

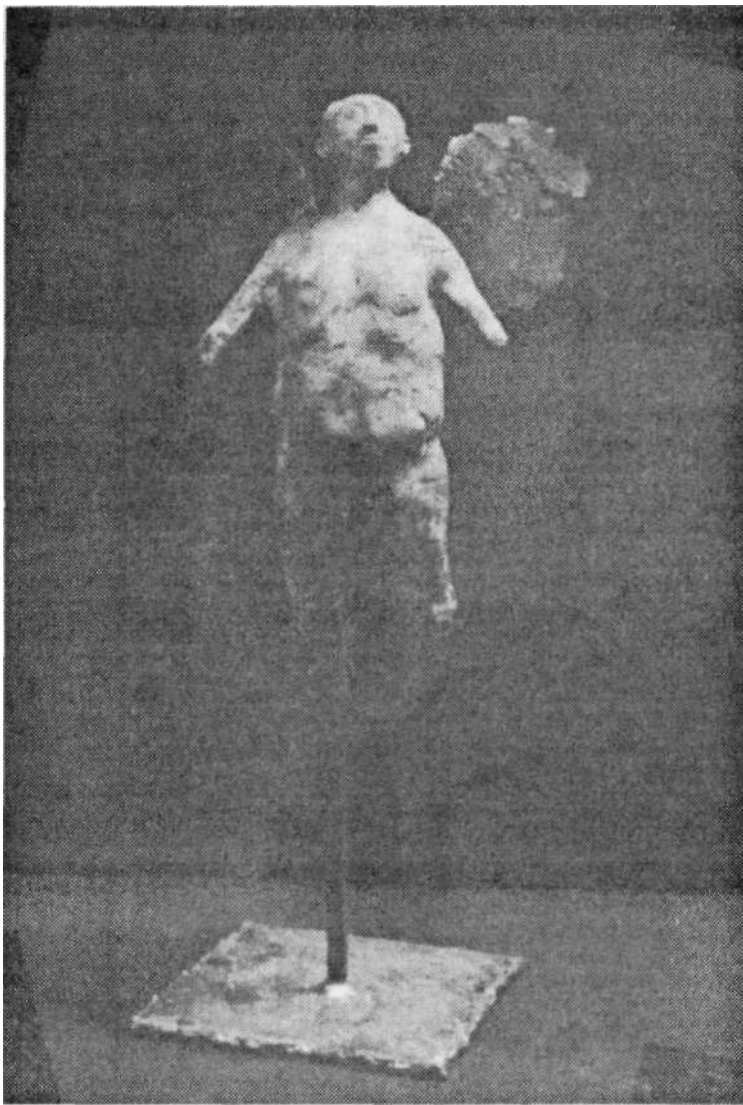
Во время работы возникает чувство похожее на то, которое испытывал папа Карло, когда из полена начал пиццать Буратино. Хотя отношения с материалом больше похожи на отношения с Буратино и с Галатеей. Трудно сказать, почему выбрана именно глина. Точно так же непонятно, почему один художник пишет стихи, а другой автобиографическую прозу. Глина подвижна, податлива, как воск. Как человеческое тело. Так же ранима и изменчива. При работе с камнем нужно убирать лишнее, вырезать, высекать. Происходит борьба с материалом. С глиной — взаимное слияние, освобождение от лишнего и «воспитание» объекта. Кто-то слышит звук, кто-то видит цвет (или слышит цвет и видит звук), другой чувствует форму. Каневский чувствует объем, слышит его, физически ощущает текстуру поверхностей. Говорит, что иногда приходит в невероятное возбуждение, идя по улице после дождя, когда грязь на мостовой блестит, свет яркий — каждая выбоина видна, ощутима. Поэтому фигуры Каневского не только отображают внутренний образ человеческих существ, они — и ландшафт, и планета, земля, необитаемый остров. Как и душа каждого — необитаемый остров. Где каждый и живет. Если не боится это осознать или старается забыть. Каневский это очень ясно осознает. Отсюда — «Человек слушает землю».

Вот что пишет о В.Каневском директор Музея искусств Дьюкского Университета Майкл Меззатеста: «Человеческое тело — обнаженное, одинокое, уязвимое — предмет скульптур Владимира Каневского. Они... напоминают скульптуры древних цивилизаций и связаны с первобытным происхождением существ, созданных из глины в далекой древности. Художник красноречиво изображает человеческое состояние, запечатляя момент, идею и чувство в виде зрительной поэмы».

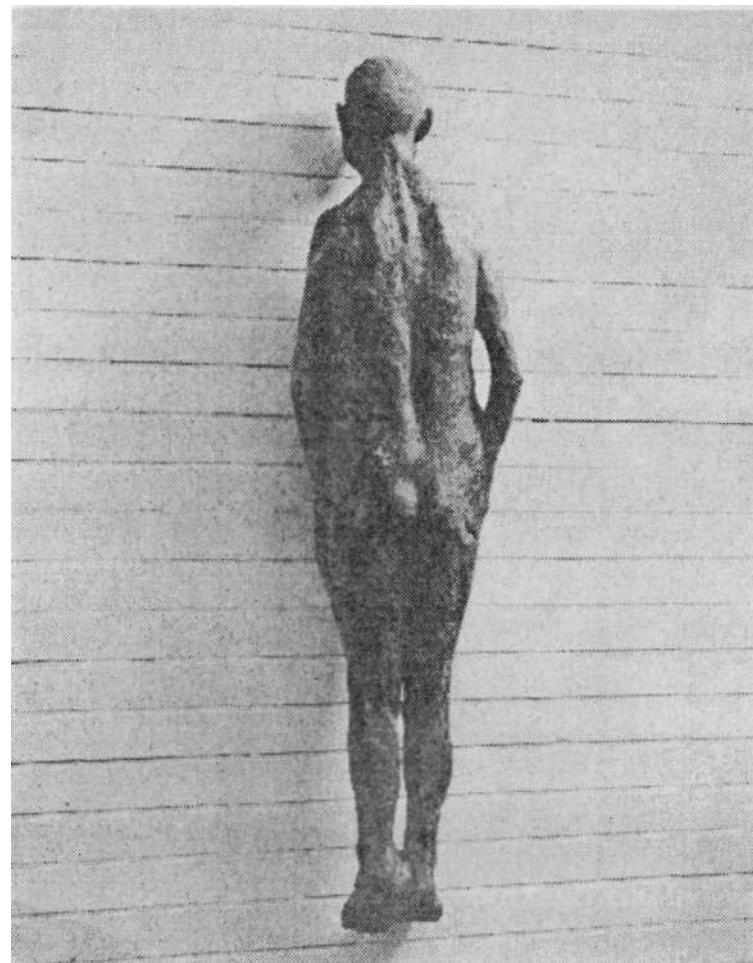
Андрей ГРИЦМАН



Человек с молнией. Каменная масса.



Бабочка. Каменная масса, железо.



Муха на стене (Fly on the wall). Каменная масса.



Человек в красных ботинках. Бронза (фрагмент).



Арлекин. Каменная масса.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

**ПОКИНУТАЯ РОССИЯ.
ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ**

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Маковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:
Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

ТАМАРА МАЙСКАЯ

«КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюс, д-р наук, проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.
Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВИКТОРИЯ ПЛатОВА (БЕЛОМЛИНСКАЯ). Родилась и жила в Ленинграде. Работала на студии научно-популярных фильмов. Печатила очерки в ленинградских журналах. Прозу пишет с 70 года, но в бывшем Союзе смогла опубликовать только 2 рассказа.

В 1989 году повесть «Неяркая жизнь Сани Корнилова» была напечатана в «Континенте». В 89 году эмигрировала с семьей в США. Печатается в газете «Новое русское слово». В издательстве «Эрмитаж» вышли две книги В. Платовой: «Неяркая жизнь Сани Корнилова» (1991 г.) и «Роальд и Флора» (1993 г.). Последняя была названа в числе финалистов на Букеровскую премию 1994 года. В 132 номере «Время и мы» опубликована повесть «Вольт-фас».

БОРИС ХАЗАНОВ (ГЕННАДИЙ ФАЙБУСОВИЧ) — родился в 1928 году. После войны, будучи студентом МГУ, был арестован и провел восемь лет в сталинских лагерях. Писательская известность пришла к Борису Хазанову в середине семидесятых годов, когда в журнале «Время и мы» была опубликована его повесть «Час короля», пересланная автором из Москвы. В 1982 году Борис Хазанов покинул Москву и поселился в Мюнхене, где в течение нескольких лет редактировал журнал «Страна и мир». Борис Хазанов автор ряда книг, в том числе «Я Воскресенье и Жизнь», «Запах звезд», «Миф-Россия» и др.

В настоящее время постоянно выступает в России с художественной прозой и публицистикой, является автором «Литературной газеты» и других периодических изданий.

ТАТЬЯНА МУШАТ — родилась и жила в Сибири, в городе Новосибирске до эмиграции в США в 1991 году. Инженер, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики Новосибирского государственного технического университета (в прошлом, НЭТИ).

В настоящее время занимается переводом с английского на русский философских работ Ричарда Хэзлетта — с предварительными названиями «Найди Бога разумом» и «Как научиться быть добродетельным». Работы посвящены вопросам взаимосвязи религии, науки и этики.

НАУМ БАСОВСКИЙ. Родился в 1937 году в Киеве. Окончил Киевский пединститут, работал учителем физики и математики в сельской школе на Украине. В 1962 г. переехал в Москву. Более четверти века работал в области технической акустики, окончил еще одно высшее учебное заведение — Московский институт

радиотехники, электроники и автоматики. Автор более 30 научных статей и изобретений. Первая поэтическая публикация относится к 1977 году (журнал «Новый мир»). Печатался также в журналах «Нева», «Юность», «Студенческий меридиан», сборнике «День поэзии». В 1989 г. в Москве вышел сборник стихотворений и поэм «Письмо заказное». С февраля 1992 года живет в Израиле. Печатался в журналах «Алеф» и «22». Участник Международного фестиваля поэзии в Иерусалиме (1993).

ЭЛЕОНОРА ИОФФЕ-КЕМПАЙНЕН. Родилась в 1949 году, в Гомеле, детство прошло на Кавказе, в Махачкале. С 1959 г. жила и училась в Ленинграде, в специальной музыкальной школе, по классу виолончели. В 1973 году окончила ленинградскую Консерваторию, работала в симфонических оркестрах в Ленинграде. С 1983 г. живет в Хельсинки, в Финляндии, преподает в муз. училище виолончель. Стихи писала с детства, но публиковать их начала недавно — в Финляндии, в русскоязычном журнале «Вестник», в Петрозаводске и Петербурге («Звезда»). В настоящий момент в Петербургском издательстве «Борей» готовится сборник ее стихов и переводов из финской поэзии.

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ. См. «Время и мы» № 133.

ЭДУАРД ШТЕЙН. Родился в 1934 году в Польше. В конце 40-х годов вместе с родителями проживал в Биробиджане, где отец работал художественным руководителем местного еврейского театра. С 1961 по 1968 год преподавал в Варшавском университете. Во время окончательного решения еврейского вопроса в стране вынужден был эмигрировать. В США с 1968 года, где начал печататься в многочисленных эмигрантских изданиях. Автор семи книг по истории литературы русского Зарубежья. Литературные наставники — Аркадий Белинков, Алексис Раннит, Александра Львовна Толстая. В 1995 году Санкт-Петербургский биографический* институт за сохранение и изучение литературного наследия русского Китая присвоил Э. Штейну почетное звание доктора биографических* наук.

МИША ГОФМАН. См. «Время и мы» № 133.

ЛЕВ АННИНСКИЙ. См. «Время и мы» № 132.

АЛЛА ТУМАНОВА — жила и училась в Москве. В 1950 году, по окончании 10-го класса, стала членом молодежной группы, состоявшей из школьников и студентов, которая ставила своей целью восстановление ленинских принципов и построение справедливого общества. Вскоре все 16 членов организации были аресто-

* Так в бумажной версии журнала (Д. Т.)

ваны. После года одиночного заключения состоялся закрытый процесс военного трибунала. Трое были приговорены к расстрелу, а большинство (в том числе Туманова) — к 25-ти годам. В 1956 году дело было пересмотрено, и оставшиеся в живых амнистированы. Туманова вернулась в Москву, окончила биофак Педагогического института, работала в качестве биохимика. С 1974 года живет с семьей в Канаде. Книга Аллы Тумановой «Шаг вправо, шаг влево» в настоящее время переводится на английский.

АЛЕКСАНДР АЛЕЙНИК. Родился в г. Горьком в 1952 году. С 15 лет писал стихи. В 1973 году поступил на заочное отделение истфака Горьковского государственного университета. С 1975 года жил в Москве, работал в бойлерных, таксистом, мебельщи-ком-бутафором в театре им. Моссовета, шофером почтовой связи, редактором Мособлкинопроката.

В Университете защитил дипломную работу о Булгакове. Эмигрировал в 1989 году. Публиковался в Нью-Йоркских газетах и журналах: «Слово», «Черновик», «Новое русское слово», «Бостонское время», «Новом журнале» и др. В 1996 году в издательстве «Слово» вышла первая книга стихов.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ.* Пикассо в окрестности. — 12 долларов.
М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
К. ВАТИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Соборная. — 5 долларов.
А. РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
И, СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.

Готовится к печати:

В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E. SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.



Издательство „АТРИУМ“
предлагает
вниманию коллекционеров
и любителей книжных редкостей
издание романа А. С. ПУШКИНА
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“

Текст романа сопровождается
серией новых иллюстраций художника А. КОСТИНА;
впервые публикуемое
цветное факсимильное воспроизведение
рукописи „осьмой главы“;
фундаментальный комментарий
известного семиотика Ю. М. ЛЮТМАНА.

Общий объем — 752 стр.
Тираж книги — 5000 экз.
999 экземпляров номерные

Контактный тел. (095) 258-1992

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1997

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов;
с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов;
для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах
чеками американских банков и иностранных банков,
имеющих отделения в США,
и высылаются по адресу «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605, USA
TEL: (201) 592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на год.
Высылать с номера Журнал высылать обычной (авиа) почтой по
адресу:

Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA
(201)592-6155

OCR и вычитка - Давид Титиевский, сентябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна
На четвертой странице обложки: Владимир Каневский «Человек с рыбой». Бронза.**

